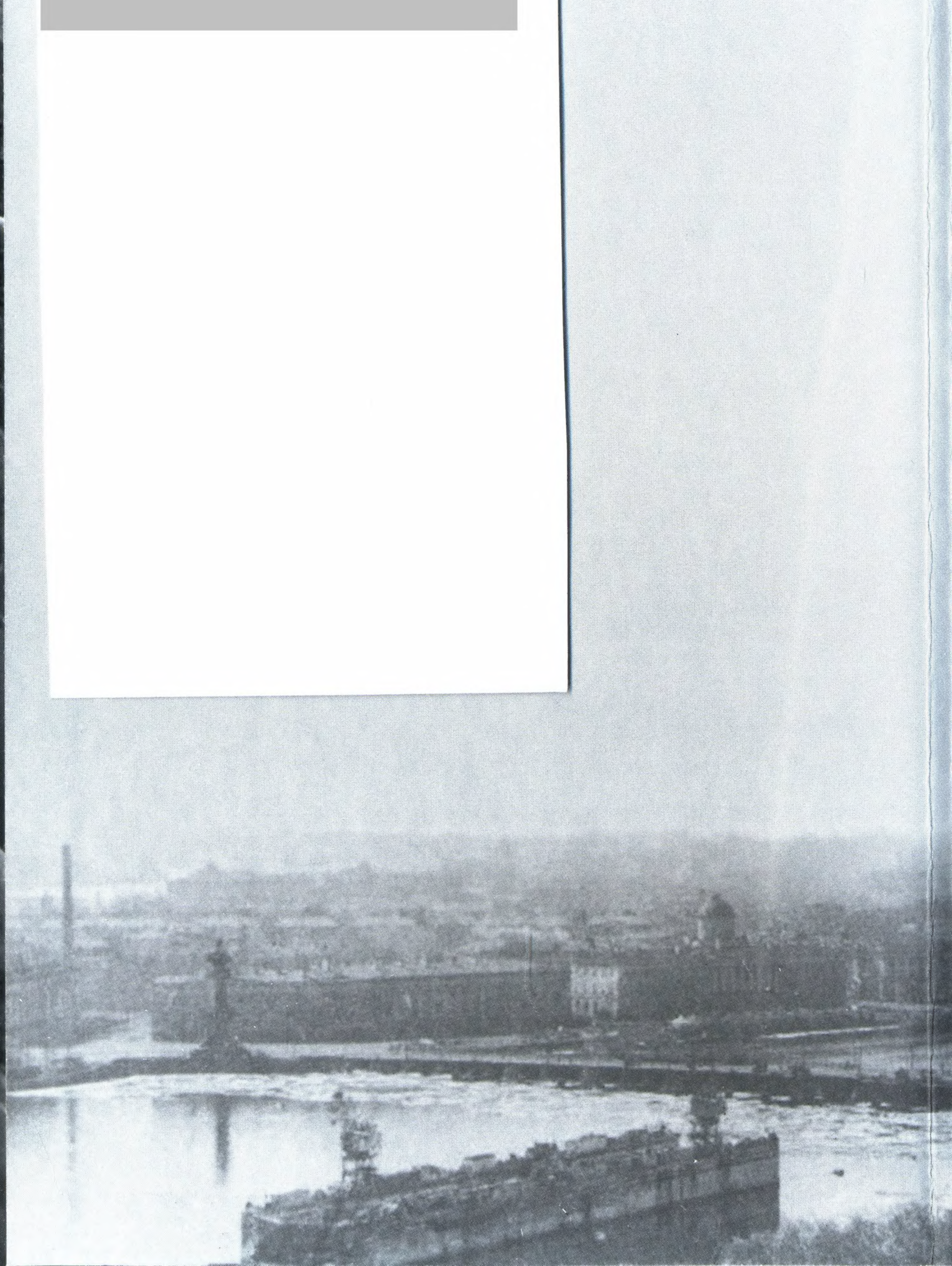
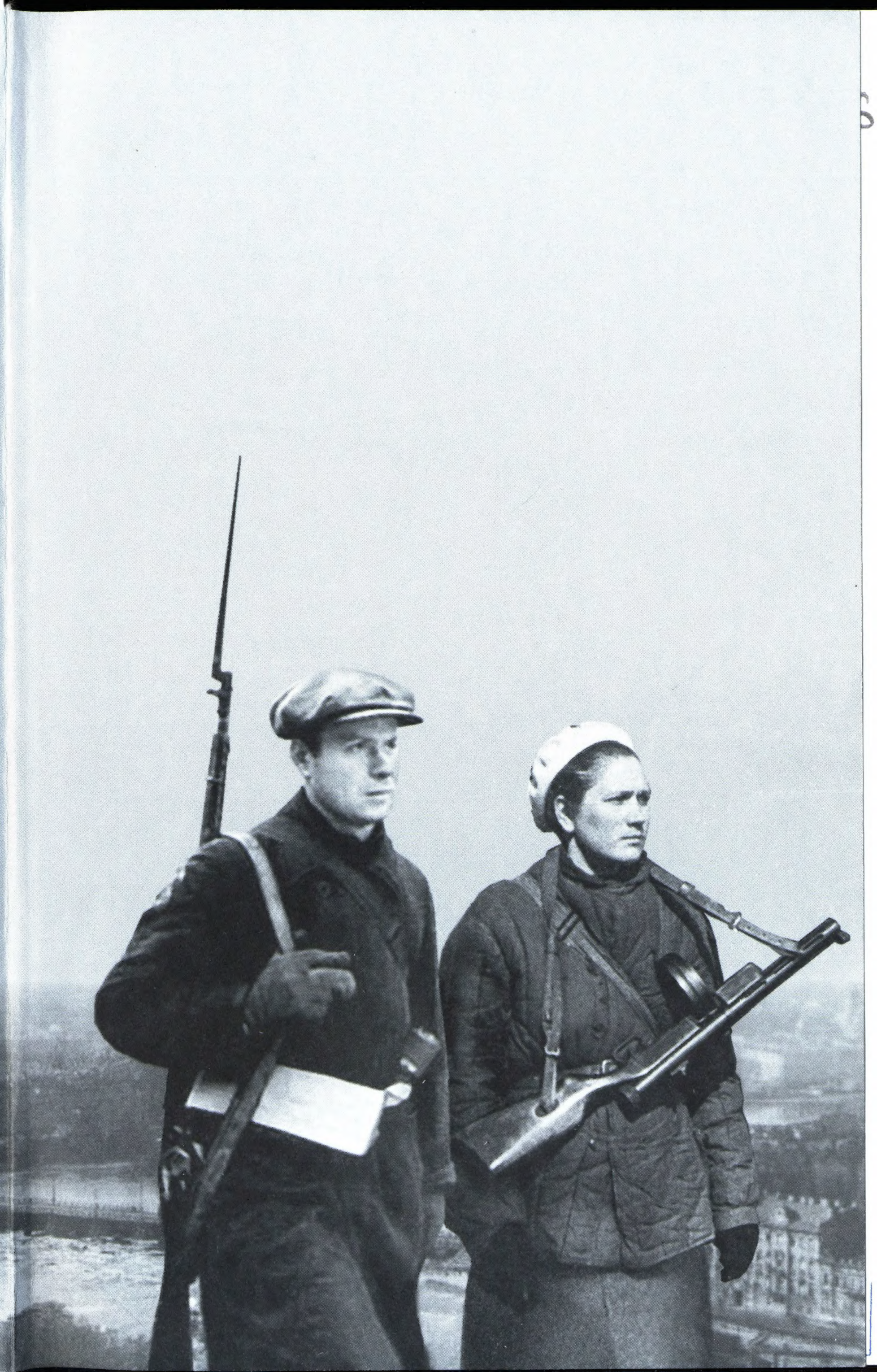
ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

Сергей Яров

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ

БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

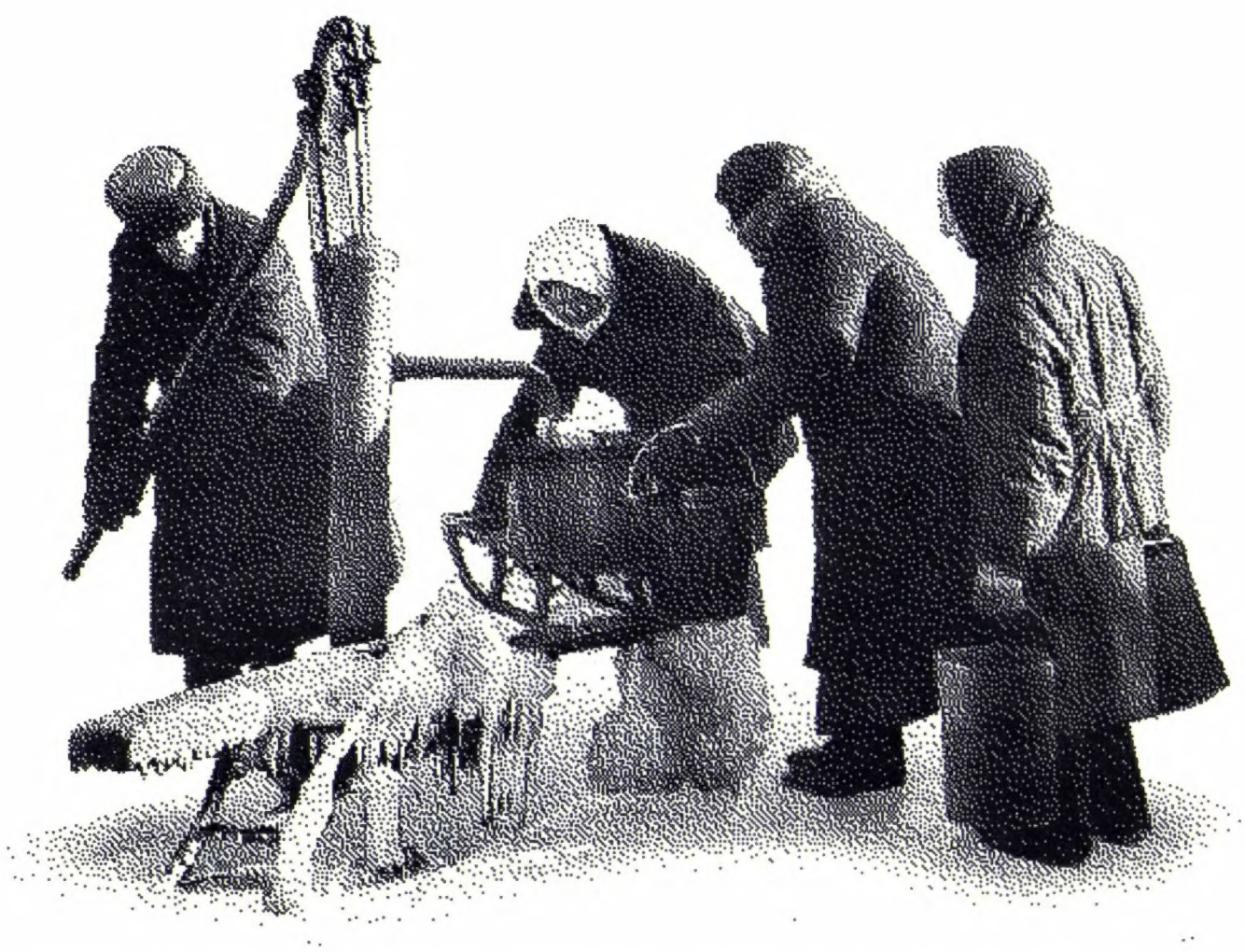




ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

ПОВСЕДНЕВНАЯ

Сергей Яров



МОСКВА

63.3(2-2Ленинград)+
Я 76

ЖИЗНЬ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

16+

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ · 2014

УДК 94(47)“1941/1942”
ББК 63.3(2)622,11
Я 76

Издание второе

*Автор благодарит Марину Николаевну Румынскую
за неоценимую помощь, оказанную
при подготовке рукописи к печати.*

знак информационной продукции **16+**

ISBN 978-5-235-03763-2

© Яров С. В., 2014
© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 2014

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Эта книга о том, что пришлось пережить ленинградцам в блокированном городе. Есть обычное и ставшее классическим описание героизма и стойкости людей. Они не жалуются, поддерживают упавших духом, терпеливо переносят трудности, верят в лучшее будущее. Они и в самые трудные минуты доброжелательны, думают прежде всего о ближнем, готовы всё отдать, чтобы ему помочь. Когда мы видим страшные картины умирающих в муках ленинградцев, то понимаем, что нужны иные оценки того, что они совершили. Эта книга о подвиге, но читатель не найдет здесь привычных пафосных слов. Они не нужны, они лишние. Каждый делал свое дело, но в единении с другими создал ту непреодолимую стену, которая оградила город от падения в бездну. Эти люди не выбирали свою судьбу, но когда пришел их смертный час, многие из них встретили его достойно.

Эта книга — не энциклопедия жизни осажденного города с подробным обзором всех ее сторон. Она рассказывает прежде всего о бедах и страданиях людей. Это блокада, увиденная глазами самих жителей Ленинграда. Они описывали ее, не дозируя плохое и хорошее и не сверяя свои записи с идеологическим каноном, четко предписывающим, как надо освещать историю войны. Они обращали внимание на то, что наиболее потрясало и уязвляло их, запоминалось необычностью и драматизмом. Мимо рутинных происшест-

вий они обычно проходят с безразличием. Им не было дела до того, где работает театр и кто исполняет арии, чем заняты художники и поэты и над какими диссертациями работают ученые. У них была другая жизнь. Ее трудно понять, если подходить к ней с мерками сегодняшнего дня. Привычные ценности во время катастрофы неминуемо рушатся, в человеке обнажаются такие глубины и закоулки, о которых он и сам не догадывался. И главное здесь — не примерять на себя роль арбитра, не указывать никому, как он должен выглядеть в дни испытаний, а понимать, что не может продолжать человек жить как раньше, если хотел спастись.

Время молчания прошло. Не надо наводить на блокадников «хрестоматийный глянец», не надо приписывать им того, о чем они не думали и не говорили.

Свидетельства очевидцев блокады, погибших и выживших, создают впечатляющую по своей силе фреску мученичества великого города. Ее никогда и никому не стереть. Вот этот город — беспомощный против обстрелов и налетов, искалеченный и израненный, но и руинами очерчивающий свои границы, которые никто не смог переступить. Вот эти люди — опухшие, шатающиеся, выискивающие крошки хлеба, мучимые голодом и холодом, разучившиеся плакать — но оставшиеся людьми.

Вот эти люди.

Выслушали женщину из Ленинграда, башмачную закройщицу... Стала притчей во языцех, все узнали вдруг, какою ценою достигается наше продвижение вперед.

М. М. Пришвин. Дневник.

8—9 марта 1942 года

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГОРОД

Глава первая
Блокада

Оперативный план «Барбаросса» и сопутствующие ему документы четко определили основной стратегический замысел немецкого командования. Главными направлениями ударов войск противника были выбраны Юг и Север СССР. После завершения там боевых действий предполагалось при помощи мощных ударов охватить клещами район Москвы и прервать связи ее с другими районами страны. Наступление на Ленинград немецких войск, объединенных в группу армий «Север» (командующий — фельдмаршал В. фон Лееб), было продиктовано несколькими целями. Во-первых, это должно было лишить русских важнейшего звена обороны на Севере, во-вторых, могло парализовать действия Балтийского флота и тем самым устранить угрозу немецким коммуникациям в тылу и сделать невозможным высадку десантов с острова Котлин и создание плацдармов, требовавших отвлечения немалых сил. В-третьих, оно должно было приковать к Ленинграду значительное число советских армий, которые нельзя было использовать как резерв и перебрасывать на другие фронты. В-четвертых, это помогло бы нанести урон ленинградским фабрикам и заводам и препятствовать доставке их военной продукции в тыл. В-пятых, это ускорило бы объединение немецких и финских войск.

Прорвавшиеся через Прибалтику и Запад России соединения немецких войск начали наступление на Ленинград 10—13 июля 1941 года. 10 июля перешла в наступление на Карельском перешейке финская Юго-Западная армия, которая к концу августа вышла на линию старой советско-финляндской границы. Город защищали войска Северо-Западного направления (главнокомандующий — маршал К. Е. Ворошилов). Наиболее сильное сопротивление противник встретил на Лужском рубеже. Созданный здесь укрепрайон, который долго оборудовался системой фортификационных сооружений, не сыграл, однако, отведенной ему роли. Несмотря на героизм его защитников, долго удерживать на нем немецкие войска не удалось. Их лобовые атаки сменились обходом лужских укреплений через район Копорья. В середине июля 1941 года им удалось прорваться к Кингисеппу. Менее успешными в июле оказались действия немецких армий на Новгородском направлении. Борьба за город была ожесточенной, контрудар советских войск в июле у города Сольцы на время позволил приостановить немецкое наступление.

Для действий группы армий «Север» в июле—августе 1941 года были вообще характерны осторожность и медлительность в значительной мере и вследствие ожесточенного сопротивления советских войск, нередко умело использовавших особенности местности (обилие рек, лесов, отсутствие широкой сети дорог). Продвижение немецких подразделений осуществлялось по следующей схеме: поиск слабых мест в позициях противника, позволявший оптимально выбрать места ударов, обход мощных узлов сопротивления через те «коридоры», где численность красноармейцев была невелика, и там, где находились стыки флангов дивизий и армий, изматывающее их позиционное маневрирование, при котором особое внимание уделялось целостности коммуникаций между различными войсковыми частями. Продвинувшись вперед, но понеся при этом тяжелые потери, немецкие войска обычно дожидались прибытия свежих резервов, чтобы, не опасаясь быть окруженными, продолжать наступление.

Широкомасштабных операций и огромных «котлов», где сдавались бы в плен сотни тысяч советских солдат, как это бывало на Юге, Западе и в Центре России, Красной армии здесь удалось избежать, и летом начальник штаба сухопутных войск Германии генерал Ф. Гальдер осторожно заметил, сославшись на мнение и других руководителей вермахта, что события на Севере развиваются «не так, как надо». Особую трудность для армий В. фон Лееба представляло то, что танки, ввиду рельефа местности, невозможно было использовать в полной мере. Они застревали в болотах, в снегу, на малочисленных дорогах, забитых обозами, военной техникой, пехотой и грузовиками с боеприпасами. Сами по себе эти факторы лишь замедлили продвижение группы армий «Север», но не могли существенно повлиять на расстановку сил во время битвы за город. Опыт «блицкригов» у немцев имелся, и они редко до конца 1941 года заканчивались провалами. Тактическая выучка немецких солдат, умение их взаимодействовать в острых и кризисных ситуациях, способность сосредоточить в местах прорывов максимальное число войск и не распылять их силы в значительной степени обусловили развитие событий на дальних подступах к Ленинграду во второй половине лета 1942 года.

Следствием контрудара советских войск из города Сольцы стала приостановка движения немецких частей на Ленинград 18 июля 1941 года. Предстояло сосредоточить их на главных направлениях, дождаться прихода новых пополнений и обеспечить фланги от неожиданных ударов противника. Вынужденный «отдых» затянулся на несколько недель. Резервные части, весьма измотанные, прибывали на Северный фронт не сразу — они требовались группе армий «Центр» в Смоленском сражении, которое окончилось лишь в последней декаде июля 1941 года. Наступление на Ленинград возобновилось в конце июля — начале августа 1941 года. Быстрее всего продвигались к городу части, действовавшие на Юго-Западном направлении. Там ощутимее всего проявлялся перевес в войсках и боевой технике. Подразделения группы армий «Север» наступали на Ле-

нинград тремя путями — через район Кингисеппа, через Лугу и из района Новгорода и Чудова.

Главный удар был намечен 8 августа 1941 года в направлении Красногвардейска*. Быстро удалось нарушить железнодорожное сообщение между Кингисеппом и Ленинградом и потеснить здесь позиции советских войск, среди которых было много ополченцев. 10 августа началось наступление на Лугу (взять ее с ходу не удалось) и на Новгород. Здесь был нанесен 12 августа совсем уж неожиданный для немцев контрудар под Старой Руссой, обернувшийся для них тяжелыми потерями. Прорыв удалось ликвидировать к 25 августа, но медленное продвижение группы армий «Север» было одной из причин так называемого «кризиса командования», который достиг своего пика в начале сентября 1941 года. Спор возник между Гитлером, который требовал придерживаться основных положений плана «Барбаросса», и главнокомандующим сухопутными войсками В. фон Браухичем и начальником Генштаба Ф. Гальдером, желавшими ускорить наступление на Москву и тем самым отодвинуть на второй план достижение других оперативных целей. Становилось ясно, что до начала осенней распутицы, делавшей невозможным массовое использование танков, захватить Ленинград не удастся. Замысел, положенный в основу плана «Барбаросса», дал глубокую трещину. Теперь каждый день был на счету, оттягивать наступление на Москву дальше было нельзя. Это означало, что наиболее боеспособные части должны быть переданы группой армий «Север» группе армий «Центр». В этих условиях темпы и размах операций под Ленинградом неизбежно бы сократились и не позволили бы в обозримом будущем принудить город к сдаче.

Взгляды Гитлера на судьбу Ленинграда несколько раз менялись, и порой трудно выяснить, где мы имеем дело с идеологической декларацией, высказанной с присущими ему самоуверенностью и безоглядностью, а где с оперативными планами, четко и подробно определявшими способы решения военных проблем. Чаще всего цитируется заявление Гитлера о том, что Ленинград не-

* Название Гатчины в 1929—1942 годах.

обходимо сровнять с землей. Об этом приказе командующий группой армий «Север» узнал, по его словам, лишь после войны — соображения Гитлера были высказаны в обход него, в ответе на запрос Военно-морского штаба. То, что эти слова были произнесены Гитлером, не подлежит сомнению, учитывая их тон и стилистику и зная, как часто на них ссылались руководители вермахта. Но оценить его ораторские опыты предстояло немецким генштабистам с их методическим, системным и цепким мышлением. Ясного понимания того, что делать с двухмиллионным городом, никто не имел — ни верхушка германской армии, ни эксперты, занятые составлением детальных и скрупулезных военно-оперативных планов. Захватывать город, тем более его штурмовать, еще в августе 1941 года представлялось нецелесообразным. «Ровнять» город с землей являлось занятием не только бесцельным и дорогостоящим. Эту задачу вообще было трудно решить: требовалось огромное количество саперов, работников технических служб, взрывчатых веществ, а где их было взять без ущерба для фронта?

К началу сентября 1941 года оперативный замысел германского командования на Северо-Западе России принял более конкретные и менее волюнтаристские очертания. Ленинград постепенно перестал считаться первоочередной целью, главной задачей было овладение районом Москвы. Ленинград предполагалось не захватывать с ходу, а только блокировать, но такой прочной стеной, что исключалась попытка оказать ему военную и продовольственную помощь. В. фон Лееба не особенно сдерживали в его броске на Ленинград, позволяя действовать на свой страх и риск. Но срок передачи его дивизий на Московское направление был определен жестко — середина сентября 1941 года. С имеющимися силами продолжать успешные бои на ближних подступах к Ленинграду для группы армий «Север» стало намного сложнее.

Контрнаступление ее возобновилось 20 августа 1941 года. Быстрота продвижения немецких войск во многом обусловливалась не только их богатым боевым опытом, но и тактической выучкой. К концу лета 1941 года стали отчетливо видны промахи в руководстве советс-

кими войсками. В значительной мере они были связаны с боязнью ответственности командиров всех рангов. Отсюда — шаблонность мышления, опасения, что любой тактический маневр будет оценен как бегство с поля боя. Это нередко сочеталось с пренебрежением к повседневным нуждам солдата, что подтачивало исподволь столь превозносимую «волю к победе».

Наступление на Ленинград со второй половины августа осуществлялось на двух направлениях — через Тосно и через Новгород и Чудово. После краткой приостановки действий 15 августа, необходимой для подтягивания отставших частей и новых подкреплений, немецкие войска броском захватили 19 августа Новгород, который не оборонялся в те дни и был быстро оставлен советскими частями. Через день противнику удалось захватить Чудово, и именно бои на Новгородском направлении в последней декаде августа 1941 года оказались для него наиболее успешными. 25 августа новый удар был нанесен на Тосненском направлении. 28 августа 1941 года Тосно был взят, что крайне болезненно восприняло советское командование. Было ясно, что столь быстрое продвижение немцев позволит им оказаться под стенами Ленинграда через несколько дней. Ожесточенное сопротивление советские войска, усиленные ополчением из рабочих Ижорского завода (так называемый Ижорский батальон), смогли оказать только в районе Колпина, но немецкие клинья взрывали оборону противника, используя другие «коридоры». 30 августа войска противника прорвались к Неве. Столь же быстро, с ходу, форсировать реку, чтобы попытаться соединиться с финской Юго-Западной армией, стоявшей на линии старой границы на Карельском перешейке, немцам не удалось. Оба немецких клина, однако, все жестче блокировали город, пытаясь как можно ближе подойти к нему, чтобы сделать эффективными действия осадной артиллерии. 2 сентября 1941 года немцы захватили Мгу, прервав, таким образом, сообщение Ленинграда с другими районами СССР. Заключительным ударом, позволившим блокировать город с суши, стал захват Шлиссельбурга 8 сентября 1941 года. Крепость осталась в руках красноармейцев, но вход в реку Вол-

хов контролировали немцы. Взятие Красногвардейска и Колпина создало угрозу окружения советских войск, защищавших Лужский рубеж, — 24 августа Лугу пришлось сдать. Красногвардейский укрепрайон оказался малопригодным для сдерживания немцев — его скоро обошли, а сами защитные сооружения не позволяли выстроить здесь систему эффективной многодневной обороны.

Стремительное наступление немецкой армии в конце августа — начале сентября 1941 года было остановлено лишь ценой героизма тысяч красноармейцев. Они понесли тяжелейшие потери. Ленинградская оборонительная операция (10 июля — 30 сентября 1941 года) являлась одной из самых кровопролитных во время войны. В ней участвовали 517 тысяч человек, а безвозвратные потери составили 214 078 человек[1].

30 августа 1941 года Главнокомандование Северо-Западного направления было ликвидировано. 5 сентября командующим Ленинградским фронтом был назначен К. Е. Ворошилов, но через несколько дней Ставка изменила свое решение, на роль командира, способного остановить неудержимый натиск немцев, Ворошилов не подходил. Действовал он не гибко, по обычным трафаретам партийно-политических работников, исключавших интуицию, дух импровизации и умение быстро ориентироваться в менявшейся с каждым часом обстановке. Эти трафареты, может быть, и не являлись столь заметными в мирное время, но показали свою непригодность в чрезвычайных условиях. Брать на себя всю полноту ответственности Ворошилов, испытавший унижение после Советско-финляндской войны, остерегался пуще всего. Передоверяя другим командирам важнейшие участки работы и слабо координируя их деятельность, маршал никак не мог справиться с неразберихой, царившей на всех этажах военного аппарата. О том, как работали руководители обороны Ленинграда в самые тяжелые дни германского наступления, лучше всего свидетельствует запись переговоров по прямому проводу 4 сентября 1941 года между Сталиным, Ворошиловым и Ждановым:

«*Сталин*: ...В Тихвине стоят две авиадивизии — трид-

цать девятая и вторая, обе они находятся в вашем распоряжении, но они не получают от вас заданий. В чем дело, неужели вы не нуждаетесь в авиации?

Ворошилов, Жданов: Для нас это неожиданная и приятная новость. ... Нас никто не информировал об авиадивизиях в Тихвине, предназначенных нашему фронту.

...*Сталин:* Вы нас не поняли. Обе эти авиадивизии являются вашими старыми дивизиями. Ваш фронт просто не знает или забыл об их существовании... Вы просто не знаете или не знали, а теперь от нас узнаете, что в районе Тихвина, а не в самом Тихвине, сидят ваши две дивизии, которые до сих пор не получали заданий... Вот как обстоит дело.

<...>

Ворошилов, Жданов: Нет, мы не забыли о существовании этих дивизий, но эти дивизии получали и получают задания от начальника воздушных сил, и только нелетная погода последних двух дней мешала использовать эти дивизии.

<...>

Сталин: Одно из двух — либо эти дивизии представляют для вас приятную неожиданность, либо они давно известны вам были. Что-нибудь одно из двух»[2].

Жданов, который должен был служить подмогой Ворошилову в самые трудные моменты, после бомбардировки 8 сентября 1941 года растерялся. Усугубившаяся тогда же его болезнь стала одной из причин паралича власти в городе в то время, когда никто не знал, придется ли его сдавать в ближайшие дни. План «Д», предусматривавший вывод из строя свыше 50 тысяч городских объектов в том случае, если Ленинград захватят немцы, как отмечал А. Р. Дзенискевич, технически был не выполним[3]. Для наведения порядка в город был командирован нарком госбезопасности В. С. Абакумов, который в своих отчетах рисовал нелицеприятную картину того, что происходило тогда в Ленинграде. Жданова не стали снимать с его постов, но оставили «на хозяйстве» секретаря обкома ВКП(б) А. А. Кузнецова, который, очевидно, и после этого не мог сделать и шага без санкции Жданова.

Обычно бои, ведшиеся под Ленинградом 9—25 сен-

тября 1941 года, оцениваются как попытка штурма города, но цели германского командования были все же скромнее. Захватывать силой город, ведя там ожесточенные уличные бои, не предполагалось. Главной задачей группы армий «Север» являлось создание такого прочного заслона, который не смогли бы прорвать даже самые мощные атаки противника. В ряде публикаций последних лет утверждалось, что немцы при наступлении в первой половине сентября 1941 года не могли встретить ощутимого сопротивления. Говорилось даже о втором «Дюнкерке», когда стоп-приказ предотвратил неминуемый разгром противника. При наступлении, однако, любая армия должна учитывать многие условия, и не было уверенности, что быстро двигавшиеся вперед и оторвавшиеся далеко от резервов наступающие войска посредством ударов противника не окажутся в каменном мешке. Оценивать же позднее шансы на успех можно было, и не раз, но, как отмечал фельдмаршал Э. фон Манштейн, «слова "что не захотел сделать в ту минуту, не вернет тебе и вечность", казалось, были начертаны над операцией против Ленинграда»[4]. В октябре 1941 года было принято окончательное решение не принимать капитуляцию Ленинграда, даже если она будет предложена, не препятствовать выдавливанию его жителей через небольшие проходы. Основную часть населения города предполагалось умертвить посредством голода, бомбежек и, как следствие этого, эпидемий. Более дешевых способов решить «ленинградскую проблему» не нашлось, да едва ли их и искали.

12 сентября 1941 года командующим Ленинградским фронтом был назначен генерал армии Г. К. Жуков. Жесткость и прямолинейность оперативных решений, предлагавшихся им, общеизвестны, но иного рецепта остановить быстро откатывающийся фронт у него и не было. На военную практику Ворошилова он смотрел недоуменно и брезгливо и, не осуждая маршала, давал понять, что намерен прекратить поощряемую последним «говорильню». Надо было спасать еще то, что осталось, без претензий на полководческий талант, без какой-либо сентиментальности, жестоко и безоглядно. Распылять войска, защищающие каждый населен-

ный пункт, он избегал. Основа его тактики — концентрация всех сил и средств только на главных участках фронта, которым угрожали действия противника и которые были годны для осуществления прорыва его позиций в будущем. Человеческие потери не пугали его. Бесчисленные контратаки, предпринятые по указанию Г. К. Жукова, его недоброжелатели считали имитацией бурной деятельности, что должно было произвести нужный эффект в Ставке — но во многих случаях иного выхода не было. Неэффективность малочисленных десантов (здесь особенно показателен Петергофский десант в октябре 1941 года, разгромленный через день после высадки[5]), возможно, не была тайной и для Жукова, но они позволяли оттягивать, дробить, останавливать большие по численности подразделения войск противника и тем самым ослабить удар на Ленинград. Предотвратить же методично затягиваемый немцами узел блокады при том соотношении сил, которое тогда имелось, и при тех тактических навыках, которые с трудом преодолевались в Красной армии, Жуков не мог.

16 сентября немецкие войска осуществили прорыв рядом со Стрельной и блокировали с суши так называемый Ораниенбаумский плацдарм, прикрывавший Кронштадт. 17 сентября 1941 года были захвачены Слуцк* и Пушкин. Пулковские высоты оценивались Жуковым как главный оборонительный рубеж на Ленинградском направлении. Предпринятый 25 сентября 1941 года контрудар советской 8-й армии, ограниченный по своим масштабам, приостановил наступление германской армии. К этому времени Леебу, несмотря на оттяжки, пришлось отправить группе армий «Центр» часть своих войск. Речь шла теперь не о продолжении атак, а о том, чтобы лучше укрепиться на захваченных территориях. Линия блокады, как она сформировалась к концу сентября 1941 года, имела следующий вид: Урицк** — Пулковские высоты — реки Тосно, Нева — Шлиссельбург. С севера город блокировали финляндские войска.

---

* Название Павловска с 1918 по 1944 год.

** В 1925—1963 годах город в Ленинградской области (до 1918-го Лигово); с 1963 года в черте Санкт-Петербурга.

Первая попытка прорвать блокаду была осуществлена еще в сентябре 1941 года в районе Сенявина и Мги. Дело не увенчалось успехом, но был захвачен у Невской Дубровки небольшой плацдарм 800 метров в длину и 2000 метров в глубину — так называемый Невский пятачок. В апреле 1942 года он был ликвидирован немцами, но в сентябре 1942 года в этой части Невы возникло еще несколько плацдармов, правда, небольших.

Новая попытка прорыва была сделана в октябре 1941 года в районе Сенявина и Шлиссельбурга. Она тоже была неудачной, и 20 октября была начата немецкая контратака в направлении Тихвина. Цель была ясна — соединение с финнами, стоявшими на реке Свирь, между Ладожским и Онежским озерами. Оценив опасность, Ставка в самых сильных выражениях торопила командующего защищавшей рубежи на реке Неве 54-й армией М. С. Хозина ударить в тыл немецких войск, но далеко эта армия продвинуться не смогла. 8 ноября Тихвин был захвачен немцами. Бои за Тихвин возобновились в середине ноября 1941 года. Командующий 4-й армией К. А. Мерецков, получив от Ставки больше, чем обычно бывало, подкреплений, смог выбить немцев из Тихвина 9 декабря 1941 года. Сыграли свою роль и сильные морозы, и отсутствие у немцев необходимого количества бронетехники — по словам Лееба, город обороняли всего пять танков, четыре из которых были неисправны. Лееб просил Гитлера разрешить отвод войск за Волхов, но мысль о том, что стоит сделать еще один рывок, который позволит немцам соединиться с финнами, не давала фюреру покоя. Отход он допускал в крайне ограниченных масштабах и цеплялся за любой рубеж, который мог быть ближе к Свири, чем к Волхову. Постоянные возражения Лееба, указывавшего на выгоды сокращения фронта и закрепления его на хорошо обороняемых берегах Волхова, раздражали Гитлера и в конечном счете привели к смене командования группы армий «Север» в начале января 1942 года.

Наиболее мощная попытка прорвать блокаду Ленинграда в 1942 году была предпринята Волховским фронтом в ходе Любанской наступательной операции. Сама

операция была частью сталинского плана, предусматривавшего изгнание немцев с территории СССР в 1942 году. Принятый в эйфории победы под Москвой, этот план не учитывал ограниченности средств, имевшихся в распоряжении Красной армии, и переоценивал степень разложения немецких войск. Любанская операция подтвердила это очень ярко. Наступление Волховского фронта началось в январе 1942 года, и сразу же выявились сбои в реализации плана операции. Ленинградский фронт не смог оказать поддержку в той степени, как это предусматривалось указаниями Ставки. Наиболее успешным было в январе—феврале наступление 2-й ударной армии, другие же армии фронта не смогли выполнить поставленные перед ними задачи. Но и 2-я ударная армия не сумела прорваться к Любани. Не хватало резервов, боеприпасов, тактического опыта. 19 марта 1942 года немецкие войска блокировали 2-ю ударную армию. К 27 марта удалось очистить коридор в «котле», через который доставлялись продовольствие и боеприпасы для армии, но связь ее с фронтом становилась все более хрупкой. Усилился обстрел коридора, сказалась здесь и весенняя распутица. В апреле, когда командующим армией был назначен генерал А. А. Власов, было решено начать отвод ее с захваченных плацдармов. Выйти из окружения, однако, удалось немногим. Армия была постепенно расчленена и уничтожена. Тысячи солдат, в их числе и А. А. Власов, перешедший позднее на сторону немцев, попали в плен.

В августе—октябре 1942 года была проведена новая операция — вновь в районе Мги и Синявина. То, что немецкое командование готовило в это время операцию по захвату Ленинграда, было для Ставки неожиданностью. Главную роль в немецкой контроперации должна была играть 11-я армия во главе с Э. фон Манштейном, приобретшая в Крыму опыт штурма укрепленных крепостей и, в частности, Севастополя. План Манштейна, одного из крупнейших стратегов вермахта, был сформулирован им следующим образом: «На основе наблюдений нам стало ясно, что наша армия ни при каких обстоятельствах не должна быть втянута в боевые действия в черте города Ленинграда, где бы наши силы

быстро растаяли. Точку зрения Гитлера о том, что город можно принудить к сдаче террористическими налетами специально для этого предназначенного 8-го авиационного корпуса, мы так же мало склонны были разделять, как и умудренный опытом командир этого корпуса генерал-полковник В. фон Рихтгофен.

Исходя из сказанного выше, замысел штаба армии заключался в том, чтобы, используя вначале сильнейшее артиллерийское и авиационное воздействие на противника, прорвать силами трех корпусов его фронт южнее Ленинграда, продвинувшись при этом только до южной окраины самого города. После этого два корпуса должны были повернуть на восток, чтобы с ходу внезапно форсировать Неву юго-восточнее города. Они должны были уничтожить противника, находившегося между рекой и Ладожским озером, перерезать путь подвоза через Ладожское озеро и вплотную охватить город кольцом также и с востока. В таком случае захвата города можно было бы добиться быстро и без тяжелых уличных боев, подобно тому, как это случилось в свое время с Варшавой»[6].

Наступление советских войск на позиции 18-й армии началось в начале последней декады августа 1942 года. Масштабы предстоящего сражения выявились через несколько дней. Действия советских войск не были похожи на ограниченные и кратковременные операции с предсказуемым концом, как это нередко случалось в первый год войны. Удар был мощным, позиции 18-й армии (командующий — генерал Г. Линдеманн) оказались сильно поколебленными. Южнее Ладожского озера соединения Волховского фронта быстро продвигались навстречу Ленинградскому фронту. Натиск оказался бы еще сильнее, если бы наступление началось не из лесных массивов. Отчасти это явилось причиной последовавшей затем трагедии. Танки не могли наступать на широком фронте и были стеснены в своих передвижениях. Многие полки пробирались лесными тропами через болота, использовать здесь бронетехнику и моторизованные части удалось только в ограниченных размерах. Часто цитируется высказывание Манштейна о том, что немецкие войска «никог-

да не организовали бы прорыв на такой местности»[7]. В советских публикациях говорилось об этом чуть ли не с гордостью — как свидетельство разнообразия оперативных приемов советского командования, но цену за эти стратегические новшества пришлось заплатить весьма большую.

На первых порах, однако, советское наступление развивалось успешно. Оценив опасность, Гитлер возложил на Манштейна руководство всеми силами, находившимися в районе Синявинского прорыва. При этом он пренебрег ведомственной субординацией, хотя занимаемые Манштейном позиции находились в зоне ответственности 18-й армии. Теперь не было времени соблюдать традиции вермахта, ибо ставка являлась весьма высокой. Первоначальным замыслом Манштейна пришлось пренебречь. Подчиненные ему войска должны были выполнить две задачи: первая — остановить русские дивизии, вторая — организовать контрнаступление против них. И то и другое Манштейну в целом удалось достигнуть.

Глубокий выступ Волховского фронта, созданный клиньями наступающих советских войск, он перекрыл у самого основания двумя ударами с севера и юга. В итоге образовался «котел», куда попали почти все наступающие соединения Волховского фронта. Попытки Ленинградского и Волховского фронтов деблокировать окруженные войска не имели успеха. Чтобы избежать затяжных боев в «котле» и тяжелых потерь, немецкое командование отказалось от его штурма. Штаб 11-й армии, как отмечал Манштейн, «подтянул... на помощь артиллерию, которая начала вести по котлу непрерывный огонь... благодаря этому огню лесной район в несколько дней был превращен в поле, изрытое воронками, на котором виднелись лишь остатки стволов...»[8].

2 октября 1942 года бои в «котле» закончились. Здесь были уничтожены несколько советских стрелковых дивизий и бригад, танковые соединения, тысячи красноармейцев оказались в плену. Это была пиррова победа. О том, чтобы измотанные кровопролитными боями части подразделения 11-й армии стали наступать на Ленинград, теперь и речи не шло. Стойкое сопротивление

советских солдат, их многочисленные жертвы не были напрасными. Малыми силами даже опытные германские стратеги обходиться не могли. Требовалось пополнить части 11-й армии свежими войсками, что не могло быть быстрым и ввиду оскудения людских резервов рейха, и вследствие состояния дорог во время осенней распутицы, в грязи которых застревали целые танковые колонны. После окружения немецких войск под Сталинградом передача новых дивизий для операций на Ленинградском направлении стала невозможной. От самой идеи соединиться с финнами Гитлер не отказался вплоть до краха Северного фронта (эта мысль годами отстаивалась им с какой-то патологической настойчивостью), но финны, видя положение дел на фронте, менее склонны были отзываться на призывы о боевом товариществе. Соотношение сил являлось к концу 1942 года таковым, что 18-я армия могла ограничиться только обороной.

Первым успешным наступлением советских войск под Ленинградом является операция «Искра», проведенная в январе 1943 года. Замысел операции был широким. Предполагалось масштабное наступление навстречу друг другу двух фронтов — Ленинградского и Волховского — с целью разгромить германские войска под Ленинградом, снять блокаду и обеспечить надежную связь города со страной на широкой полосе южнее Ладожского озера. Наступление было начато в районе так называемого «бутылочного горла» — территории, где позиции фронтов были особенно близкими и где 18-я армия имела доступ к побережью Ладожского озера. Атаки начались 12 января 1943 года, войска двух фронтов встретились 18 января. Первоначальный успех развить не удалось, хотя оба фронта превосходили германские войска по числу пехотинцев и по количеству танков. Но южный берег Ладоги был очищен от противника на глубину 8–10 километров. Дальше, несмотря на силу натиска и самоотверженность солдат, продвинуться не удалось — немцы смогли отразить все атаки наступающих армий. Бои продолжались до февраля, но постепенно стали затухать. Еще одна попытка наступления против 18-й ар-

мии в районе Мги, предпринятая в июле—августе 1943 года, в целом являлась безуспешной.

Прорыв блокады помимо бесспорного морального эффекта имел и немаловажные практические последствия. Он позволил в феврале 1943 года проложить железную дорогу в Южном Приладожье, так называемую Дорогу победы. Первоначально перевозки осуществлялись ночью, но потом удалось наладить и движение поездов в дневное время. Десятикилометровая полоса вдоль Ладоги интенсивно простреливалась артиллерией противника, рельсы сначала не имели твердой основы, часто «расползались». Впоследствии Дорогу победы удалось более надежно защитить и технически усовершенствовать. До декабря 1943 года по ней прошел 6181 эшелон, хотя более точные данные о перевезенных по дороге грузах (исследователи называют различные цифры) предстоит еще выяснить. Прорыв в Приладожье почти не отразился на повседневной жизни ленинградцев и не был ярко запечатлен в общественном сознании, в отличие от первого повышения норм хлеба 25 декабря 1941 года.

Как видим, ни одна из операций, предпринятых с целью прорыва блокады Ленинграда в 1941—1943 годах, не увенчалась безоговорочной победой. В лучшем случае удавалось добиться лишь кратковременных и ограниченных успехов, не позволявших, однако, существенно изменить линии фронтов. Причин было много: несогласованность действий советских армий, ограниченность ресурсов, людских и материальных, недостаток авиационной поддержки, ведомственная разобщенность, боязнь ответственности за принятие решений, отставание тыловых частей, плохое продовольственное снабжение войск, низкие технические характеристики стрелкового оружия красноармейцев по сравнению с немецким. Одна из главных причин неудач — неумение грамотно руководить войсками, учитывать сложный рельеф местности, что приводило к многочисленным потерям среди солдат и делало надежду на победу еще более призрачной. Пополнение происходило медленно, хотя успешное наступление удавалось осуществлять часто лишь в том случае, если войска превосходили

противника по численности и используемой технике. В неопубликованной в советское время в связи с требованиями цензуры части записок К. К. Рокоссовского есть глухой намек на то, что Г. К. Жуков выступал против активных действий Волховского фронта, поскольку он не был обеспечен мощными резервами.

Широко распространено мнение о том, что после битвы под Москвой значительно улучшилась тактическая выучка советских войск. Но ее уроки учли не только Красная армия, но и вермахт. Шаблонность оперативных решений командиров РККА всех уровней, полностью от которой не удалось избавиться до конца войны, особенно зримо выявилась в ходе боев на Ленинградском и Волховском фронтах. Наступление обычно начиналось по стандартной схеме: артподготовка, интенсивный обстрел позиций противника в намечаемом месте прорыва. За несколько дней до начала атак делались попытки обмануть неприятеля посредством создания ложных плацдармов и отвлекающих обстрелов на тех участках фронта, штурмовать которые не собирались. Ударные части прорывали оборону противника, в образовавшиеся щели вводили моторизованные части пехоты и танки. Эта окостеневшая схема строилась на предположениях о том, что противник не был способен учиться и замечать промахи в тактических приемах Красной армии. А учиться он умел. После начала обстрела участков в районе прорыва немецкие солдаты переходили на заранее подготовленную вторую линию окопов, что резко снижало эффективность действий артиллерии Красной армии. В эти районы быстро перебрасывались войска с других участков группы армий. Эффект внезапности исчезал, но едва ли это могло приостановить начавшееся наступление. Маневренной обороной часто пренебрегали, иногда без всякой пользы для дела цеплялись за полусожженную, давно покинутую жителями деревню, шли напролом.

Читая записки командующего Волховским фронтом К. А. Мерецкова, обращаешь внимание на одну их особенность. В них почти отсутствует подробный анализ каждой из операций и редко говорится о причинах их провалов. Повсеместно, однако, встречаешь оговор-

ки о том, что хотя наступление и не удалось, но смогли сковать дивизии противника, задержать их дальнейшее продвижение, «перемолоть» их и помочь другим фронтам. По этой канве, вероятно, и составлялись отчеты о неудачных операциях, отправляемые в Ставку. Все это так, но наступление вблизи Ленинграда предпринималось не для сковывания войск, а для прорыва блокады — а именно этого и не удалось достичь. На Невском пятачке, где мог уместиться лишь один полк и где, согласно официальной версии, «перемалывали» несколько немецких дивизий, «перемолотыми» оказались и советские войска — 140 тысяч солдат погибли на этом крохотном плацдарме, с которого до захвата его противником в апреле 1942 года так и не удалось нанести даже ограниченный удар.

На войне как на войне — за всё платили жизнями стойких, неприхотливых в быту русских солдат, героически выполнявших свой долг, но погибавших в безвестности. А причины писать так, как он писал, у Мерецкова, несомненно, имелись. В каждой из последующих операций повторялись все те же недостатки, которые были присущи предыдущей: они либо устранялись медленно, либо вовсе не устранялись.

Судьба страны в 1941—1943 годах решалась на других фронтах. Ленинградский и Волховский фронты являлись второстепенными. Не для них предназначались самые боеспособные войска, не им передавали самые мощные танковые части. Провал планов тотального наступления на всех фронтах в конце 1941-го — первой половине 1942 года послужил для советского командования наглядным уроком. Совершенствование его оперативного мастерства не могло не заметить и руководство вермахта, правда, в целом не ставя его высоко. Германское командование смогло наладить снабжение Демянского «котла» в 1942 году — но ведь это был «котел», куда попали немецкие войска, а не русские. Снижались, и порой весьма ощутимо, потери, понесенные красноармейцами. Во время Ленинградской оборонительной операции 1941 года погибли около 40 процентов от числа войск, сдерживавших немецкий натиск. В последующих операциях (Тихвинской, «Искра», Ленин-

градско-Новгородской) цифра потерь обычно составляла 10 процентов. Более умелым стало применение сковывающих и отвлекающих маневров, точечных ударов авиации, войска снабжались автоматическим оружием. Но полностью изменить устаревшие тактические приемы не удалось — они, правда, нигде не меняются быстро.

Глава вторая
Улицы

Улицы города никогда не были пустыми. Здесь видели и людей, безучастных ко всему, и тех, кто стремился выжить любой ценой. Здесь пульс блокадного Ленинграда ощущался сильнее всего. Шли туда, где был хлеб, шли к тем, кто нуждался в помощи, шли, провожая в последний путь, шли по заснеженным улицам, шатаясь и падая, умирая и прося о поддержке, — шли, шли, шли...

Первые бомбежки обезобразили город воронками, руинами, поваленными деревьями, битым кирпичом на залитых кровью мостовых, выброшенной из домов мебелью. Всюду виднелись оборванные провода, под ногами хрустело стекло. З. В. Янушевич вспоминала, как после попадания бомбы в один из домов были разбиты окна всех зданий на расстоянии 200—300 метров от него[1].

Места, пострадавшие от обстрелов, огораживали рогатками, вывешивали таблички, предупреждавшие об опасности. Боялись и неразорвавшихся бомб, ушедших глубоко под землю, и накренившихся, готовых упасть в любую минуту остовов зданий. До того времени, пока это зрелище не стало привычным, у заграждений часто собиралась толпа, обычно молчаливая. В сентябре—ноябре 1941 года, пока город еще не пришел в упадок, пока спасатели могли оказать помощь каждому, улицы старались расчищать от обломков и даже восстанавливать разрушенные дома. Так, 6 ноября 1941 года выложили кирпичом первый этаж разбомбленного левого крыла здания Кировского театра[2]. Потом на руины перестали обращать внимание. Не имелось ни сил, ни средств

убирать их, как не было и уверенности в том, что завтра они снова не превратятся в груду камней.

Места, наиболее опасные при артобстрелах, отмечались надписями на домах. Окна и даже двери магазинов, предприятий и учреждений обкладывались мешками с песком, заколачивались досками и щитами из фанеры. Входили в них часто не с улицы, а со двора[3]. Одному из приехавших в Ленинград летом 1942 года запомнилось, что во многих уцелевших зданиях были разбиты стекла[4]. Пустые глазницы домов сразу придали улицам мрачный колорит, наложивший неизгладимый отпечаток на символику блокадного Ленинграда. Зияющие раны города старались прикрыть огромными плакатами из картона и фанеры. Но не было таких щитов, которые могли бы целиком заслонить собою разрушенный дом — раны кровоточили всюду.

Тематика плакатов, призывавших бороться с врагом, с 1942 года значительно расширилась. Советовали, как готовиться к зиме, где лучше хранить овощи, как следить за здоровьем, как уберечься от пожаров. Трудно сказать, все ли внимательно читали эти знакомые с детства «житейские» наставления, спеша на работу, домой или в магазин и столовую. Пустоту улиц оттеняли только немногочисленные группы людей, которые собирались у досок объявлений или у заборов, где вывешивались газеты. Останавливались блокадники и у радиоприемников, отчасти и потому, что радио работало не во всех домах. Побывавший в сентябре 1942 года на Невском проспекте Николай Дмитриевич Синцов отметил, что «радиорупоры не умолкают ни на минуту: то боевой доклад, то музыка, то короткая реклама о театре Музкомедии или различных краткосрочных курсах, то просто мерный стук метронома»[5].

В «смертное время» — самые страшные, голодные месяцы конца 1941-го — начала 1942 года — картина была иной. Радио работало с перерывами, да и сложно представить среди слушателей уличных «рупоров» медленно, словно на ощупь бредущих людей, часто не отзывающихся на крики и мольбы о помощи упавших рядом. Газеты мало кто видел в эти дни. Их перестали вывешивать с декабря 1941 года на улицах, их невоз-

можно было купить в киосках. «Первая газета стала расклеиваться на заборах только весной», — вспоминал Д. С. Лихачев[6]. Количество полос «Ленинградской правды» сильно уменьшилось, а описаний правдивых картин жизни осадного города в ней было мало, хотя это и не может быть поставлено в вину их авторам. Не все могли подписаться на газеты. А. П. Остроумова-Лебедева даже в марте 1943 года ходила читать их на заборах у Лесного проспекта[7].

Когда кольцо окружения замкнулось, город оказался разбитым «транспортным параличом». Последствия не замедлили сказаться. О неисчислимых бедствиях, муках и страданиях ленинградцев, замерзавших в пути от холода, падавших от истощения, погибавших под бомбами, говорит каждый из очевидцев блокады. Ощутимее всего стало прекращение трамвайного движения.

Ранней осенью 1941 года трамваи еще ходили до Средней Рогатки, у которой «ковырялись детскими лопатками женщины, дети и старики, пытаясь найти остатки... капустной хряпы». Возили трамваи тех, кто неподалеку рыл окопы, возводил валы, строил оборонительные сооружения[8]. До конца ноября число трамваев постепенно, но неуклонно начало снижаться, и даже такой осторожный бытописатель тех дней, как Н. Тихонов, заметил «неимоверную давку» в них в вечернее время. Замедление движения трамваев после 8 сентября 1941 года во многом обусловливалось и бомбежками. При извещении о том, что «район подвергается артиллерийскому обстрелу», трамваи должны были идти в обход, дальше от мест поражения. Пассажиры высаживались, и трамваи шли пустыми в районы, которые не бомбили. Не обошлось на первых порах и без сбоев. Радиотрансляционные зоны в это время охватывали несколько районов, и стоило начаться обстрелу одного из них, как получали предупреждение и те вагоновожатые, которые работали в безопасных районах[9]. Отметим, что именно при артобстрелах (а не налетах) среди пассажиров трамваев было зафиксировано наибольшее число жертв. Особенно трагичной оказалась судьба пассажиров, ехавших в переполненном трамвае

и попавших под обстрел у Сытного рынка: погибли несколько десятков человек.

В начале декабря 1941 года трамваи ходили в основном утром и вечером — но и тогда с перебоями. 2 декабря актер Федор Михайлович Никитин отметил в дневнике, что трамваи «окончательно встали», но полностью прекратилось их движение только через несколько недель. 9 декабря Ленгорисполком сократил ряд трамвайных маршрутов, уменьшилось количество вагонов. Сокращения эти нельзя признать масштабными, но попытки постепенно и упорядоченно перестроить трамвайное хозяйство в условиях первой блокадной зимы оказались, однако, недолговечными. Развал хозяйства произошел буквально в считаные дни, и предотвратить его в то время, когда повсеместно стала остро ощущаться нехватка электричества, Ленгорисполком был не в силах. В середине декабря трамваи почти перестали встречать на улицах города, а те, которые еще работали, часто ездили не по «своим» маршрутам. Точно определить число, когда по Ленинграду в 1941 году проехал последний трамвай, очень сложно (очевидцы говорят о разных датах), но многие историки соглашаются с тем, что это произошло в третьей декаде декабря. Часть трамваев не удалось вывезти в парки из-за внезапной остановки тока. Некоторые из них покосились за зиму от бомбежек, стекла в них были выбиты, убрать их не удалось — трамвайные пути занесло снегом. Картина «умирания» блокадного трамвая в декабре 1941 года ярко и даже чересчур живописно освещена военным хирургом Аркадием Коровиным: «Я видел, как беспомощно и долго он буксовал по заметенным и скользким рельсам, не в силах сдвинуться с места. Последними из него вышли две обвязанные платками женщины—кондукторша и вожатый, и, поддерживая друг друга, тихо побрели...»[10]

Работа грузовых трамваев возобновилась в начале марта 1942 года, когда стали очищать город от снега, льда и грязи. 15 апреля 1942 года по городу пошли трамваи с пассажирами — этот день являлся одной из самых значительных блокадных вех. Очевидцы запомнили крики и слезы, которыми их встречали, и предельную

вежливость, соблюдаемую на первых порах пассажирами. Вначале было открыто движение по пяти маршрутам, связавшим разные концы города. Самым длинным оказался маршрут от острова Голодай до Волковского проспекта, отмеченный даже в блокадном «черном юморе»: «Поголодаю, поголодаю, да на Волково». Число маршрутов постепенно увеличилось к 1943 году до тринадцати, ходили трамваи с 6 часов 30 минут, последнее отправление их с конечного пункта в 21 час 30 минут; с 22 часов хождение по улицам было запрещено. Скопление людей на трамвайных остановках вело к многочисленным жертвам при обстрелах, поэтому их пытались устанавливать рядом с «естественными» убежищами — арками и подъездами домов — и убирать с перекрестных улиц[11].

Если летом в опустевшем после массовой эвакуации и отъезда жителей на огородные работы городе в трамваях стало свободнее, то осенью 1942 года они обычно ходили переполненными. Трамваями пользовались не только горожане, но и военнослужащие, что усиливало транспортную разруху. Очевидец, отметивший «зоологические драки» в трамвае 9 ноября 1942 года, объяснял это тем, что «матросы срывали на остановке у Невского людей с... площадки, меня в том числе, прорывали себе дорогу». Он же несколько недель спустя записал в дневнике «бытовавшее тогда в городе “модное изречение”: “У меня нету столько свободного времени, чтобы ездить на трамвае”»[12]. Такие свидетельства не единичны. «Тьма народу... Два трамвая пришлось пропустить — не попала. В третий попала нахальством и чудом» — все это Анастасии Уманской пришлось испытать 12 декабря 1942 года[13]. Весьма непрезентабельным даже в 1943 году оставался внешний вид вагонов — средств для ремонта их не было, непрекращающиеся бомбардировки в это время только усилились. «Попадаются вагоны, в которых лишь одно стекло, а все остальные заделаны фанерой», — сообщал Н. Д. Синцов родным 24 мая 1943 года[14].

Редко видели на улицах в первую блокадную зиму и автомобили. Постановление Ленгорисполкома 20 декабря 1941 года отчетливо показывает, сколь скупой

рукой отпускался тогда бензин разным ведомствам. Больше всего бензина (20 тонн) передавалось для нужд «ответственных работников», 13,5 тонны предлагалось выделить тресту хлебопечения. На 2 февраля 1942 года в учреждениях Наркомата торговли находилось 125 автомашин — и это в городе, где жили несколько миллионов человек и работали сотни магазинов, булочных и столовых. Отметим, что Ленгорисполком тогда обслуживали 348 автомобилей, в то время как учреждения Наркомата здравоохранения (в том числе службу «Скорой помощи») — 179[15]. «Нанять» машину для перевозки людей и имущества удавалось не всем — и самих автомашин было мало, и шоферы часто «заламывали» такую цену, которая оказывалась непосильной для горожан. Лишь позднее, в 1943 году, машины стали чаще видеть на улицах города, но увеличению их парка продолжали препятствовать нехватка персонала, горюче-смазочных материалов и резины. Неудивительно поэтому, что зимой 1941/42 года на санках и тележках развозили по магазинам 96—98 процентов грузов[16]. Санки стали универсальным транспортным средством в это время — на них везли свои вещи эвакуированные, на них доставляли в больницы обессиленных блокадников, их использовали для перевозки трупов к местам захоронений. После блокадной зимы редко видели велосипеды на городских улицах. В апреле 1942 года их владельцы должны были зарегистрироваться, причем запретили продавать, покупать и передавать велосипеды[17].

Когда видишь кинокадры или фотографии, на которых запечатлена осада Ленинграда, сразу обращаешь внимание на троллейбусы, застывшие среди сугробов, покосившиеся, с оборванными проводами и выбитыми стеклами. Троллейбусов было мало в городе и до войны (всего действовало пять маршрутов), но именно они, став обязательной частью городского пейзажа, являлись одной из ярких примет блокады. Троллейбусы прекратили работать 20 декабря 1941 года в силу тех же причин, что и трамваи, — из-за отсутствия тока. Восстанавливать троллейбусное движение во время блокады не стали, хотя вагоны и пытались убрать с улиц после первой зимы. Ввиду малочисленности троллейбусов

даже возобновление их работы в полном объеме транспортных проблем не решало, а эксплуатация их, видимо, являлась более дорогой, чем трамваев.

Вмерзшие в землю троллейбусы и трамваи, как и неубранные огромные снежные сугробы, — это символы блокадных дней. Очевидцы вспоминают, что сугробы порой достигали роста человека, полностью скрывая от прохожих тротуары[18]. Блокадники часто шли по тропкам, проложенным посередине улиц, — здесь было меньше снега, поскольку даже в январе 1942 года некоторые дороги очищались для проезда военных и эвакуационных машин. С изумлением отмечали, что какие-то места в это время даже посыпались песком[19], но это являлось скорее исключением, чем правилом. Поскольку снег некуда, да и некому было вывозить, его сгребали к обочине дороги. Создавались целые снежные горки — они хорошо видны на фотографиях, запечатлевших субботники весной 1942 года.

Город погрузился во тьму. Ввиду потерь в дневное время самолеты противника бомбили город обычно ночью. Освещение улиц прекратилось, жильцы домов были обязаны затемнять окна. В те окна, которые не успели ночью затемнить, патрули иногда стреляли из оружия. Правда, такие случаи являлись редкими и они не поощрялись «верхами»[20]. В целях маскировки со зданий убирались таблички с названиями улиц и номерами домов[21]. Камуфлировались купола и крыши знаменитых исторических зданий, наиболее ценные памятники обшивались досками, обкладывались мешками с песком, зарывались в землю.

Часть горожан пользовались на улицах электрическими фонариками, но они имелись не у всех. «Ужасная», «непроглядная», «абсолютная» тьма — таким запомнился город блокадникам[22]. Нередко прохожие сталкивались на дороге, не замечая друг друга, а при эвакуации одного из госпиталей больные даже сбивались с пути и «девушки-сестры подолгу разыскивали их в безлюдных переулках»[23]. В блокадных анналах можно найти и рассказ о том, как женщина заблудилась в своем дворе, тщетно пытаясь найти дверь парадной[24]. Особенно трудно было тем, кто плохо видел, кто падал, будучи ис-

тощенным, от малейшего толчка и не имел сил блуждать по закоулкам, не различая даже контуров домов.

И люди на улицах стали другими. Замедленное и монотонное движение толпы, безразличие людей, их неразговорчивость и неповоротливость, мрачность лиц, нежелание уступать дорогу и придерживаться правой стороны — если это наблюдалось не всегда и не у всех, то все же являлось весьма заметным и потому не могло не отразиться в записях очевидцев[25]. Более быстрыми движения людей становились во время обстрелов, налетов, в тех случаях, когда требовалось скорее дойти до столовой, работавшей до определенного часа, или к прилавку, чтобы не оказаться последним в очереди.

Правила перехода улиц стали часто нарушаться сразу после начала войны. «Точно все сговорились: во время войны и порядка не нужно. И так относились не только обыватели, но и милиционеры», — сетовал К. И. Сельцер[26]. Горожане ходили по улицам, не различая тротуаров и мостовых. На одной из блокадных фотографий мы видим даже детей, бредущих посередине Невского проспекта. Иначе и быть не могло: машины ездили редко, проезжая часть улиц быстрее расчищалась.

Осенью 1941 года, когда ожидался штурм Ленинграда, на улицах сооружали баррикады, устанавливали надолбы против танков, заграждения из колючей проволоки. Угловые дома на перекрестках переделывали в доты[27]. Их отделывали для прочности кирпичом, а окна нижних этажей превращались в щели. Материалом для баррикад служили, как отмечала Анна Исааковна Воеводская, увидевшая их на Боровой улице, «всякое барахло и старая железная кровать»[28]. Большого размаха это начинание не получило и являлось скорее импровизацией, хотя часть баррикад убрали лишь после прорыва блокады. Сомнительно, чтобы они могли принести пользу. Для артиллерии противника быстро снести такие груды песка и металла не составило бы труда. Мобилизованных на военные работы обычно отправляли рыть окопы не в городе, а ближе к линии фронта.

Приметой осажденного города стали и патрули. Для того чтобы въехать в Ленинград или выехать из него, требовались особые пропуска. Проверкой их занима-

лись комендатуры. В южной и юго-восточной части города были организованы три заградительные линии, особый пропускной режим был введен и на северных окраинах Ленинграда. С 27 августа 1941 года был установлен комендантский час с 10 часов вечера до 5 часов утра. Передвижение по городу в это время запретили, тех, кто нарушал порядок, задерживали. Соответственно, менялся и распорядок работы театров, домов культуры, кинотеатров[29].

Установленные в Ленинграде заставы и контрольно-пропускные пункты полностью «закрыть» огромный город, разумеется, не могли. Выставлялись они обычно у мостов через Неву, на центральных дорогах[30]. В темное время года документы изучали с помощью фонарей, которые, впрочем, не всегда работали исправно. Следили за всем, проверяли содержимое сумок и багажа, задерживали подозрительных лиц. Запреты, однако, нередко обходили, и, вероятно, сами проверяющие смотрели на многие «прегрешения» сквозь пальцы. И не случайно: не все могли вовремя вернуться домой из-за бомбежек, из-за истощенности, когда недолгий путь занимал несколько часов. В «смертное время» приходилось занимать очередь у магазинов ночью — и разогнать всех «нарушителей» у милиции не имелось ни сил, ни возможностей.

Скажем прямо, заградотряды имели не очень добрую славу в то время. Необходимость их признавали, но и натерпелись от них горожане немало. Заградотряды задерживали тех, кто пытался пробраться на неубранные поля рядом с фронтовой полосой, отнимали продукты, которые удавалось обменять в совхозах и у жителей деревень. Не лучшим было и отношение к милицейским постам в самом городе. О взятках продуктами или деньгами, которые вымогали милиционеры, к сожалению, говорил не один очевидец блокады. «Давай двадцать пять рублей. — Нету. — Ну, десять» — таким был разговор милиционера с одной из женщин, не имевшей пропуска[31]. Осуждать их трудно — истощенность милиционеров в первую блокадную зиму не раз отмечалась свидетелями тех дней — но каково было людям, спасавшим себя и своих детей? Они боялись быть задер-

жанными за нарушение комендантского часа, не желали откровенно говорить о том, где взяли продукты, или хотели сохранить хотя бы часть их — и этим пользовались те, кто обязан был следить за порядком в городе. «На нее “напали” (если так можно выразиться) милиционеры. Сперва один у мельницы Ленина отнял полбуханки хлеба и крупы, а потом другой на 1-й линии стянул остатки хлеба, съел пол[овину] супа и также отнял крупы», — передавал в дневниковой записи 19 февраля 1942 года рассказ матери Влад Николаев[32].

В городе появились и патрули из рабочих. Они не были многочисленными и обычно ночью следили за соблюдением правил светомаскировки, отлавливали «ракетчиков», иногда привлекались для охраны булочных. У парадных домов поочередно дежурили жильцы — блокадной зимой этот ритуал, правда, часто нарушался. Позднее, с января—февраля 1942 года стали постоянно совершать обходы улиц сандружинницы. Обилие сохранившихся свидетельств о том, как проходили мимо лежавших на снегу обессиленных людей, заставляет, однако, предположить, что они могли помочь далеко не всем попавшим в беду.

Эти лежавшие на улицах люди, умолявшие прохожих, пытаясь их разжалобить криком и плачем, ползущие по земле, цеплявшиеся за всё, чтобы в одиночку встать на ноги, и бессильно замиравшие, чувствуя свою обреченность, — одна из самых страшных картин осажденного Ленинграда. Падать истощенные люди на улицах стали с ноября 1941 года. Поначалу их даже принимали за пьяных[33], да и трудно было понять, отчего почти сразу умирал человек, который не был подвержен никаким болезням. Разгадка обнаружилась позднее. Тогда и прозвучало это страшное слово, ставшее символом блокады, — дистрофия. Часто говорилось о том, что ленинградцы, проходившие мимо лежавших на снегу, сами являлись немощными и должны были заботиться прежде всего о себе. С этим трудно спорить, но нередко встречались и те, кто питался столь же скудно, но стремился помочь и другим. Многое зависело не только от здоровья людей, но и от их культуры, воспитания и религиозности.

Безразличие к упавшим людям отчасти проявлялось и потому, что их видели всюду и смирялись с тем, что нельзя помочь каждому. И не надо было ни на кого оглядываться и ни перед кем извиняться — так же поступали и другие блокадники. А уж потом звучали и иные доводы: зачем поднимать обессиленных, если вскоре они опять упадут, не здесь, так там, и стоит ли это делать, если жить им осталось недолго. Да и легче было быстрее пройти мимо них, чем поднять человека, помочь ему добраться до дома, карабкаться по промерзшим ступеням чужого дома, стучать в «выморочные» квартиры, искать его родных... Кто бы решился на это в «смертное время»? Но и уйти сразу не все могли. Поднимали упавшего, пытались его приободрить и уходили, стараясь не оглядываться, — имелась у людей пусть и маленькая толика сострадания и стыда, понимания того, что есть человеческий долг, которым нельзя пренебречь. Позднее с волнением рассказывали, как молча прошли мимо обессилевших, и обязательно писали об этом в воспоминаниях, то оправдываясь, то обвиняя себя, то ограничиваясь бесстрастной репликой, — но писали.

Многообразие тех эпизодов, где горожане проявляли милосердие к обессиленным, трудно подверстать под единые правила. Отметим, однако, что чаще помогали тому, у кого имелось больше шансов выжить, кто громко звал на помощь, не позволяя уклониться еще не совсем очерствевшим людям. Это происходило и в тех случаях, когда поддержка чужого человека не требовала чрезмерных усилий и на помощь ему готовы были прийти не один, а несколько прохожих, — но такое видели редко[34]. Довести ослабевшего человека до дома мало кто решался, поскольку идти он обычно не мог, и его приходилось нести на себе. «Он сначала ногами помогал, а потом совсем обмяк», — писала о своем знакомом Н. Чистякова[35]. Другая блокадница пыталась помочь женщине, просившей ее поднять. Все было тщетно: «...Провела шагов 100, увидела, что так не пойдет сама, и сказала: “Теперь дойдете”. Отойдя, услышала, что женщина упала опять, но поднять ее не вернулась»[36].

И такое случалось часто. Позднее даже и не оглядывались, понимая, что ничем не смогут помочь и лишь

обрекут себя на лишние нравственные муки. Старались (и то не всегда) помочь тем, кто упал только что на глазах у всех, — а «отходивших», лежавших на снегу в немыслимых позах, замерзших, молчавших сторонились. И. И. Жилинский рассказывал о лежавшем на снегу человеке без пальто, к которому никто не подходил, — вероятно, считали его «конченым», зная, как быстро окоченевали истощенные люди на морозе.

Поднимать упавших чаще стали с марта 1942 года, когда начали расчищать улицы, увеличилось число патрулей, а повышение пайков уменьшило число дистрофиков. Милиционеров, многих из которых заменили приехавшие из других городов и не столь истощенные работники НКВД, обязали поднимать всех, кто не мог идти.

Пожалуй, боязнь эпидемий из-за огромного скопления трупов на улицах и во дворах, усилившаяся в преддверии весны, стала одной из главных причин знаменитых «субботников» по очистке города в марте—апреле 1942 года. Попытки мобилизовать горожан на уборку снега предпринимались и в середине декабря 1941 года. Иждивенцев обязывали работать 8 часов в день безвозмездно. В «смертное время» этот почин, конечно, не мог получить размаха. «...Многие наши ходят, поковырявшись, возвращаясь измученными», — отмечено в дневнике известного востоковеда А. Н. Болдырева 17 декабря 1941 года[37]. Дворников еще до весны обязывали расчищать снег перед домами, помогали им изредка и жильцы. Всё это являлось полумерами, а решение Ленгорисполкома 26 января 1942 года очистить город за пять(!) дней хорошо иллюстрирует уровень осведомленности тех, кто пережил блокаду, сидя в Смольном.

11 февраля была создана городская чрезвычайная противоэпидемическая комиссия, а вскоре обратились и за помощью к тем, кто не обязан был выполнять трудовую повинность. На первый «субботник», 8 марта, мало кто пришел. 15 марта людей работало значительно больше, но помогли этому отчасти и драконовские меры, стыдливо именуемые «улучшением организационной работы». 25 марта игра в «добровольные субботники» прекратилась. Не до приличий было — всё

требовалось сделать, как это часто случалось при любых кампаниях, в необычайной спешке, за 12 дней, не считаясь с жертвами. Очисткой обязаны были заниматься мужчины от 15 до 60 лет и женщины от 15 до 55 лет. Те, кто работал на остановленных предприятиях, должны были трудиться 8 часов в день, на действующих — не менее 2 часов в день. Дети и домохозяйки обязывались работать 6 часов в день. Выдавались особые книжки, отмечавшие время работы, уклоняющихся от нее задерживали патрули. Раздавались и угрозы лишить нарушителей карточек. Каждому предприятию или учреждению отводились для уборки, как правило, близлежащие территории, иногда даже соседние улицы.

Приводились разные цифры количества людей, очищавших город (официально с 27 марта по 4 апреля число их увеличилось с 143 тысяч до 318 тысяч человек), равно как и показатели их работы: было вывезено от 1 до 3 миллионов тонн мусора, снега и нечистот[38]. Точные данные, наверное, никогда не будут известны: едва ли при подсчетах прибегали к линейкам или весам. Те, кто был мобилизован, часто работать не могли из-за истощенности и болезней. Облегчить им труд было нечем. Работать приходилось вручную, уборочные трамваи применялись тогда редко. Мусор и нечистоты вывозили на санках, а если их не было, то в корытах, ваннах, тележках, на листах из кровельного железа или фанеры.

Март выдался очень холодным, и лишь в начале апреля наступила оттепель, пошли дожди и снег стал быстро таять. В марте снег и лед должны были дробить ломами, кирками, лопатами[39]. Не всем это было под силу, особенно если учесть, что подавляющая часть (инженер-кораблестроитель, блокадник В. Ф. Чекризов говорит даже о 95 процентах) трудившихся были женщины. На заводе им. Орджоникидзе упавших от голода людей, призванных расчищать трамвайные пути, пришлось отправлять назад, в ряде случаев и сама администрация находила разные предлоги, чтобы уберечь рабочих, необходимых для выполнения срочных и оплаченных щедрыми пайками заказов. Привлекались к уборке и во-

еннослужащие, а блокадникам довелось увидеть у сада Дворца пионеров и более сорока «жизнерадостных румяных девушек», которые трудились быстро и с «большой охотой», — ими оказались медсестры, присланные из Москвы[40].

«Все подбадривают друг друга и работают довольно дружно», — писал бухгалтер Ленинградского института легкой промышленности Н. П. Горшков о тех, на чьих лицах трудно было обнаружить румянец[41]. О нарочитой пристрастности этих строк, иллюстрирующих оптимизм, говорить нельзя — что еще оставалось делать тем, кто обмороженными руками пытался приподнять тяжелый лом. Все понимали, что город нужно освободить от грязи, что это надо было сделать быстро. Конечно, возможностью уклониться от работы не всегда пренебрегали, даже если могли еще держаться на ногах. Пыталась избежать такой участи и школьница Елена Мухина, ставшая «иждивенкой» после смерти от голода всех родных. В письме, отправленном позднее, она без прикрас рассказывает о том, что ей пришлось пережить в эти дни: «Силы в руках у меня никакой не было. Так что не только ломом копать лед, но и лопатой его подцеплять и кидать я не могла. Поэтому меня использовали в виде “лошади”. Откуда-то притащенную металлическую ванну другие люди засыпали снегом и льдом, и несколько человек (а также и я) впряглись в сбрую из веревок и тащили эту ванну к Фонтанке. Путь был долог и тяжел. Тащили из последних сил. Прямо сказать — надрывались. Напротив Драматического театра имени Горького... те, кто был посильнее, сбрасывал лед в Фонтанку. Обратно мы старались идти как можно медленнее, чтобы успеть отдохнуть. А приезжали во двор, ванну сразу же вновь нагружали, и мы — “лошади” — опять брели с возом к Фонтанке... Прекрасно помню, что когда наконец кончалась эта пытка, то я на свой 4-й этаж поднималась не по-человечески — на двух ногах — на это не было сил, а ползла на четвереньках»[42]. «Сколько людей убрала эта “уборка”» — так заканчивает она свой рассказ.

Впечатляющее описание того, как выглядели городские дворы во время весенней уборки, содержится в стенограмме сообщения секретаря Фрунзенского

РК ВКП(б) Александра Яковлевича Тихонова: «Столько нечистот и грязи, метра на три высоты. Первые этажи закрыты этой грязью. Стоять там было нельзя, от запаха тошнило. А люди работали по 8 часов, тюкали ломами, убирали. Это тогда, когда простоять полчаса было невозможно от вони. Чего только не находили в этих грудах нечистот! Находили детские трупы, находили трупы взрослых... В канализационных люках находили отдельные части человеческих трупов»[43].

Но и после «субботников» печать разрухи и «мерзости запустения» не стерлась с лица города. «Ленинград сейчас ужасен. Лужи, грязь, нестаявший лед, снег, скользко, грузовики едут по глубоким лужам, заливая всех и вся», — записывала в дневнике 10 апреля 1942 года Л. В. Шапорина[44]. Летом 1942 года даже каменные мостовые заросли травой. Высокий бурьян на улицах, фанера вместо оконных стекол — таким увидела Ленинград вернувшаяся из эвакуации в 1944 году В. Левина[45]. То, что удавалось восстановить, уничтожалось новыми, еще более варварскими бомбежками. Последствия голода 1941—1942 годов сказывались в поступках ставших дистрофиками людей и много месяцев спустя после страшной первой блокадной зимы — несмотря на повышение пайков, улучшение качества пищи, лечение наиболее ослабевших. После эпидемии смертей осени 1941-го — весны 1942 года, после массовой эвакуации весны—лета 1942 года стала очень заметной малолюдность города. Особенно это бросалось в глаза летом—осенью 1942 года: трамваи ходят полупустыми, и именно на трамвайных остановках чувствуется какое-то оживление, а на соседних улицах — тишина, никого не видно, и даже Невский «пустой, будто всех людей ветром с него сдуло»[46].

Ленинград с весны 1942 года стал «большим огородом». Хрестоматийными, вошедшими во все блокадные антологии стали капустные грядки на Исаакиевской площади. Был засеян овощами Большой проспект Васильевского острова. Огороды возникли на улицах, в парках, скверах, на пустырях, газонах. Особенно много их находилось в окраинном районе Ржевка-Пороховые: на улице Коммуны было оживленнее, чем на Невском

проспекте. Наиболее часто встречались посевы свеклы, капусты, салата, редиса. Все запасы картофеля были съедены во время голода, поэтому его не сажали — как заметила И. Д. Зеленская, «это роскошь, которую я видела только у Смольного»[47].

Посмотрим на картину «переходного» Ленинграда — от «смертного времени» к медленному, но еще малозаметному возрождению, запечатленную в записках военного хирурга А. Коровина: «На Невском было тихо и почти безлюдно. На бугристых, местами обледенелых и скользких панелях встречались армейские командиры в мятых фронтовых шинелях и валенках. ... Витрины магазинов, засыпанные песком и наглухо забитые досками, напоминали гробы... Возле Театра драмы имени Пушкина, испещренного выбоинами осколков, женщина в длиннополой шинели и кучерявой шапке-ушанке наклеивала на забор афишу ленинградской оперетты... Напротив Гостиного двора мы впервые увидели, как умирают на улицах ленинградцы. Навстречу нам шел человек. Он устало пошатывался и волочил салазки, на которых лежал завернутый в простыню покойник. Человек смотрел куда-то вперед, мимо нас, мимо домов... Вдруг он поскользнулся, странно взмахнул руками и сел на панель... Пульс не бился. Я вернулся к патрулю и сказал, что сейчас умер человек. Старшина, с заиндевевшими усами, спокойно выслушал меня, козырнул и пошел в комендатуру звонить по телефону. Вскоре мы нашли часовую мастерскую. За зеленоватым кусочком оконного стекла чадила коптилка, и по стеклу медленно сползали грязные капли оттаявшего льда. Мастер сидел за столом и, шевеля усами, жадно ел хлеб. Он осторожно выщипывал из горбушки куски теплого мякиша и обеими руками клал их в рот. Я молча высыпал перед ним сухари и вслед за ними положил на стол часы. Он быстро осмотрел их и сказал: “Подождите”. Через десять минут — я успел только выкурить папиросу — они были готовы.

Кашляя от копоти, мы снова вышли на Невский. Перед нами пышно клубился пар из дверей парикмахерской. Их оставалось немного в Ленинграде, но те, которые уцелели, работали с полной нагрузкой. Мы

поднялись по истоптанным скользким ступеням и вошли в зал, наполненный запахами одеколона, керосина и табака. Три лейтенанта в шинелях, с шапками, зажатыми между колен, сидели, согнувшись, перед запотевшими зеркалами. Их стригли под "бокс". Двое упитанных штатских дремали на стульях в ожидании очереди. Пожилой полковник в папахе, куря трубку, быстро ходил из угла в угол. Узкая дверь, наглухо занавешенная прокопченной портьерой, вела в женское отделение.

...За тяжелую сырую портьеру проникали нарядно одетые женщины, существование которых в тогдашнем Ленинграде казалось совершенно непостижимым. Выходя из-за таинственной двери, они ошеломляли командиров монументальностью "перманента" и маникюром.

На обратном пути мы шли мимо булочной. У входа в магазин толпились дети и женщины. Выходившие из дверей держали хлеб, как святыню, как драгоценность. Семейные несли его в сумках, одиночки — на вытянутых ладонях или прижимая к груди. Многие съедали свой паек у прилавка и выходили на улицу с пустыми руками. Перед забитой тесом витриной безмолвно совершались коммерческие сделки: хлеб меняли на сою, сою — на хлеб.

Старичок в золотых очках, откинув назад голову, стоял у приклеенной к стене "Ленинградской правды" и четким голосом читал вслух "Извещение от отдела торговли Исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся".

...Вокруг старичка собралась молчаливая толпа, с жадным вниманием слушавшая скудный перечень предстоящих выдач по карточкам.

В одном из переулков Петроградской стороны мы прошли мимо двухэтажного дома с вывеской "Бани". Над входной дверью, забитой полусгнившими досками, шелестел на ветру лист бумаги с надписью: "Закрыто из-за отсутствия воды и топлива". Рядом, на чугунных воротах старинного комфортабельного особняка, висел кусок фанеры. На нем было выведено крупными каллиграфическими буквами: "Детские ясли временно не работают"»[48].

Эти записи относятся к марту 1942 года. Но многое из увиденного тогда А. Коровиным можно было наблюдать и значительно позднее. Излишней риторикой были бы слова об отчаянии, уступившем место надежде, но что-то менялось — и к лучшему. В сентябре 1942 года побелили всё, о что мог спотыкаться прохожий, бредущий в темноте по разбомбленным улицам, — углы домов, нагромождения на панелях, фонари; отчасти это помогало и не заплутать на дороге. Некоторые улицы были раскопаны, чтобы починить водопроводные трубы. С зимы 1942 года город стал намного лучше расчищаться от снежных заносов. «Никогда не чистили от снега так тщательно улицы, как теперь», — отметил 19 декабря 1942 года в дневнике В. Ф. Чекризов[49]. Весной 1943 года началась покраска парадных дверей и витрин. Красили суриком и фанеру, закрывавшую вместо стекол окна, очищали и мусорные урны[50]. Несмотря на бомбежки, дыры на домах Невского проспекта почти сразу же замуровывались, а ямы асфальтировались[51].

Город медленно оживал. И главное, менялись люди на улицах. Летом 1942 года начали замечать нарядных женщин в шляпах. В декабре 1942 года И. Д. Зеленская стала свидетелем и совсем необычной сцены: «Стояла группа женщин, чистивших снег, рядом из громкоговорителя звучал веселый плясовой мотив. И одна из женщин ловко откалывала на русского, ловко и задорно, несмотря на неуклюжую, громоздкую обувь». Она пыталась внимательнее разглядеть ее. Нет, это не продавщица из булочной, обычное блокадное лицо, изможденное, немолодое, желтое — «но у нее была улыбка во весь рот и все вокруг нее улыбались, и метельщики, и встречные знакомые»[52].

Глава третья
Дома

Бомбежки, отсутствие воды, освещения, тысячи «лежачих» и умерших жильцов в «выморочных» квартирах наложили неизгладимый отпечаток на ленинградские дома, который не стерся и значительно позднее.

«Жизнь у нас ужасная, таких нет и никогда не было. Живем без воды, без света, без дров, почти голодные и каждый день обстрелы», — сообщала Н. Макарова в письме сестре 27 марта 1942 года[1]. «В комнате страшная грязь, невероятный холод» — читаем мы в другом блокадном документе.

Убирать комнаты многие не могли — из-за истощенности, из-за кромешной тьмы, вызванной отсутствием электричества, из-за нехватки воды. Бомбежки превращали дома в руины, горы известки покрывали пол и мебель. Канализация вышла из строя. Нечистотами были залиты и квартиры и лестницы — а сколько было тихо умиравших, не имевших сил заботиться о себе одиноких людей. Никто им не помогал, и они здесь же, у кроватей, готовили еду, но не могли ни вымыть посуду, ни дойти до уборных. Отопления не было и в комнатах, где обогревались печками-буржуйками, всюду лежали щепки, горки дровяной трухи. Стены от буржуек покрывались копотью, вода из лопнувших после бомбежек или морозов труб заливала полы, образуя корки льда. Коридоры коммунальных квартир, обычно заставленные шкафами, ящиками и бытовым мусором, превращались в «мебельные баррикады», а расчищать их было некому. «Замороженные» и «захламленные» — такими увидела блокадные квартиры даже в апреле 1943 года И. Д. Зеленская, не сумевшая сдержать своего крика: «Боже, в каких трущобах и в каких условиях живут люди!»[2]

Где-то (правда, чаще в 1942—1943 годах) видели и «чистенькие» комнаты — но в том случае, если их населяли живые люди. Комнаты и квартиры эвакуированных ленинградцев, вскрытые, ограбленные, разрушенные бомбежками, с мебелью, разломанной соседями для растопки печек, с выброшенной из шкафов одеждой и побитой посудой и покрытые нечистотами, тоже представляли собой скорбное зрелище. «Половина оконных стекол отсутствовала, в коридоре куполом нависали отставшие обои с толстым слоем копоти на них, в духовых плитах стояли ночные горшки... ночью ходили крысы», — вспоминала В. Левина[3]. Опасаясь грабежей, уезжавшие иногда оставляли часть имущества другим жильцам. У них же хранились и вещи, вынесен-

ные из «выморочных» квартир, из комнат, где оставляли «своих» покойников, из промерзших, обледеневших помещений — ни о каком порядке и речи не шло, всё сваливалось в одну кучу. Особенно страшными являлись описания «выморочных» квартир. В одной из них побывал 9 сентября 1942 года А. Н. Болдырев: «Комната умершего в дистрофии одинокого бухгалтера, опустошенная РАЙФО. Всё покрыто густо-густо буржуечной копотью и грязью. Разгром на полу, на разбитых, опрокинутых вещах мешанина из книг, посуды, рваной одежды, всякого скарба... Маленькое окно на три четверти забито фанерой, стекло почти не пропускает света»[4].

Далеко не лучше обстояло дело и в общежитиях, находившихся, казалось, под неусыпным контролем фабрично-заводской администрации. Здесь жили и ленинградцы, которым трудно было добираться до дома, и приехавшие ранее в город рабочие, не имевшие своего угла, и уволенные с работы. В «смертное время» за порядком здесь часто никто не следил — не до того было. Положение стало улучшаться, хотя и медленно, с весны 1942 года, и то нередко после понуканий партийных и профсоюзных комитетов (как это случилось на Кировском заводе), после рейдов, нелицеприятных докладов «наверх», после начавшейся кампании по очистке города.

Говоря о первой блокадной зиме, горожане чаще обращали внимание на самые яркие и потрясающие сцены, не рассказывая о прочих, более рутинных эпизодах. «Никому нет до них дела, жестокость и разобщенность чудовищные», — отметила побывавшая в общежитии в январе 1942 года И. Д. Зеленская. Особенно ее поразила умиравшая на столе женщина: «Не шевелясь, она лежала, пока я два раза уходила и приходила»[5]. Ей вторит Н. Нешитая, обитавшая в фабричном общежитии: «Воды нет, канализация не работает»[6]. Можно было бы счесть это и единичными откликами, но вот перед нами докладная записка РК комсомола о рейде по общежитиям Приморского района 8 января 1942 года: «Проверены главным образом общежития рабочих при предприятиях... Все(!) общежития (кроме двух. — *С. Я.*) находятся в антисанитарном состоянии, ни директора предприятий,

ни общественные организации внимания за последнее время общежитиям не уделяют»[7].

Страшное наследие первой блокадной зимы — невынесенные трупы из домов и квартир. Их не всегда могли убирать обессилевшие родственники или соседи. Мало было вынести тела на улицу. Нужно было довезти их до моргов и кладбищ, а помогать в этом деле соглашались только за хлеб. Расплачивались, как правило, пайком умершего, но требовалось время, чтобы скопить его. Часто не выдерживали и съедали этот хлеб. Им можно было подкормиться не один день — пока не заявляли о смерти владельца карточки. Да и это мало что меняло: самим похоронить не было сил, а управхозы не имели возможностей быстро убрать всех умерших — некому и не на чем было их везти. Тела хранили в квартирах и десять дней, и месяц, и даже три месяца. «Мертвый — он кормил живых», — вспоминала В. Г. Вотинцева[8], но не одно лишь это делало людей безразличными и невосприимчивыми к смерти горожан. Трупы лежали подолгу не только в жилых домах, но и на предприятиях и в учреждениях. В Публичной библиотеке одного из погибших не могли похоронить 12 дней, а тело другой сотрудницы находилось непогребенным около месяца[9].

Скоплению трупов в домах способствовали и сильные морозы декабря 1941 года, особенно января 1942-го. Часто трупы размещали в холодных, нетопленых помещениях, но это не предохраняло их от разложения — случались ведь и оттепели. Делали что могли: открывали форточки, выбирали для «моргов» дальние квартирные закоулки. Обычно трупы хранили, если это было возможно, в отдельных помещениях, а если умирало несколько человек, то их тела разносили по разным комнатам. Иногда трупы складывали в подвале — вероятно, в том случае, когда скрывать смерть не имело смысла или негде было их разместить. Бывало, и спали, и ели в той же комнате, где находился покойный. «...Десять дней как померла. Сначала-то лежала со мной на койке, жалко ведь, а ныне от нее стало холодно. Ну, на ночь я ее теперь приставляю к печке, все одно не топится, а днем опять кладу на койку», — рассказывал о смер-

ти матери подросток, которого никто не сменял в очереди[10].

Встречались покойники и на захламленных лестницах. В «смертное время» они стали похожими на помойки. «Ступени обледенели от пролитой и замерзшей воды, к перилам примерзали испражнения, которые кто-то выбрасывал на лестницу с верхних этажей», — вспоминала А. И. Воеводская[11]. Здесь также приходилось перешагивать через умерших — И. Ильин писал, как боялся споткнуться о труп, который «неделю лежал перед лестницей в нашей парадной»[12]. Часть мертвых тел подбрасывалась сюда из других парадных и домов. Некоторые из них тщательно закутывали в тряпье — «зная, что никому не захочется разворачивать труп, чтобы узнать, кто он и из какой квартиры»[13].

Неслучайно поэтому в домах расплодились крысы. Ели они всё, что имело растительное или животное происхождение, даже машинное масло и мыло. Людей они избегали, но не боялись. Один из блокадников рассказывал, как в детском саду мешок сухарей подвесили к потолку. Обнаружившие его крысы, не обращая внимания на детей, начали подпрыгивать, и им все же удалось порвать мешок. Обычно они питались мертвечиной, но могли нападать и на живых, обессиленных и неподвижных людей. Чаще всего отгрызали конечности, «объедали» лицо — среди блокадных документов можно найти свидетельство о женщине с «глазами, выеденными крысой»[14].

Крысоловками бороться с ними в 1941—1942 годах было бесполезно: их выпускали мало, а о лакомой наживке и речи не шло. Кошек не было, их съели в «смертное время» и лишь позднее начали завозить в город, чаще всего возвратившиеся из эвакуации; на рынке они стоили недешево. Рост в 1942 году заболеваний «желтухой», переносчиками которой и являлись крысы, вынудил искать более сильнодействующие средства[15]. Примененный тогда, в конце 1942 года, метод заражения грызунов крысиным тифом оказался намного эффективнее, чему помогли и меры по очистке города.

Об уборке домов говорилось в нескольких постановлениях городских и партийных органов, принятых

в конце 1941-го — первой половине 1942 года. Как правило, они всегда запаздывали, но ставить это в вину исключительно властям было бы несправедливо. Распад городского хозяйства в тех масштабах, в которых он выявился в «смертное время», предугадать, конечно, никто не мог. Признаки бытового хаоса, ярко проявившиеся в ноябре 1941 года, обусловили принятие 10 ноября Ленгорисполкомом решения «О содержании и уборке дворов и домов». Оно быстро устарело — о какой уборке могла идти речь, если даже не вывозили трупы. Другое постановление о наведении порядка в домах было принято в преддверии катастрофы 27—29 января 1942 года, когда люди умирали тысячами, поскольку остановились хлебозаводы и не работали булочные. Собственно, чисткой квартир серьезно занялись с февраля 1942 года — впереди была весна и потому боялись, что превратившиеся в морги сотни домов станут источниками чумы.

Надеяться, что обессиленные жильцы домов сами справятся со своими трудностями, было бесполезно. Надо было рассчитывать на других людей, более крепких, причем не только добровольцев, но и тех, кто получал за свою работу специальный паек. Похоронные бригады стали чаще совершать обходы домов, вынося умерших. С января 1942 года начали действовать комсомольские бытовые отряды, группы коммунистов и комсомольцев, одной из задач которых являлась уборка квартир. Их работа справедливо стала одним из символов стойкости блокадного Ленинграда. Они несли больных на своих не очень сильных плечах до госпиталей, доставляли в лютый мороз дрова, обжигая руки, несли кастрюли с горячей пищей по промерзшим, скользким, загаженным лестницам, ибо сами умиравшие растопить печь не могли. А каким испытанием являлось разгребание груд мусора, где всё можно было найти — от нечистот до обглоданной кости...

Заметим, однако, что побывать во всех домах бытовые отряды, конечно, не могли ввиду их малочисленности и ограниченности ресурсов. Разруха была бы еще более страшной, если бы люди не испытывали стыд за то, что живут в «скотских» условиях, что не могут убрать

кучи известки, сыпавшейся на пол после бомбежки, за то, что превратились в «кладовщиков». Говорить о том, что это чувство владело всеми горожанами в «смертное время», нельзя. Но, оттаивая от наростов блокадной зимы, «приходя в себя», блокадники налаживали и свой быт, конечно, еще не прежний, но более уютный и человечный.

Одной из главных причин изменения домашнего быта стало отсутствие света. Лимиты на пользование электричеством были установлены в середине сентября 1941 года. Запретили пользоваться электроприборами, но свет в квартирах пока не отключали. Своеобразной компенсацией стала выдача для освещения лампами 2,5 литра керосина. Предполагалось, что это будут делать каждый месяц, но такая выдача оказалась не только первой, но и последней до февраля 1942 года. Нехватку электричества особенно начали ощущать с конца сентября 1941 года. «Света часто не бывает», — записывает в дневнике 4 ноября 1941 года Евгения Васютина[16]. 23 ноября она же отмечает, что пользуется коптилкой, поскольку свет включается всего на 2 часа в сутки. С первой декады декабря в «форменный мрак» (по выражению И. Д. Зеленской) погрузились дома в большинстве районов города, тогда же перестали ходить трамваи и троллейбусы. «Свет есть отдельным включением на лестнице, в магазине, жакте с бомбоубежищем, а квартиры, видно, начисто отрешены», — отмечал 20 декабря А. Н. Болдырев[17]. По сравнению с сентябрем выработка электроэнергии в сутки в течение декабря сократилась в семь раз. Тогда же был четко обозначен перечень объектов, куда должно было подаваться электричество. Жилые дома, кроме домовых контор, из этого списка были исключены[18].

Катастрофа наступила в январе 1942 года. Скудные запасы топлива на электростанциях быстро таяли, брать сырье было неоткуда. Как вспоминал инженер кабельной сети Ленэнерго И. И. Ежов, в конце января 1942 года «было два дня, когда вообще всё было отключено... Полностью были отключены госпитали и больницы. Мы давали энергию только на хлебозаводы и водопровод, за исключением этих двух дней. Эти два дня станции рабо-

тали только на самих себя, чтобы не замерзнуть. Топлива совсем не было»[19]. Блокадники спасались лучинами, коптилками, керосиновыми лампами. Лучина представляла собой мелко расколотые части полена. Они укреплялись в поддонах, банках, кружках, под определенным углом так, чтобы уголь с обгоревших обломков попадал в емкость с водой. Приспособиться к этой громоздкой конструкции мог не каждый, и в одном из блокадных дневников его автор жаловался на то, что «записывая... обжег себе большой палец, так как лучину держал в левой руке»[20]. Обычно предпочитали пользоваться более простой коптилкой — банкой, в которую «наливалось всё, что могло гореть»[21]. Сейчас даже трудно понять, что служило здесь горючим материалом, — каждый пытался спастись как мог. А. И. Пантелеев использовал в коптилке «какое-то духовитое “средство для очистки деревянных полированных предметов”», А. Л. Афанасьева — некое «паровое масло» [22]. Наиболее «цивилизованными» считались керосиновые лампы. Рассказами о том, как искали горючее для них, заполнен не один блокадный дневник. Выдача керосина была строго лимитирована. На рынке его часто меняли на хлеб и другие продукты. Более регулярно горожане стали снабжаться керосином по карточкам с марта 1942 года. Нормы выдачи являлись ничтожными — обычно от 0,5 до одного литра в месяц. С января 1943 года тем семьям, в которых жили школьники, дополнительно выделяли до одного литра керосина.

И «керосинки», и лучины, и коптилки также во многом способствовали загрязнению комнат, которые часто не убирались месяцами. Они имели неприятный запах, пачкали руки и одежду, на стенах появлялась копоть, ее трудно было отскоблить, полы загрязнялись древесным углем.

Свет стали включать в домах в конце 1942 года — после того как начали стираться следы первой блокадной зимы, когда уехали из города сотни тысяч людей и удалось надежно обеспечить подвоз сырья по Ладожской трассе; отметим только, что запрет пользоваться электроприборами и тогда оставался в силе. По радио было объявлено о включении света с 15 декабря 1942

года. Освещением могли пользоваться вечером (с 19 часов до полуночи), ограничивалось потребление электричества в расчете на одну семью. Предполагалось дать свет в квартиры 2,5—3 тысяч домов (несколько сотен домов в каждом районе). Всё делалось в обычной спешке. «Кампанейщина» кончилась тем, чем и должна была кончиться: свет не включили ни 15-го, ни 17 декабря. Дальше молчать городским властям было неудобно, и нашли выход, тоже ставший обычным: председатель Ленгорисполкома П. С. Попков по радио сообщил, что свет будут давать постепенно.

Кому-то, правда, посчастливилось увидеть свет в своих домах и в декабре. Переход от тьмы к свету был отмечен блокадниками очень эмоционально, иногда даже ярче, чем очередное повышение норм пайка. «На лестнице, как всегда, чернильная темнота... — рассказывала И. Д. Зеленская о встрече с подругой 19 декабря 1942 года. — В квартире такая же тьма, как и на лестнице. Соседка ощупью провела меня к себе на кухню, где она живет. Тесно, грязно, завалено барахлом и всё это при свете коптилки выглядит бесконечно уныло. Я скоро собралась уходить. Вышла в тот же чернильный коридор и вижу какой-то свет. Пошла на него — в ванной комнате горит электричество! Я кричу ей об этом радостном открытии. Из соседней комнаты выскакивают какие-то девушки, прямо визжа от восторга, — свет, свет!»[23]

Большинство домов было освещено в середине января 1943 года. Светом могли пользоваться, помимо вечеров, и утром — с 6 до 8 часов. Это сказалось и на домашнем быте. Чаще стали убирать квартиры, могли читать книги (не думая поминутно о том, что сжигается драгоценный керосин), штопать одежду, писать письма. Для того чтобы преодолеть бытовую разруху, требовалось, однако, не только включить свет, но и дать воду. А сделать это в условиях блокады смогли не сразу. Перебои в подаче воды начались в декабре 1941 года. В начале января 1942 года вода была отключена в большинстве домов. Зимой 1941/42 года вышло из строя 6399 вводов (42 процента от общего числа), промерзло около 90 процентов внутридомовых водопроводных труб[24]. В некоторые дома вода подавалась и в январе, и в феврале,

но в ограниченном количестве, с участившимися перебоями и в основном на первые этажи. Топливная катастрофа в третьей декаде января привела к замораживанию почти всех водопроводных сетей. «Водопровод до весны и после этого так и не работал», — вспоминал И. И. Ежов; снабжение хлебозаводов водой осуществлялось пожарными командами[25].

Никаких четких инструкций о том, где и как добывать воду, власти в первой половине января 1942 года не давали, предпочитая отмалчиваться. «По улицам бродят люди с ведрами... ищут воды», — записывала в дневнике 6 января 1942 года Л. В. Шапорина[26]. Шли в подвалы, где находились прачечные, открывали краны для мытья улиц. Брали воду из колонок и открытых в январе 1942 года общественных водоразборов. Многие из них также замерзали, но те, которые работали, являлись немалым подспорьем для блокадников.

С конца января 1942 года хозяйственные службы начали вводить в строй, обычно во дворах, трубы с кранами. На Гороховой улице во льду удалось прорыть канаву на глубину 60 сантиметров — оттуда тоже брали воду. Многие колодцы на улицах возникали внезапно, в местах бомбежек водопроводов и там, где лопались от мороза трубы. Как правило, около них собирались очереди. Набирать здесь воду было трудно: расплескиваясь из ведер и бидонов, она образовывала целые ледяные горы, на которые изможденные горожане могли взобраться с немалыми усилиями. Набирая воду, часто стояли на коленях во льду, иначе ее было не достать. Бывали случаи, когда в эти колодцы, не умея удержаться на их скользких склонах, падали люди. Очевидцы вспоминают, как одну из женщин удалось вытащить из люка около Пассажа. Г. Т. Бабинская рассказывала и о другой женщине, упавшей в воду: «Ее вытащили мы и поставили на приступочку перед дверью школы... Вот так и оставили... Двигаться не могла. Дойти до дома она не могла и дотащить ее тоже никто не мог»[27].

Часто ходили за водой на Неву. Другие каналы и реки сначала обходили стороной, их считали грязными. Позднее стали пренебрегать и этим. Шли и на Фонтанку и даже на усеянный трупами Обводный канал, нередко

жалуясь, правда, на качество воды в них. Всё зависело от степени истощенности людей, от того, имелись ли поблизости колодцы и водоотводы. И на Неве образовывались горки у проруби, в которые падали люди, трудно было подниматься на набережные по сугробам и льдистым каменным ступеням, держаться за скользкие перила. Просверлить прорубь тоже было делом нелегким. Не все могли это сделать, а власти не всегда оказывались расторопными. «Безобразие, какая организация помощи населению! — изливал свои жалобы в дневнике 25 января 1942 года И. И. Жилинский. — Рядом пожарная команда без дела, а не могут сделать во льду дыры»[28]. Идти до проруби по реке порой приходилось далеко, там образовывались очереди.

Наиболее обессиленные горожане (хотя и не только они) собирали для питья снег рядом с домами, а также в парках — надеялись, что здесь он чище. Снег обычно имел грязноватый налет. Один из блокадников вспоминал, как ему удалось обнаружить на улице белоснежное пятно, но оказалось, что это был саван, в который завернули умершего. Бак собранного снега давал около литра грязной воды. Попытки добывать воду из пожарных прудов в скверах тоже не были удачными — она имела «отвратительный привкус»[29]. Тем же, кто из-за истощенности и болезней не мог выйти из комнаты и кому никто не помогал, приходилось обращаться за водой к соседям. Было и унизительно, и делились с ними далеко не щедро, а иногда отказывали в просьбах. Упрекать за это никого нельзя: люди в муках добывали воду, нередко умирали по дороге, попадали под бомбы. Просили к тому же не только воду, но и кипяток, а ведь дрова являлись драгоценностью. Попытки облегчить участь этих людей в первую блокадную зиму не всегда являлись успешными, но и не сказать о них нельзя. Политорганизатор дома М. Разина решила даже соорудить в доме некое подобие чайной: вместе с горячей водой здесь угощали кофе и какао. Вскоре всё прекратилось: запасы были исчерпаны, кофе стали выдавать только детям, какао — больным, а прочим — лишь кипяток. Ряд свидетельств об устройстве «клубов» в домах подверглись столь беззастенчивой лакировке, что их трудно признать досто-

верными. Среди них — рассказы о создании управхозами в домах парикмахерских(!), устройстве ванных комнат, «красных уголков» и уютных, теплых клубов-чайных, где имелся горячий кипяток и «всегда были свежие(!) газеты»[30]. Конечно, люди стремились сделать быт более «человеческим», но, как правило, все их благие начинания быстро угасали после ноября 1941 года.

Немалую помощь в доставке воды обессиленным горожанам оказали комсомольско-бытовые отряды, но их было мало, и, разумеется, побывать во всех квартирах они не могли. Город оживал медленно, и быстро решить эту проблему не удавалось. «...Прямо позор, до сих пор с кастрюлями на Неву ходим» — такие разговоры слышал писатель Виссарион Михайлович Саянов даже осенью 1942 года[31]. В начале июля 1942 года воду получали лишь 38 процентов городских домов[32]. Первой эффективной мерой явилось проведение на улицы и во дворы колонок и водопроводных труб с кранами, а также размораживание и открытие имевшихся водоотводов. Сначала их было немного и около них толпились очереди. Затем число их значительно увеличилось, воду чаще стали подавать и в дома. К 1943 году почти перестали носить воду из Невы и других рек и каналов. Стали лучше работать хозяйственные службы (приобретя определенный опыт), да и людей в городе стало меньше.

Нехватка воды привела и к выводу из строя в большинстве домов канализации. Положение осложнилось ввиду резкого сокращения вывоза нечистот. До войны ассенизаторы использовали 100 машин и 500—600 подвод, а в декабре 1941 года — пять машин и 44 подводы[33]. «Уборные в квартирах заколотили. Приходилось и нам в холодной комнате очищать свои желудки в бумажки, затем завязывать и утром на помойку», — отмечал один из блокадников[34]. Попытки как-то цивилизованно решить проблему оказались безуспешными в силу многих причин. Не получая ниоткуда даже недорого стоивших «житейских» советов, каждый по-своему решал, как ему поступать. «В уборную поставлено ведро, но там ведь холод, и к утру всё так замерзает, что когда выношу во двор, ни за что не выбить... Так и пришлось бросить

во дворе несколько посудин... Как-то папа пришел с работы и говорит:

— Оказывается, многие поступают так: подкладывают твердую бумагу и каждый свой пакет выносит...

А пакеты такие иногда не доносили до помойки, они валялись на улице. ...А вот с другим делом тоже надо было как-то устраиваться, тем более, что пили много и, кроме хлеба, вся пища была жидкая. Оставлять ведро на ночь в уборной нельзя было (...и ведер на это не было), и мы ставили под кровать таз для семейного употребления, а утром выносили его в ванную комнату и сливали прямо в ванну, где это быстро замерзало. К счастью, нашей большой ванны хватило на зиму, а когда всё растаяло, оттаял и оказался не засоренным слив, и все сошло, вычерпывать не пришлось», — вспоминала одна из блокадниц[35].

Иногда, чаще всего наиболее изможденные блокадники, бросали нечистоты на лестницах или выливали их во двор из окон (обычно форточек, поскольку другие оконные проемы забивались фанерой). «...Помню случай. Идет гражданка, несет полученный свой паек хлеба. А сверху одного дома выплеснули нечистоты ей на хлеб, на голову», — рассказывал секретарь Фрунзенского РК ВКП(б), заметив, что на некоторые стены домов смотреть было страшно: сосульки, стоки грязи и нечистот[36]. Дворы также были залиты нечистотами и загрязнены помоями. Те, кто выносил их, нередко остерегались идти до помоек, выбрасывая всё рядом с дверью парадной. «В большинстве дворов на снегу вылитые и выброшенные нечистоты. Почти под каждыми воротами уборные», — записывал в дневнике 25 февраля 1942 года В. Ф. Чекризов[37]. Использовались и ливневые стоки во дворах, но нечистот было столь много, что их «наплывы» видели даже на улицах. Нечистоты выбрасывали в реки и каналы, и их запах чувствовали даже при сильных морозах.

Этот порядок, если его так можно назвать, установился не сразу. В «смертное время» было не до приличий — сколько раз видели людей, отправлявших естественные потребности прямо на улице, на виду у всех. Примеру тех, кто был крайне истощен, иногда, однако,

следовали и менее изможденные горожане, поскольку некого было стесняться. «Привычки зимы долго сохранялись и вкоренились в сознание людей. Многие женщины сохранили эту вредную привычку выносить нечистоты не на помойки, а просто на двор или выливать прямо в окно, или, что было ужасно, в лифты», — отмечала Ю. П. Маругина[38].

Канализацию в значительной мере удалось восстановить во второй половине 1942 года, а дворы очистить еще весной. Примечательно, что, когда обнаруживали воду в уборных, иногда бежали за ведрами и тазами: не все могли стоять в очередях у колонок. Разруха являлась следствием многих причин, все сферы городского хозяйства были связаны сотнями нитей, и, конечно, ничто не могло измениться в одночасье. Но оттаивал город, менялись и люди с их привычками и настроениями.

Эта взаимосвязь быта и поведения людей отчетливо видна, когда рассказывали о том, как защищались от холода. «...Многие живут ужасно, у кого в квартире минус 4, у кого минус 6 градусов. Догорели последние свечи, истрачена последняя лампа керосина. Электричества нет, стекла выбиты, воды нет, спят, не раздеваясь, в шубах, накрывшись поверх шуб одеялами, встают ощупью, не моются», — передавал Д. Н. Лазарев рассказы людей, встречавшихся в декабре 1941 года в столовой Дома ученых[39]. К 1 сентября 1941 года на складах города имелись запасы каменного угля на 75—80 дней, их использовали в домах с центральным отоплением. Для домов с печным отоплением, как отмечал секретарь Фрунзенского РК ВКП(б) А. Я. Тихонов, сырья не отпускалось, надеялись, вероятно, что их жильцы придумают что-нибудь сами, тем более что многие из них запаслись дровами еще летом. 17 ноября 1941 года запретили подавать в квартиры теплую воду для мытья. Теплоэнергия должна была использоваться лишь для того, чтобы дома не вышли из строя. По нормам ноября[40] температура в жилых помещениях должна была составлять +12 градусов, в учреждениях +10, на предприятиях +8 градусов. В силу многих причин эти нормы не соблюдались и именно дома с центральным

отоплением оказались самыми промерзшими во время первой блокадной зимы: навык изготовления печей и работы с ними жильцы приобрели не сразу. Холод особенно остро почувствовали в домах со второй половины ноября 1941 года «...Снял с себя только верхнее, накрылся двумя одеялами, шинелью и тулупом и до шести утра не мог согреться», — записывал в дневнике 2 декабря 1941 года Ф. М. Никитин[41].

Особенно холодно было в домах в январе 1942 года — от −2 градусов до +6—7 градусов. Приходя в гости, обычно не раздевались. Писали, не снимая перчаток. Спали под несколькими одеялами, в пальто, брюках, носках и даже в валенках и шапках. Т. Александрова, пытаясь спасти новорожденного, оборачивала его в вату, обкладывала грелками[42]. Каждый, пытаясь спасти от холода себя и своих близких, должен был использовать все доступные ему средства, порой в немыслимых их сочетаниях. «Сплю, правда, не в валенках, но не в постели, а под ней — накладываю на себя матрас», — отмечала в дневнике 4 ноября 1941 года Е. Васютина[43]. Холод переносили трудно еще и потому, что люди были предельно истощены (у некоторых не обнаруживали даже маленьких прослоек жира на теле), и иногда даже не очень сильный мороз приводил к обморожению и опуханиям. Заметим также, что почти везде в квартирах были выбиты стекла в окнах, а фанера служила плохой защитой от морозов.

Отапливать несколько комнат не могли, перебирались в самую теплую из них. Чаще всего ютились на кухне, некоторые даже переселялись туда жить. Как правило, использовали печь-времянку, так называемую буржуйку. Она быстро нагревала комнаты, но столь же быстро уходило тепло из них, едва печь переставали топить. Схема ее была простой: от изготовленной из железа небольшой печки выводили в окно (в основном в форточку) «колено» для дымоотвода. Поскольку печек не хватало, часть их делали сами жильцы, кто как мог, исходя из имевшихся навыков и наличия материалов. Старались придерживаться общих инструкций, но в самоделках редко удавалось залатать все щели. Дым проникал в комнату, нанося вред глазам жильцов и делая их

лица еще более почерневшими; стены и мебель также были прокопчены.

Печками-времянками разрешили пользоваться с конца ноября 1941 года. Выпускалось их мало. Во многих случаях могли рассчитывать только на себя. Искали слесарей, расплачивались хлебом, где-то доставали листы железа — в лютый мороз не было времени дожидаться, когда печами снабдят всех нуждающихся: в декабре 1941 года предполагалось изготовить 10 тысяч печек, но неясно, сумели ли это исполнить. В некоторых публикациях утверждалось, что именно такое количество буржуек и получили горожане в декабре, но не исключено, что их авторы приняли должное за свершившееся. В декабре жизнь фабрик и заводов замерла, рабочие были крайне изможденны, сырья не имелось. К 1 февраля 1942 года в Ленинграде насчитывалось 135 тысяч буржуек — вряд ли удалось бы изготовить их на государственных предприятиях за несколько недель. Осенью 1942 года в центре города работала даже выставка бытовых экспонатов, где могли познакомиться с инструкциями о том, как самим изготавливать печки из кирпичей с железным верхом, разумеется, из простых и дешевых материалов. Эти наставления считались необходимыми. Печи, изготовленные блокадниками в 1942 году, часто не имели кирпичного дна, стояли на полу, стульях, столах, даже на газовых плитах: пользование газом было прекращено после начала войны. Были и такие буржуйки, которые привязывали к потолкам. Трудно сказать, оглядывались ли «умельцы» на инструкции, но там, где речь шла о жизни, ими легко можно было пренебречь. Платить за это приходилось порой весьма дорого: такие печи нередко приводили к пожарам.

Особенно много пожаров возникло в начале 1942 года — как ни парадоксально, но именно в это время город бомбили реже, чем раньше. Причины пожаров были ясны всем: неисправность печей, нехватка воды, беспомощность изможденных и голодных жильцов, малочисленность пожарных команд.

Имело значение и отсутствие телефонов. Еще 13 сентября 1941 года Военный совет Ленинградского фронта решил немедленно отключить телефоны в квартирах,

столовых, магазинах и театрах. Была прекращена работа и уличных автоматов. Вместо этого намеревались создать в каждом из районов четыре-пять переговорных пунктов с телефоном-автоматом. Поскольку с устройством этих пунктов не спешили, уличные телефоны сняли не сразу. Во второй половине сентября рядом с ними выстраивались длинные очереди. О деятельности переговорных пунктов в «смертное время» никаких свидетельств обнаружить не удалось. Отчасти спасло то, что был составлен особый список абонентов, с которыми поддерживалась телефонная связь. Среди них находились секретари партийных комитетов и государственные служащие, директора предприятий и учреждений, начальники военизированных и спасательных подразделений. Список постоянно обновлялся и пополнялся, и телефонами могли пользоваться не только абоненты, но и их родные, близкие, друзья, знакомые. Художница Л. В. Шапорина, например, пользовалась телефоном в будке дежурного на мосту, она же ходила звонить по телефону в кинотеатр «Спартак». Телефонную связь в домах начали включать в апреле 1943 года, но и позднее она была доступна далеко не всем.

Но даже в тех случаях, когда могли своевременно сообщить о пожаре, предугадать его последствия на рубеже 1941—1942 годов не составляло труда. При скудости спасательных средств бороться с возгораниями было бесполезно. Кое-где пытались «покрасить стропила какой-то белой гадостью, якобы защищавшей дерево от горения»[44], но эти опыты не имели большого успеха. Более эффективными были бы очистка домов от легковоспламеняющегося хлама и организация дежурств, но кто бы этим всерьез стал заниматься в «смертное время». «Я побежала по лестнице всех собирать, просить помощи, — рассказывала М. П. Багрова о пожаре, случившемся в ее доме 20 января 1942 года. — Воды ни у кого не было. Придут, посмотрят и обратно, никто ничего сделать не могут. Стали часов в 6 звонить пожарным, а те приехали только к 12-ти. Наша половина дома с первого по четвертый этаж вся выгорела»[45].

Участь погорельцев была не менее горькой, чем жителей разбомбленных домов. Жилье в других местах для

них подыскивали не сразу. Приходилось стоять на лютом морозе у остатков выброшенного из квартиры скарба, без еды, без воды, без теплой одежды, опасаясь отойти от своих вещей и лишиться их из-за грабителей. Не все были способны это выдержать — ведь среди пострадавших имелись лежачие больные, немощные старики, дети, дистрофики. Некоторые поэтому старались оставаться в горевших домах до тех пор, пока было возможно, надеясь, что беда обойдет их стороной, что огонь вовремя потушат и удастся вновь наладить *привычную* жизнь. «Загорелось наше общежитие... Пожар начался в подъезде, выходящем во двор, и медленно распространялся по всему дому. Запахло гарью. Затушить не могли, так как не было воды. Горело несколько дней. Утром я уходил на работу — горело, приходил с работы — продолжало гореть... На улице мороз был сильный, и мы решили оставаться в комнате до последней возможности. Наступила ночь. Мы собрались у буржуйки, продолжая ее топить. Ведь если не топить, то моментально становилось холодно. Время от времени выходили на улицу оценить обстановку. Вышел и я. Ситуация складывалась такая. Горели над нами шестой и пятый этажи. До четвертого этажа пожар еще не дошел. Из нашего окна на третьем этаже тоже валил густой дым из трубы, которая шла от буржуйки и была выставлена в окно. Мы все-таки решили пока не покидать комнату. Через некоторое время с потолка полилась вода. Это, наверное, пожарные смогли протянуть шланг от Невки. Теперь на нас кроме огня обрушилось еще и испытание водой. Вода постепенно стала заливать комнату и поднялась сантиметров на десять. Мы придвинули кровати поближе к буржуйке, взгромоздились на них с ногами и продолжали топить», — вспоминал В. П. Петров[46].

Более эффективно стали бороться с пожарами в апреле—декабре 1942 года. Деревянные дома в городе к этому времени были в основном снесены и разобраны на дрова. Удалось пополнить пожарные команды и увеличить число машин. Имело значение и проведение рейдов по проверке безопасности домов и квартир — управдомы теперь не могли уверенно, как прежде, ссылаться на хозяйственный хаос. Почти все пожары уда-

лось потушить «в начальной стадии», и в 1943 году их число уменьшилось по сравнению с 1942 годом на 63 процента[47]. Вероятно, кое-где в отчетах 1943 года приведены факты более «оптимистичные», чем это имело место в действительности, — так, вызывают удивление сведения о том, что убытки от пожаров сократились на 98 процентов. Но то, что количество пожаров резко уменьшилось именно в 1943 году, согласуется и с показаниями очевидцев — как это часто и случалось в блокадном быте, сдвиги в одной из его сфер обусловливали и изменение других его сторон.

Печи-буржуйки, установленные в квартирах, требовали много дров. Помимо их использовали всё, что было сделано из дерева. Е. Я. Моргунова сожгла в печке комод и стулья, А. Н. Болдырев — рамы для картин[48]. Топка мебелью стало обыкновением во время первой блокадной зимы, причем пользовались не только своей, но и мебелью соседей. Но и ею не ограничивались. Сжигали книги, макулатуру (чаще всего в учреждениях), собранный хворост. Потерявшая родителей девочка топила печку даже перьями из перины — ни притащить бревно, ни распилить его, видимо, не имелось сил[49]. Пользы от этого было немного, но тот, кто испытывал озноб каждый день, хватался за всё, что могло обогреть.

Отметим, что, и собрав дрова, не сразу могли растопить буржуйку, — исчезли из продажи спички. Их нехватку почувствовали и в первую блокадную зиму, но сильнее всего летом и осенью 1942 года. Норма выдачи тогда составляла один коробок в месяц; но и его получали с перебоями. «На улицах беспрестанное прикуривание друг у друга», — писал А. Н. Болдырев в середине июля 1942 года, а спустя несколько недель он же отмечал: «Получено дивное кресло, искры летят снопом»[50]. Высекание огня можно счесть хотя и не главной, но самой символичной приметой «пещерного» быта ленинградцев.

Для того чтобы добыть дрова, шли на всё. Не стеснялись и воровать. Обычно дрова складывали у парадных, во дворах, подвалах, в сараях. В декабре 1941-го — марте 1942 года многие стали хранить их в квартирах, а во время переноски дров даже остерегались надолго

оставлять их без присмотра. Были случаи, когда дрова, выкинутые из домов во время пожара, немедленно расхищались другими жильцами. Чаще всего взламывали сараи, причем вместе с их содержимым иногда выносили стены и двери. Чужие дрова «таскали» обычно ночью, но и это не всегда спасало похитителей от побоев. «Из сторожки мужик вылез, догнал ее и как двинул ей этой доской по голове» — такой была расправа над десятилетней девочкой, пытавшейся вместе с сестрой унести под покровом темноты доску из сарая[51].

Чаще всего зимой 1941/42 года ломали на дрова заборы. Происходило это стихийно, и задержать всех нарушителей не имелось сил. «Никакой милицией остановить это было невозможно, и бесполезно было вмешиваться. Тогда мы от всего этого отступились, пусть ломают», — вспоминал А. Я. Тихонов[52]. Пытались запастись топливом и на развалинах разбомбленных домов, у которых порой приходилось ставить сторожа. Собирали щепки, балки, остатки деревянных строений иногда и во время обстрела, причем такие сцены наблюдались не только в декабре 1941 года, но и в мае 1942-го и даже позднее. «Все улицы замусорены, и немедленно, как муравьи, сбежались охотники за дровами. Копаются не только на улице, но на обрушенную крышу лезут, с опасностью для жизни добывая каждую щепку», — записывала в дневнике 1 мая 1943 года И. Д. Зеленская[53].

Документами на выдачу дров служили ордера. Доставались они не всем, и нередко требовалось убедить тех, кто их распределял, в своем праве на получение дров в первую очередь. Обычно всегда шли навстречу обессиленным, слегшим блокадникам, к тому же имевшим детей. Дрова развозили по их квартирам бойцы санитарно-бытовых отрядов. Администрация предприятий опекала, как могла, и рабочих, из-за болезни и истощенности не выходивших из дома. Особое внимание уделялось семьям военнослужащих, которые воевали или погибли на фронте. Уклониться от помощи им для «ответственных работников» было труднее всего — за этим следили в «верхах». В 1943—1944 годах профсоюзами было снабжено дровами 39 005 солдатских се-

мей[54] — скажем прямо, это немного, но и без такой помощи им выжить было бы трудно.

Единовременные выдачи дров остронуждающимся даже по личным запискам руководителей райсоветов являлись скудными — от ¼ до 2 кубометров. «Давали небольшое полено. Я в него гвоздь вобью, веревку привяжу и тащу за собой. Вот так от Московских ворот до Сенной площади и тащила», — вспоминала К. Е. Говорова[55]. Даже получение ордера не всегда гарантировало приобретение дров. Работники склада могли и прямо отказать, сославшись на их отсутствие. К тому же не все хотели брать «дрянные» дрова — ждали, когда привезут «хорошие».

Главным и, пожалуй, единственным способом урегулировать «топливный кризис» стали снос и разборка деревянных домов. Попытки организовать заготовку дров в лесах Парголовского и Всеволожского районов в октябре 1941 года успеха не имели. К 24 октября 1941 года, когда начался отопительный сезон, удалось выполнить план заготовок на один(!) процент[56]. Это была кампания в ее самом классическом и утрированном виде. Среди призванных оказались подростки, еле ходившие работники учреждений, которых обычно всегда предпочитали привлекать на какие-либо работы, не считая их труд столь уж необходимым в городе. Инструментом многих из них не снабдили, жить было негде, необходимую им одежду они также не получили. И главное, не на чем было вывозить заготовленные дрова. Позднее предпринимались не всегда безуспешные попытки упорядочить работу таких команд. Новые партии трудмобилизованных (около двух тысяч девушек) смогли лучше обустроить свой быт, хотя и это им далось с немалым трудом.

Оставался единственный выход — ломать дома в городе. Этим и спаслись. Впервые дома начали разбирать в декабре 1941 года. В феврале 1942 года было принято решение о сносе стадиона имени В. И. Ленина на Петроградской стороне. Массовой эта кампания стала летом—осенью 1942 года, во время подготовки ко второй блокадной зиме. Разобрали на топливо более девяти тысяч домов на юге Ленинграда, в Новой Деревне, на Ох-

те, Петроградской стороне и Ржевке. Снос домов продолжился и в 1943 году, но масштабы его являлись более чем скромными. Разборкой занимались тысячи людей, причем ездили «целыми предприятиями»[57]. Многие из них не имели необходимых навыков, падали, разбирая крыши домов, получали травмы из-за неосторожности при работе с пилами, оказывались погребенными под балками. Обычно считается, что разбирали разрушенные, обветшалые и нежилые помещения, но это не так. Сносу подлежали и вполне добротные дома, причем их жильцы не хотели уезжать, и требовалось немало усилий, чтобы переселить их в центральные районы. Многие из них обзавелись огородами, мелкой живностью (козами, курами), и им жалко было бросать нажитое: «Упорно не выезжают... имея ордера на руках, и доживают до того, что над головами начинают ломать крышу»[58]. Разборку дома, в которой принимал участие В. Ф. Чекризов, также пришлось приостановить: «Во втором этаже еще живут люди... Не могут выехать, сидят на узлах и чемоданах»[59].

Глава четвертая
Магазины

В начале войны в Ленинграде наряду с государственными магазинами продолжали работать и коммерческие, ассортимент которых был богатым, а цены — более высокими. В сентябре 1941 года в связи с резким сокращением подвоза продовольствия в город продовольственные коммерческие магазины были закрыты. Из государственных магазинов «некарточные» продукты исчезли не сразу, но довольно быстро. «В изобилии только кофе и цикорий», — отмечала 25 сентября 1941 года Е. Васютина, подчеркнув, что были закрыты даже магазины «Соки»[1]. Осенью еще изредка удавалось купить в отдельных магазинах «приличные» ненормированные продукты, но за ними выстраивались огромные очереди. Не каждый мог стоять в ней несколько часов на холоде. Зимой 1941/42 года магазины не вмещали всех, кто пришел «отоварить карточки». В основном ма-

газины торговали только «пайковыми» продуктами, но и они доставались не всем. Чтобы упорядочить их выдачу, горожан стали прикреплять к определенным булочным и магазинам, обычно вблизи места проживания, поскольку общественный транспорт не работал. Лучше не стало. Десятки блокадных дневников заполнены жалобами на то, что не удается до конца декады выкупить продукты в «своих» пустых магазинах, в то время как в соседних можно было, часто даже без очередей, получить то, что полагалось по карточке. Покупатели пытались и обмануть, предъявляя неотоваренные карточки в «чужих» магазинах, в надежде, что продавцы не заметят подлога. Это, правда, удавалось далеко не всем. Приходилось стоять у магазинов, к которым были прикреплены, и ждать, когда привезут продукты, которых, конечно, не могло хватить на всех. «Прикреплено к магазину 4000 человек, а привезли с базы 150 кг», — писала Л. В. Шапорина, оценивая свои шансы «отоварить» здесь талоны[2]. Никто не отходил от пустых прилавков даже тогда, когда заведующие магазинами или продавцы объявляли, что продуктов в ближайшее время не привезут. Вероятно, считали, что если десятки человек ждут у магазинов, то это происходило не случайно, что им известно нечто большее, что уговоры продавцов являются лишь уловкой, — и потому тоже пристраивались к очереди.

Без очередей часто удавалось купить только хлеб в булочных — за исключением января 1942 года, когда трижды (в начале, середине и особенно в конце месяца) была в силу разных причин временно приостановлена его выдача.

Намного более трудно было «отоварить» нехлебные талоны — на мясо, масло, крупу, сахар, жиры. Сколь бы мизерными ни являлись их порции, получить их можно было только после многочасового стояния у магазинов. Очереди стали массовыми в ноябре 1941 года. 2 декабря 1941 года ученик 6-го класса В. Николаев записывает в дневнике: «Утром вставши, поевши, отправились все вместе доставать пиво для отца. За ноябрь месяц полагалось получить на наши карточки 6 кружек пива. Да еще тети Маши и бабушкины 6,5 кружек. На Васильев-

ском о-ве нигде не было пива, только на Андреевском рынке работал ларек (был сильный мороз) и большущая очередь около него (человек 75). Встать в очередь, это значит простоять до вечера, да еще могло не хватить (была одна бочка пива), тогда отец попробовал без очереди получить, да где там, бабьё как накинулось на него, и ничего не вышло. Отец и командировочную показывал и так и сяк, никак не получилось. Пошли на Петроградскую сторону. Там тоже ларьки не работают. Нашли кое-как на Б. Зелениной ларек, который торговал. Очередь человек сто с лишним. Отец к ларьку, не тут-то было: не пускают. Отец целый час стоял, просил, умолял. Наконец разозлился, стал рвать карточки, тогда народ смилостивился и пропустили»[3].

Гигантские «хвосты» видели в конце декабря 1941 года, когда продавали масло, — и позднее именно во время его выдачи происходила страшная давка, некоторые люди были даже искалечены. «Появляются продукты в немногих магазинах, большинство же пусты», — писала о зиме 1941/42 года сотрудница Всесоюзного института растениеводства (ВИР) З. В. Янушевич, о том же говорил учитель А. И. Винокуров, отметивший в дневниковой записи 20 января 1942 года: «Трудно понять, для какой цели ежедневно открываются продовольственные магазины. Продавцам совершенно нечего делать»[4].

Очереди удалось уменьшить только в феврале 1942 года, когда заметно улучшилось снабжение города. Интенсивная работа ладожской трассы и эвакуация тысяч людей в январе—феврале хотя и не сразу, но дали ощутимые плоды. На западном берегу озера и вблизи города были созданы многочисленные склады продовольствия, что и позволило наладить в основном бесперебойное снабжение блокадников «пайковыми» товарами. «Уничтожены очереди в магазинах, — сообщал в дневнике 27 февраля 1942 года В. Ф. Чекризов. — Объявляют выдачу какого-либо продукта, на другой день его выдают. Он есть в магазине. На третий день его получают без всякой очереди»[5]. Примечательно, что очереди, возникшие у булочных 1 марта 1942 года, не были обусловлены нехваткой хлеба: ожидали, что с начала меся-

ца будут повышены нормы и потому хлеб накануне не выкупали.

Особенно длинными очереди бывали после объявления по радио о предстоящих дополнительных выдачах продуктов — не было уверенности, что их хватит на всех. Когда в начале февраля 1942 года разрешили получить не выданные в январе карточные сахар и жиры, то это вызвало необычайный ажиотаж: «В магазинах с утра столпотворение, всюду очереди, так как все голодные и не хотят ждать, когда будет свободнее, а многие боятся, что пропадут продукты, так как может истечь срок выдачи по январским карточкам»[6].

Булочные обычно открывались в 6 часов утра, пустующие магазины могли начать работать и с 8 часов. Все они должны были закрываться в 9 часов вечера, до наступления «комендантского часа», но, если случались перебои в выдаче хлеба, могли обслуживать посетителей и ночью. В магазинах часто было темно из-за светомаскировки, электрических ламп не имелось, керосин берегли, предпочитая пользоваться коптилками, лучинами и свечами, — да и их иногда тушили, если на прилавках было пусто. «Заведующий магазином как-то сказал, что кто принесет горючее, получит хлеб без очереди», — запишет в дневнике 30 января 1942 года И. И. Жилинский; его жене пришлось нести «взятку»[7]. Помещения, как правило, не отапливались, и даже если очередь умещалась в них, это не избавляло посетителей от холода. И все-таки предпочтительнее было находиться в магазине, чем несколько часов стоять на морозе за дверью. «У меня так замерзли ноги, что я шла домой и ревела», — читаем в дневнике школьницы Е. Мухиной. «Негромкое постукивание обуви на переступающих от холода замерзших ногах голодных людей, от чего вся очередь колыхалась», пришлось услышать и увидеть М. П. Пелевину[8].

Выстраивалась очередь у магазинов еще задолго до их открытия. Несмотря на комендантский час и введение осадного положения, в ноябре—декабре 1941 года, очередь часто занимали с ночи. Особенно очереди удлинились в конце декабря 1941 года, когда ждали «новогодних» выдач. Одна из блокадниц «с 25-го с 10 ча-

сов вечера стояла всю ночь и весь день 26/XII и вечером ушла ни с чем со слезами» — отметим, что морозы тогда достигали 22—24 градусов. Другой блокадник, Х. Эзоп, в конце декабря стоял у магазина за вином с 8 часов утра до 6 часов вечера[9].

Зимой 1941/42 года очередь занимали с 4—5 часов утра, причем З. В. Янушевич заметила, что люди «прячутся до 5 часов в подворотне»[10], вероятно опасаясь быть задержанными милицией. В «смертное время», однако, патрули смотрели на ночные и утренние очереди весьма снисходительно, недаром в них пришлось побывать тысячам блокадников. Не исключено, что, закрывая глаза на нарушение порядка, власти боялись голодных бунтов и погромов, которые стихийно могли вспыхнуть, если перед стоявшими часами горожанами без всяких стеснений захлопывали дверь магазина. Показательно, что в конце января 1942 года во время «хлебного кризиса» «по закрывающимся булочным разъезжал на легковой машине человек, называющий себя членом Ленсовета Мартыновым, и открывал булочные, обнадеживая людей»[11].

Выстоять до конца в километровых очередях был способен не всякий. Родные сменяли друг друга через несколько часов в зависимости от погоды, состояния человека и количества членов его семьи. Труднее всего было одиноким. Обычно в самих магазинах блокадники разделялись на несколько групп — одна стояла у кассы, вторая — у прилавков кондитерского отдела, третья — рядом с мясным отделом. Поскольку имевшиеся в магазинах продукты могли исчезнуть с прилавков очень быстро, важно было находиться рядом с кем-то, кто успел бы занять место к наиболее «перспективному» на тот момент отделу. Имея возможность «подмениться», люди перебегали в магазине из одной очереди в другую, вызывая раздражение прочих посетителей.

В первой половине сентября магазины прекращали работу при любом объявлении тревоги. Но «тревог» было столь много, что на установленный порядок быстро перестали обращать внимание. «С сегодняшнего дня торговля и автодвижение во время тревоги не прекращаются», — сообщала 19 сентября 1941 года Е. Васюти-

на[12]. Во время обстрелов магазины и булочные должны были закрываться, но блокадники старались не расходиться, чтобы не потерять место в очереди. «Ни угрозы, ни уговоры милиции не действуют», — отмечал 25 ноября 1941 года актер Ф. А. Грязнов[13]. После публикации в «Ленинградской правде» 28 ноября 1941 года передовой статьи, содержавшей резкие обвинения против нарушителей порядка, как сообщал В. Ф. Чекризов, 1 декабря «милиция начала свирепствовать, штрафовать народ и передавать в административную комиссию. Делают это "кампанейски"... Сегодня милиция ослабила пыл и опять стоят очереди во время обстрела... Даже когда снаряды ложатся очень близко, очередь не расходится, только при каждом разрыве жмутся к стенкам и прячут головы в плечи»[14].

Чтобы хоть как-то соблюсти справедливость и не допустить «чужаков» к прилавкам, в очередях стали распространять номерки. Получив их, многие уходили греться домой, а вернувшись, обнаруживали, что другой «активист» (власти в это дело не вмешивались) успевал раздать новые номерки. Начинались ссоры и взаимные обвинения. Любые попытки втереться в толпу вызывали быстрый отпор. Приходилось нередко унижаться и умолять, а если это не помогало, то шли напролом, не считаясь ни с чем. М. С. Смирнову «извозили всю за волосы», когда она пыталась занять место мужа в очереди[15]. Пристойнее всех вели себя интеллигенты, чем и пользовались другие, — оттирали их от прилавков, выталкивали из очередей, а заняв нужное место, молчали, отворачиваясь, когда кто-то протестовал. «Пролетариат озверел», — не без брезгливости заметит Л. В. Шапорина, но уместнее было сказать, что к «пролетариям» она относила всех, кто пренебрегал моральными правилами.

В очередях, стоявших за дверями магазинов, вели себя более спокойно, но у прилавков порой видели и безобразные сцены. В «смертное время», когда приходилось много часов без всякой надежды стоять на лютом морозе, пробиться к прилавкам было невозможно без ругани, давки, в которой ломали руки, и даже без драк. Позднее, когда очереди значительно уменьши-

лись и «пайковых» продуктов стало хватать на всех, к нарушителям порядка стали относится более терпимо, но и тогда без ссор опередить других не удавалось никому. «Почти каждый из появляющихся в магазине мужчин пытается пролезть к прилавку без очереди. Мужчины не могут объяснить, откуда у них это чувство внутренней правоты при внешней явной неправомерности поступка. Но они твердо знают: очередь — это бабье дело. Может быть, им представляется смутно, что справедливость их притязаний основана на том, что их в очереди так мало. Они, впрочем, не мотивируют; они либо хамят, либо произносят классическую фразу: "Спешу на работу". — "А мы не спешим на работу?! ...Все теперь спешат на работу", — сердится женщина с портфелем. Мужчина воровато прячет уже полученный хлеб. Сказать ему нечего; но про себя он знает: пусть она в самом деле работает столько же, сколько и он, больше, чем он, но отношение к времени, к ценности, употреблению и распределению времени у них разное. И его отношение дает право получать хлеб без очереди. Продавщица, как лицо незаинтересованное, это понимает — обычно она поощряет претензии мужчин», — вспоминала литературовед и эссеист Лидия Яковлевна Гинзбург[16].

Зримый след давки и потасовок в магазинах — выбитые стекла, сломанные кассы, разбитые и сдвинутые прилавки[17]. Случались и более серьезные инциденты: погромы в булочных и магазинах. Начинались они обычно, когда заведующие объявляли, что товаров больше не завезут, и пытались закрыть двери. Особенно эмоционально блокадники реагировали на это в конце месячной декады, когда истекал срок действия нехлебных талонов и опасались, что они «пропадут». Люди врывались в подсобные помещения, искали продукты под прилавками, хватали с полок оставшиеся буханки. Заведующие магазинами пытались успокоить толпу, обещали, что продукты выдадут завтра, вместе с «выборным» от очереди шли к складам и на хлебозаводы. Но и это порой не помогало — приходилось вызывать вооруженную охрану и рабочие патрули.

Возмущение толпы не всегда выливалось в погромы, но оголодавшие горожане часто отказывались подчи-

няться установленным в магазине порядкам. Отчасти и поэтому остерегались впускать в помещение слишком много людей, которым трудно было противостоять, если бы возник конфликт. Иногда это только подливало масло в огонь, на что и обратил внимание Д. Н. Лазарев, ставший невольным свидетелем одного из «бунтов»: «Впускают в магазин по 10 человек. При очередном впуске ворвались и хлынули в магазин все, кто стоял близко к дверям. Подоспели два милиционера, которые долго и безуспешно сдерживали толпу и, наконец, прибегли к обману. Пообещав, что впуск в магазин начнется, как только толпа несколько отступит, они заперли дверь и объявили, что магазин закрыт и народ может расходиться... Поднялись возмущение, причитание, плач: одни не ели... двое суток, у других дома голодные дети, умирающие родственники. Несколько мужчин, вместе со мной, направились к заведующему булочной в качестве парламентеров. Договорились, что беремся установить в очереди образцовый порядок, а магазин отпустит хлеб еще 70 человекам»[18].

Разумеется, не все магазины являлись местом склок, брани и потасовок. Совершенно обессилевшим «очередникам» помогали подняться, в крайних случаях брались «отоварить» их талоны. Не на всех упавших и умирающих у магазинов и булочных (а их было много) оглядывались, но и пройти мимо не всегда могли. «Повезло... женщине, упавшей передо мной. У одной стоявшей в очереди женщины нашелся маленький кусочек (корочка), и она отдала ее умирающей», — вспоминала Т. Г. Иванова. О таких историях рассказывали и другие блокадники[19]. И когда люди плакали, упрашивая продавцов выдать им хлеба на день вперед, то, по словам М. П. Пелевина, очередь не прерывала их с нетерпением, «молчала и только чаще притаптывала ногами то ли от холода, то ли от... желания поскорее выкупить свой хлеб»[20].

В очередях чаще всего говорили о еде. «Зимние дистрофические очереди были жутко молчаливы», — вспоминала Лидия Гинзбург. «Расковывание» людей происходило не сразу, но позднее стало особенно заметным. Как обычно, говорили о том, сколь сытно питались в

прошлом, как готовились к праздникам, — в рассказах «очередников» пиршественный стол отличался чрезмерным обилием блюд. Логику таких бесед обнаружить нетрудно: «Передавались противоречивые мнения врачей, следует ли растягивать сахарный или жировой паек на декаду или съедать его в один-два дня. Рекомендовалось долго прожевывать маленькие кусочки хлеба, чтобы полностью использовать все его питательные свойства...»[21]

В разговор о еде, как правило, втягивались все, от домохозяек до интеллигентов. Он перебивался описаниями своей горестной жизни — никто не мог терпеть, каждому хотелось выговориться: «Когда эта очередь ведет разговор о еде, в нем содержится всё: эмоциональная разрядка в попреках и сетованиях, и познавательное обобщение в рассуждениях о наилучших способах добывания, приготовления, распределения пищи, и рассказывание "интересных историй", и всяческое самоутверждение. Тут и заявление своего превосходства над другими всё в той же области добывания, приготовления, распределения пищи, и в том же плане просто рассказ о себе, о своей личности, со всем, что к ней относится и ее касается, — психологические наблюдения, фактические подробности, вплоть до простейших констатаций:

— А у нас в столовой появились щи без выреза, только очень худые...

— Ну что ж, что тюлька. Я их пропущу через машинку с маслицем. Муж придет, покушает. Все-таки приятно.

Прямое утверждение своих достижений. А *маслице покушает* — ласкательные формы в применении к самому насущному.

— А как вы ее варите?

— Щи варю. Как всякую зелень. Можно подумать, что вы не знаете...

Это грубость на всякий случай, профилактическая. Что, если вопрос задала белоручка, считающая, что она выше этого... тем самым выше отвечающей на вопрос.

— Лично я стала оживать, как только появилась зелень.

— Мы тоже с самого начала варили лебеду, крапиву.

— Нет, я крапиву употребляла исключительно сырую, совершенно другое самочувствие.

Староинтеллигентские обороты (лично я, исключительно, самочувствие), наложенные на содержание, общее для всех в очереди стоящих. Прямой разговор о себе и разговор о еде — для интеллигентов с них снят запрет. Все же тема слегка замаскирована имеющим общий интерес самонаблюдением или поучением собеседника.

— Мы опять там прикрепились. И знаете, так хорошо дают. Сестра вчера принесла две порции супу, так буквально полбанки у нее риса.

Факты общего значения, а в качестве личной, подводной темы — демонстрация достижений»[22].

Стойкий интерес проявляла очередь к тому, как повысятся нормы пайков в ближайшие недели и удастся ли «отоварить» талоны до конца декады. «Иногда можно было услышать лучшую новость — завтра будут что-то давать, крупу например»[23]. И, разумеется, не могли удержаться от рассказов о своих бедах. «Группа женщин считает своих покойников», — заметила стоявшая в очереди Э. Г. Левина 16 января 1942 года[24]. «Счет» этот, скорбный и мучительный, замерзшим, умершим от голода, слегшим от болезней и бессилия, был нескончаем в «смертное время» — общая беда сближала всех: «В очереди узнал, что на Московской у старушки умерли с голоду 2 сына в один день (26 и 28 лет). Полное истощение, хотя один из сыновей имел рабочую карточку... Впереди меня дама — жена почтового служащего, говорила, что муж слег в кровать, что она старается, чем может, его питать, но нет средств и нет натуры, и в то же время самой хочется есть»[25].

Неудивительно, что в очереди так часто вели разговоры о несправедливостях, блате, воровстве, жульничестве. «В очереди у магазина № 7 Кировского района (ул. Калинина) говорили, что общественность еще мало уделяет внимание контролю в магазине» — это сообщение, вероятно, несколько смягченное и оформленное канцелярским языком, было даже передано первому секретарю Ленинградского горкома и обкома А. А. Жданову. Замечались в толпе и антисоветские вы-

пады. Малочисленность их не должна обманывать — люди боялись, что будут «взяты на заметку» и могут подвергнуться репрессиям. Такие опасения не являлись беспочвенными — секретарь парторганизации собеса Приморского района был, например, хорошо осведомлен о поведении одного из служащих, говорившего в очереди: «Зато нас кормят хорошо бумагой. Мы похожи на лошадей, привязанных к столбу: есть не дают и лошади грызут столб. Так и мы — есть не дают, а газеты нам читают»[26].

Обман, обвесы, мошенничество с «талонами», грубость были приметами многих магазинов. Пользуясь плохой освещенностью и замечая наиболее истощенных людей в полуобморочном состоянии, продавцы вырывали из карточек больше, чем полагалось, талонов. Чаще всего это происходило, если одному человеку приходилось получать хлеб сразу по нескольким карточкам — за всеми манипуляциями работников булочных он уследить не мог. «Нередко какая-нибудь женщина целый час стоит в очереди и, передав продавцу карточки, узнает, что продовольствие по ней... получено. Обычно в таких случаях начинается плач или поднимается крепкая ругань, сопровождаемая взаимными оскорблениями»[27].

Придя домой, полученный хлеб иногда взвешивали на «своих» весах и нередко обнаруживали весьма существенные недостачи. Так, одного из блокадников в середине января 1942 года (пик эпидемии голодных смертей) обвесили в первый раз на 102 грамма, его жену — на 133 грамма, а затем его обманули еще раз на 129 граммов. Здесь считали на граммы, а при обыске у одного из директоров магазинов счет шел на килограммы — у него обнаружили 175 килограммов сливочного масла, 105 килограммов муки, и это несмотря на сотни контролеров, которые проверяли торговые учреждения[28]. «Продавцы мерзнут и следят друг за другом во все глаза, если получают для выдачи наши крохи» — кажется, что в этой дневниковой записи говорится о каких-то хищниках, а не о тех, кому доверены судьбы людей.

Не менее частым нарушением являлось снабжение с черного хода родных, близких, друзей и соседей про-

давцов, а то и просто «полезных» и «нужных» людей. «У заведующей магазином все время уходит на снабжение знакомых через задний ход. Всё 25-е отделение милиции через задний ход получает свой паек вне очереди... 30/XII в магазине были все милиционеры, дежурящие пьяны», — скрупулезно заносит в дневник 2 января 1942 года И. И. Жилинский[29]. Это и не скрывали, да и никого нельзя было обмануть — всё происходило на виду у очереди, раздраженной, нервной, ругающейся. Яркую «картинку с натуры», показывающую, что творилось в подсобных помещениях магазинов, можно обнаружить в дневнике Е. Васютиной: «Соседка мне предложила взять у них в магазине не водку, а хорошее вино... пришла, у них в конторе топится обломками ящиков печурка. Я уселась возле дверцы... и принялась прямо из бутылок пробовать вино — какое лучше, то, что соседка взяла по талончику мне, или то, которое получила для себя»[30].

Стоявшие в очереди люди возмущались «безобразиями», но немногие удержались бы от соблазна оказаться на месте тех, кому «повезло». Особой корысти именно здесь у продавцов не было, взятки, если верить очевидцам, они не вымогали. Чтобы их «смягчить», требовалась определенная доля смекалки и пресловутого «обаяния». Так, А. Н. Болдырев, получивший 12 декабря 1941 года «по блату без всякого стояния» декадную порцию лапши (800 г) на всю семью, спустя год признавался: «Извлек из магазина целое кило (вместо 200 гр) чудной детской овсянки, не без влияния прекрасных глаз»[31].

В блокадном Ленинграде работали (правда, с большими перерывами) и промтоварные магазины. «В промтоварных магазинах все есть», — писал Г. А. Рудин жене и дочери 8 октября 1941 года[32]. Гостиный Двор сгорел во время бомбежки и его долго не восстанавливали, отчасти, может, и потому, что скудный ассортимент промышленных товаров вполне мог уместиться и на меньших площадях. «Его ниши заколочены. Правое крыло здания выглядит черным обгорелым скелетом. Потолки провалились», — сообщал Н. Д. Синцов в письме родным, отправленном 27 сентября 1942 года[33]. Помещения других крупных универсальных магазинов чаще

использовались для выдачи продовольственных продуктов. Но Выборгский универмаг работал. Г. К. Зимницкая вспоминала, как, к изумлению продавцов, в октябре 1941 года они с матерью здесь «купили себе по купальнику». А. И. Воеводской удалось даже в феврале 1942 года приобрести в промтоварном магазине для мальчика «сандалики на лето»[34]. Продавались в промтоварных магазинах и канцелярские принадлежности. Цены на них (карандаш — 10 копеек, тетради для школьников — 15 копеек) казались грошовыми, если их сравнивали с рыночной стоимостью буханки хлеба — 300—400 рублей. Удивительно, что в декабре 1941 года в Ленинграде работал и зоомагазин[35].

Весной 1942 года военный совет Ленинградского фронта решил сократить, ввиду эвакуации сотен тысяч людей, сеть магазинов. Главным промтоварным магазином стал Дом ленинградской торговли (ДЛТ) — осенью 1942 года здесь можно было купить и детские сандалии, и шерстяные джемперы. Много людей видели у прилавков Дома книги, крупнейшего магазина на Невском проспекте. Работали тогда и букинистические магазины, которые редко бывали пустыми. Даже в январе 1942 года в книжном киоске университета имелась «букинистическая литература и подчас довольно интересная»[36]. Букинистические магазины посещали не только библиоманы, но и бедствовавшие блокадники, для которых продажа книги являлась порой единственной возможностью подкормиться. В букинистической лавке на Невском проспекте, как отмечалось в июле 1942 года, «прямо жуткий наплыв продающих»[37]. Немало людей видели и в скупочных магазинах, открывшихся в городе в 1942 году. Здесь принимались драгоценности, дорогие украшения, пушнина, одежда, технические приборы и вообще всё, что могло найти спрос. Возможно, тем самым хотели и помочь людям, которых беззастенчиво обирали спекулянты, но моральная изнанка этой «коммерции», при всех оговорках, выглядела все же сомнительной. Получалось, что власти, обязанные кормить горожан, обирали их так же, как и спекулянты, покупая нередко за бесценок остатки того небольшого «добра», которое еще ос-

тавалось у блокадников после страшной зимы. Слово «бесценок» здесь самое точное — за ботинки давали мизерные 20 рублей, а на деньги, полученные от продажи коллекции саксонского фарфора, можно было купить литр подсолнечного масла[38].

Глава пятая
Столовые

«Попробуйте не иметь несколько дней карточку в столовую. В прошлом году в это время я испытал, что это значит. Не пожелаю никому», — записал в дневнике 19 декабря 1942 года В. Ф. Чекризов[1]. О том, как столовые помогали выжить в «смертное время», говорили и другие блокадники: «Спасение сейчас в столовых, которых много и которые более или менее снабжаются»[2]. Именно для того чтобы пообедать в них, многие рабочие приходили на предприятия, а тех, кто не имел сил, везли туда родные. Для того, чтобы приготовить или разогреть дома обед и ужин, требовались дрова, которые многие или не имели вовсе, или тщательно оберегали, тратя их очень экономно. Приобрести же простые продукты в магазинах удавалось (и то не всегда) лишь после многочасового стояния в очередях.

Л. В. Шапорина сделала даже расклад «карточных» талонов, желая выяснить, где выгоднее питаться — дома или «на работе». По норме с 1 по 10 декабря 1941 года ей полагалось 300 граммов крупы, 400 граммов мяса, 50 граммов конфет и 4 кружки пива. В столовой за суп («кислые щи приличные») отрывали из карточки талон на 25 граммов крупы и 5 граммов масла. За второе блюдо («котлета (очень маленькая) с небольшим количеством соевой фасоли рубленной») брали талоны на 50 граммов мяса и 25 граммов крупы. Конечно, добавляет она, в столовых что-то и крадут, но там «всё готово», в то время как в магазинах «нет ни крупы, ни мяса»[3].

Этот расклад, конечно, нередко менялся и в лучшую, и в худшую стороны, но выбирать не приходилось. В середине июня 1942 года в столовых питались 850 тысяч человек, из них около 406 тысяч состояли на полном

снабжении[4]. Это было меньше показателей мая 1942 года (соответственно 951,3 тысячи и 152 тысячи человек), но сокращение числа «столующихся», вероятнее всего, было вызвано как массовой эвакуацией, так и сохранявшимся вплоть до конца весны 1942 года высоким уровнем смертности населения. Поставленную А. А. Ждановым цель — «охватить» котловым питанием к 15 июня 1942 года полмиллиона человек — достичь не удалось: не хватало помещений, оборудования, рабочих рук. Как правило, основная часть столовых находилась на предприятиях и в учреждениях. Общедоступных для всех слоев населения питательных пунктов было мало[5]. Многие городские кафе и столовые были закрыты из-за бомбежек, нехватки воды, света и топлива. Н. Д. Синцов в конце сентября 1942 года отмечал «пустые окна и заколоченные двери» некогда популярного в Ленинграде кафе «Норд»[6].

После снижения «карточных» норм в сентябре 1941 года горожан начали прикреплять к определенным столовым — иначе трудно было бы уменьшить очереди и определить, сколько в день требуется приготовить блюд. Ассортимент столовых с предельной полнотой отразил все колебания продовольственных норм в городе. В сентябре—октябре 1941 года часть продуктов еще можно было купить в столовых без карточек, но число их стремительно уменьшалось. Какие-то «льготы», пока имелась возможность, предоставлялись «столующимся» на предприятиях и в учреждениях. В институте, где работал инженер В. Г. Кулябко, чай с сахаром могли приобрести свободно и в начале октября 1941 года: «Взял еще стакан чая, попросил положить 4 ложки сахара, хоть это и неприятно»[7]. Супы и сладкий чай можно было получить без карточек в октябре—ноябре в столовой Дома ученых. «Мой сосед слева рассказывает, что он пропустил за день 8 тарелок супа и 6 стаканов сладкого чая. Ведь в каждом стакане две чайных ложки! Это почти 100 граммов сахара в день», — вспоминал Д. Н. Лазарев[8]. Во Всесоюзном институте растениеводства (ВИР) отрывать талон за суп (25 граммов крупы) начали только с 11 ноября 1941 года. В столовой же университета еще в конце сентября 1941 года «стало

голодновато»[9]. Характерная примета «столовой» пищи в середине осени 1941 года — супы и «вторые» блюда из чечевицы. Но на второе блюдо еще выдавали макароны с сыром, колбасу, мясо — хотя и в небольших количествах.

Число посетителей столовых уменьшилось в январе 1942 года. Мясные блюда почти перестали давать в первой половине месяца. Котлеты иногда делались из дуранды* либо из соленых кишок. «Пахнут треской», — заметила, попробовав их, Л. В. Шапорина[10]. В начале третьей декады января питание несколько улучшилось (давали даже колбасу), но во время катастрофы 27—29 января 1942 года многие столовые из-за отсутствия воды, топлива и света были закрыты, а из блюд здесь имелся чаще всего только суп.

Питание в столовых начало улучшаться с февраля 1942 года. Особенно это стало заметно в апреле—мае: супы и каши стали намного более густыми, чай — слаще, выдавали и дополнительные продукты. Так продолжалось до июня 1942 года. Затем, вероятно, из-за сокращения перевозок по Ладоге, картина вновь изменилась: «Питание резко ухудшилось, нет масла, сахара, суп времен марта или даже февраля»[11]. О том же писала 13 июня 1942 года и И. Д. Зеленская: «Питание, после относительного благополучия апреля и мая, резко ухудшилось. У нас сократили бескарточные обеды, которые так поддерживали. Исчезло соевое молоко, качество супов и каш начинает возвращаться к зимнему уровню»[12]. С лета 1942 года, после массовой эвакуации горожан, столовые стали работать лучше и обычно снабжались так же, как и магазины, — скудно, но без перебоев.

Оголодавшие блокадники, съедая свои мизерные порции, которые, конечно, никак не могли их насытить, нередко надеялись на «добавку». И не только надеялись, но и просили, умоляли, готовы были даже оскорблять. В столовой, где работала И. Д. Зеленская, «каждый вечер... выстраивается очередь за остатками». Увидев за прилавком ведро с котлетами, стали упрашивать ее: «Связанная декадной нормой, я не могла продавать котлеты в счет

---

*Дуранда (жмых) — остатки семян масличных растений после выжимания из них масла.

третьей декады, в то время, как голодные люди их видели, тянулись к ним, требовали их. Появились страшно голодные лица. Больной Орлов, притащившийся из дому через силу, неузнаваемый от худобы и запекшихся на лице болячек. Софронов, весь желтый, отекший, которого только подобрали на улице. Оба они съели по три тарелки супа и по котлете и неотступно стояли у окошка, прося еще и еще»[13].

И плакали люди, прося лишнюю тарелку супа, и облизывали чужие тарелки, никого не стесняясь. Читать такие свидетельства особенно тяжело: «Жуткие картины были. Стоят перед тобой умирающие люди, просят дать дополнительный обед»[14].

Для того чтобы спасти людей (часто «полезных», но иногда и всех, кто особенно нуждался), на предприятиях, в учреждениях и творческих союзах были созданы «привилегированные» столовые. Уровень питания в них зависел, конечно, в первую очередь от снабжения города в целом, но имели значение связи и ловкость заведующих, и не в последнюю очередь — как на хлебозаводах и хлебопекарнях, мясокомбинатах и спиртозаводах, — их ресурсы. Дополнительное питание получали, как правило, предприятия и учреждения, которые работали «на оборону». В прочих случаях изыскивали «внутренние резервы» и, скажем прямо, иногда за счет «менее ценных» работников. Директорские столовые не очень сильно отличались от обычных, но все-таки кормили здесь лучше. «В нашей столовой еще бывают для "избранных" блюда без карточек: омлеты из яичного порошка, кисели и супы», — отмечал в дневнике 4 ноября 1941 года преподаватель Военно-транспортной академии РККА А. Л. Пунин[15]. Инженер Г. М. Кок прямо писал, что в страшные январские дни 1942 года «спасение пришло с завода: организовали столовую для начальников цехов, откуда и стал ежедневно таскать... до 3—4 оладьей, да 2 супа». Прикрепленный к «закрытой» столовой главный инженер завода № 10 М. М. Краков до декабря 1941 года получал несколько блюд без карточек[16].

Эти самочинные привилегированные столовые были доступны не всем, а попасть сюда мечтал каждый. Приходилось устраивать, как деликатно отмечалось в

то время, и «неприятные чистки»[17]. Определять, кто имеет право на лишнюю тарелку супа и какой будет эта тарелка, предстояло начальству. Установленные келейно критерии отбора часто и небезосновательно казались сомнительными: пропускали сюда не только ценных работников, но и своих близких и знакомых. Не являлось секретом и то, что директорские столовые в значительной мере существовали за счет тех запасов, которые должны были делить между всеми голодающими в это трудное время.

Улучшенное питание можно было получить до декабря 1941 года и после весны 1942 года в столовых Дома Красной армии, Союза советских писателей и Дома ученых. И в ноябре 1941 года в Доме Красной армии продавались котлеты, тушеная капуста и «приличный суп», а в Доме ученых даже в конце января 1942 года выдавали «хороший обед с гусем». В дневнике А. Н. Болдырева, являющемся скорее инвентарной книгой меню десятков городских столовых, — а побывать ему удалось почти в каждой из них, — мы находим такое описание «бескарточного» обеда в писательской столовой 5 июля 1942 года: «Овсяный суп, заправленный укропчиком и сливочным маслом, густой, большая тарелка. 320 гр отличной гречневой каши с маслом же, 20 гр глюкозы». Это не единственная запись. «Очень крепкий и с жирком суп из хряпы и лапши... Котлетки с большим количеством гарнизонной гороховой каши, чашечка компоту... 3 “крокетных” конфеты да ко всему соемлека (соевого молока. — *С.Я.*) сколько влезет» — таким был обед в столовой Союза писателей 31 октября 1941 года [18].

В эти столовые также стремились попасть многие, независимо от их научных и иных заслуг, и точно так же здесь периодически проводились «чистки» посетителей. Никто не хотел оказаться тут крайним — А. Н. Болдырев отмечал, например, «дух дистрофии и крепчайшего блата при дележке писательского пирога». В воспоминаниях Д. С. Лихачева есть рассказ о тех, кто приходил в академическую столовую, но получал отказ: один из научных переводчиков, не состоявший ранее на службе в академии, вынужден был здесь облизывать чужие тарелки, а другой посетитель был изгнан

из столовой, поскольку не имел ученой степени, хотя и являлся автором десятков научных трудов[19].

Особо следует сказать о столовых для «ответственных» партийно-советских работников. Те из них, которые обслуживали райсполкомы и райкомы партии, не очень сильно отличались от прочих столовых, особенно на оборонных предприятиях, а иногда (правда, редко) и уступали им. «Мы были в несколько более привилегированном положении», — отмечал первый секретарь Ленинского РК ВКП(б) А. М. Григорьев[20], и проявленная им сдержанность не являлась лишь средством маскировки — имеются и другие свидетельства. Вероятно, первые секретари райкомов партии (но не райкомов комсомола) и могли иметь какие-то особые продуктовые наборы в виде сухих пайков и единовременных выдач. 17 декабря 1941 года Ленгорисполком разрешил выдавать ужин вне «карточных» норм секретарям райкомов ВКП(б) и райисполкомов, председателям РИК и их заместителям[21]. Позднее перечень льгот для них увеличился, но служащие аппарата точно не роскошествовали: каждому выдавалась тарелка супа «по чину». Рассказывая в 1950 году о некоем «подхалиме, угоднике», который во время блокады «создавал действительно лучшие условия руководству райкома», парторг ЦК ВКП(б) на заводе «Красный треугольник» Аввакумова сочла нужным отметить: «Инструкторы и аппарат РК питались плохо, голодали»[22].

В райкомовских столовых более щедрой (хотя и не очень широкой) рукой выдавались дополнительно «второстепенные», как тогда выражались, продукты — разумеется, речь не шла о хлебе, имелись в виду блюда из овощей, приправы. Обильнее, по блокадным меркам, являлось питание в Смольном. «Смольнинские» обеды еще во время войны стали обрастать слухами, эффективно бороться с которыми можно было, лишь предельно засекретив данные о работе обкомовской столовой. Столовых даже было несколько: «генеральская», для среднего командного состава, «красноармейская», для охраны, телефонистов, служащих ПВО[23]. Случайных людей туда старались не допускать — не раз они с обидой и даже со слезами рассказывали, как скупо их там

накормили или не угостили вовсе[24]. Возможно, сыграли здесь роль и представления о Смольном как о «полной чаше» — люди склонны многое оправдывать поговоркой из словаря В. Даля: «Кто у власти, тот и у сласти». Лукулловых, поражающих своей роскошью обедов и банкетов здесь, конечно, почти не было, но и голодавших блокадников с дистрофическими лицами там не видели. В столовой Смольного осенью 1941-го — зимой 1942 года выдавали мясные блюда с отрывом «карточных» талонов лишь на 50 процентов, а блюда из крупы и макарон получали свободно, без предъявления карточек[25]. Такие же льготы, по официальным отчетам, имели и фабрично-заводские столовые, правда, в отличие от них, у смольнинской столовой не складывали штабеля из трупов погибших от истощения рабочих.

В дневниковой записи, сделанной А. Н. Болдыревым 10 февраля 1942 года, говорилось о «коммерческой чайной» на Разъезжей улице. Стакан чаю с сахаром здесь можно было получить без талонов, но стоил он недешево — 1 рубль 50 копеек, то есть почти столько же, сколько буханка хлеба в государственных магазинах[26]. Соблазн создать в торговых пустынях коммерческие магазины, отчетливо проявившийся и до войны (торгсиновские лавки) и после ее окончания, не исчез, как видим, и во время блокады. Экономический смысл всего этого разгадать было нетрудно. Не говоря уже о моральных издержках такой «коммерции», это начинание являлось бесперспективным и потому, что спасти тысячи людей чайными, конечно, не могли. Свидетельство А. Н. Болдырева было единственным, для других это событие прошло незамеченным.

Более удачным и, скажем прямо, гуманным оказался опыт создания специальных столовых. Первые из них — столовые усиленного (лечебного) питания — было решено открыть в конце апреля 1942 года. Они пришли на смену стационарам, которые в январе—апреле 1942 года тоже являлись в значительной мере столовыми «повышенного» питания, превращенными в своеобразные пансионаты. В отличие от стационаров, питание здесь являлось более сытным и качественным — отчасти этому способствовало и уменьшение

числа жителей вследствие массовой смертности и массовой эвакуации в предыдущие месяцы. Кормили тут по блокадным меркам неплохо — мяса и сахара, например, их посетители получали по 100 граммов в день, в то время как обычная декадная «карточная» норма составляла 300—400 граммов. Выдавали и экзотические по тем временам продукты — масло, сухофрукты. Вот описание «типового» меню одной из заводских столовых лечебного питания 14 мая 1942 года: «Завтрак: сырники 2 шт., масла 20 гр, кофе 2 ст., хлеб 150 гр. Обед: суп гороховый с суш[еными] овощами (хороший суп довоенного качества), котлета с кашей, стакан компота, стакан соевого молока, хлеб 200 грамм. Ужин: каша гречневая 300 грамм, кофе 2 стак[ана], хлеб 150 гр.»[27].

В отличие от стационаров, здесь в большей степени учитывались не только опыт, квалификация и «ценность» превратившихся в дистрофиков работников, но и их истощенность, необходимость поддержать их в первую очередь. В числе их посетителей преобладали горожане, у которых обнаруживались II и III степень истощенности. Но даже и среди тех, кто бывал в столовых усиленного питания в мае—июле 1942 года, 69 процентов являлись рабочими, 18,5 процента — служащими, 12,5 процента — иждивенцами[28]. Пропорции эти весьма заметно отражали общие тенденции, характерные для «карточного» снабжения ленинградцев. В ноябре—декабре 1941 года, как отмечал уполномоченный ГКО Д. В. Павлов, «две трети горожан питалось по наиболее голодным нормам»[29]; нетрудно заметить, что они и в этот раз оказались в числе тех, кто в значительной мере не был допущен к «кормушке». «Иждивенцы в настоящее время лишены этой возможности, каково бы ни было состояние их здоровья — не хватает мест», — записала в дневнике 4 июня 1942 года М. С. Коноплева, присмотревшись к посетителям столовой усиленного питания № 100 Московского района[30]. Срок прикрепления к этим столовым обычно ограничивался двумя-тремя неделями. За это время, согласно официальной статистике, вес «столующихся» увеличивался от 1,2 килограмма до 7 килограммов; заметим, правда, что в «смертное время» потери в весе были куда более значительными.

Всех ленинградцев такие столовые, конечно, обслужить не могли, особенно после закрытия ледовой трассы. Лечебное питание к августу 1942 года получили тут только 9 процентов населения города — это были именно столовые «закрытого типа», как их нередко именовали и тогда, и позднее. Всего было открыто 153 столовых усиленного питания (из них 89 на предприятиях и в учреждениях) и, как часто случалось, без должной подготовки и предварительных расчетов. Очереди и, как следствие, обсчеты посетителей наблюдались и здесь. Примечательно, что в докладной записке отдела торговли горкома ВКП(б), направленной А. А. Жданову 25 июля 1942 года, рассказ о недочетах в работе столовых заметно преобладает над описаниями положительных примеров их деятельности: «...в последнее время стал бросаться в глаза факт, что контингент столующихся ныне в столовых лечебного питания резко отличается по состоянию здоровья от того контингента, который питался в этих столовых в апреле—мае с. г. Явно истощенных граждан питается очень мало (до 10—15% к количеству столующихся)... Кроме того, выявлено, что значительная часть столующихся питается по 2—3 раза; в столовой № 10 Смольнинского района из 660 чел., прикрепленных питаться, по 2-му разу — 501 чел., по 3-му — 73 чел.; в столовой № 16 Дзержинского района из 345 чел. по 2-му и 3-му разу питается более 120 человек. В этой столовой большинство медперсонала 390-й поликлиники питается в течение нескольких смен... Имеют место также факты, что в столовые лечебного питания стали направляться здоровые люди по просьбе администрации завода для поощрения повышенным питанием отличившихся ударной работой (поликлиника № 37, столовая № 26 Фрунзенского района); почти весь медперсонал поликлиники стал питаться в лечебных столовых. Так, например, в столовой № 29 Фрунзенского треста столовых на лечебном питании из 28-й поликлиники состоит 17 врачей и более 10 чел. медперсонала»[31].

Обилие негативных примеров дает основание рассматривать эту записку как аргумент для закрытия столовых. Для этого она, очевидно, и составлялась, учи-

тывая содержавшиеся в ней предложения перевести значительную часть их посетителей — «желудочнобольных» — в столовые так называемого рационного питания. За ширмой призывов «улучшить работу» и учесть интересы «наиболее ослабевших» не очень ясны подлинные причины масштабной реорганизации сети специальных столовых. «По организации и культуре обслуживания, качеству приготовления блюд, режиму питания и ассортименту пищи рационные столовые не уступают лечебным», — заверяли авторы записки А. А. Жданову, но от ответа на вопрос о том, для чего же затевать перестройку, если можно было просто удалить из имевшихся столовых «примазавшихся», они явно уклоняются.

Столовые рационного питания, открытые еще в мае 1942 года, были скорее формой тихого, постепенного и потому лишенного налета скандальности отступления к прежним порядкам общественного питания. В начале августа 1942 года столовые усиленного питания закрыли, и, конечно, нельзя было сразу развеять надежды тех, кто видел в них шанс спастись. Отличие столовых рационного питания состояло не в увеличении числа выдаваемых блюд и не в улучшении их качества, а именно в упорядочении их отпуска: пищу выдавали три раза в день по особому абонементу взамен сданных продовольственных карточек[32].

Сверх «карточных» норм продукты выдавали не очень часто, зато имелась большая уверенность в том, что они будут использованы «рационально», правильно, а не съедены голодными людьми за один раз. Нельзя считать всё это лишь имитацией «заботы о трудящихся». Уроки блокадной зимы усвоили не только простые ленинградцы, приобретшие бесценный опыт выживания в нечеловеческих условиях, но и власти — гибель тысяч людей, не сумевших удержаться и разделить свой паек поровну, происходила на глазах у всех.

Нравы и быт рационных столовых очень ярко описаны И. Д. Зеленской в дневниковой записи 20 сентября 1942 года: «Я второй месяц кормлюсь на рационе в “Севкабеле”. Там лучше кормят, чем на Радищевском (завод им. Радищева. — *С. Я.*), где питается сейчас стан-

ция, но это "лучше" сводится к несколько большему разнообразию или капле соуса к какому-нибудь блюду. А в остальном — те же щи из отбросов зелени, с палками и песком, те же микроскопические порции каши в две столовых ложки, утомительная принудиловка в части хлеба, который в обязательном порядке выдается в три приема, так что ни разу за день нельзя поесть досыта, хотя бы в ущерб следующей трапезе. А обстановка столовой? В Радищевской совсем отвратно: низкое, холодное помещение, плохо освещенное, на столах клеенка с непросыхающими лужами супа, тарелки под залог пропуска, грубые подавальщицы, которые облают тебя за всякую малость как девчонку. Все наши рационщики бежали в сентябре на "Севкабель". Что же они там получили? Правда, столовая там уютнее, на столах скатерти, но в первый же день они становятся такого же цвета, как спецовки, в которых обедают рабочие. Подача идет медленно, народ нервен особой желудочной нервностью, из-за всякого пустяка вспыхивают колкости и стычки и между соседями, и с официантками. Каждое появление подавальщицы сопровождается разноголосым криком в ее "ряду", каждый стол старается зазвать ее и опередить соседний — прямо как растревоженная галочья стая. Сами посетители едят грязно, неаппетитно до отвратности, немытыми руками собирают пищу с тарелок, вытирают их корками до блеска или вылизывают, невзирая на специальные плакаты — запрещающие такие способы. Когда подается рыба, за стол страшно сесть — кости складывают прямо на скатерть вокруг тарелок. Косточки из компота разгрызают и шелуху плюют тут же на стол. С начала организации рациона была заведена посуда, ложки, стаканы, но все это по обыкновению растащили в первые же две недели, и сейчас приходится брать с собой полный прибор, кроме глубокой тарелки. Этих пока хватает, и если нет с собой посуды на чай или кофе, то их подают в глубокой тарелке... Все равно после рационного завтрака или обеда устраиваешь себе второй, более обстоятельный, пока выручает зелень с огорода. Так вот и получается, что даже при сравнительно благополучном положении, когда можно кормиться три раза в день, когда

паек выдается с календарной точностью, когда качество хлеба не оставляет желать лучшего, все-таки мы все не сыты, раздражены и находимся в вечно неуравновешенном состоянии»[33].

Трудно сказать, все ли столовые являлись таковыми — но невольно задаешь себе вопрос: а почему они должны быть другими? Убогий блокадный быт никуда не исчез, люди оттаивали медленно, чувство «зверского» голода у многих не ушло и месяцы спустя после первой блокадной зимы. Записи И. Д. Зеленской читать тяжело — но они честнее, чем бодрые уверения в оптимизме, якобы испытанном блокадниками. Ничто не возникало внезапно и не смывалось бесследно, и не вина людей в том, что приметы разрухи, физического и духовного угасания изживались мучительно, с неимоверным напряжением, не сразу и не всеми до конца.

Быстрый перевод на рационное питание большого количества горожан (с 5 тысяч в мае 1942 года до 100 тысяч в июне и 200 тысяч в конце 1943 года) все же не позволил в должной мере учесть интересы «желудочнобольных» — им грозило раствориться в общей массе людей, которых перестали считать особо истощенными. Выход нашли путем создания так называемых диетических столовых. Число прикрепленных к ним было очень ограничено, зато удалось в целом сохранить многие из прежних норм усиленного питания. «Прекрасно кормят, 40 грамм масла и 50 грамм сахара. Обед прекрасного качества. Такого вкусного борща в нашей столовой не было в мирное время» — и это говорилось о диетстоловой завода «Судомех»[34]. Вероятно, в других местах питание могло быть еще лучше. Как вспоминал А. Н. Болдырев, в ресторане «Северный», превращенном в диетстоловую, сидевшая с ним 19 ноября 1942 года за одним столиком директор ГПБ Е. Ф. Егоренкова «отодвинула брезгливо наполовину съеденную кашу: “Не лезет, просто не могу больше переносить эти каши”»[35].

Меню таких столовых, правда, не всегда являлось богатым. Видели в них, хотя и не часто, и весьма скромные обеды и ужины. Сеть их не была большой, но диетстоловые, обслуживавшие в день 300—500 человек, открывались в каждом районе. Как обычно и бывает, среди

«желудочнобольных» оказалось немало руководителей разных рангов и тех, кто пользовался «связями» и пристраивался сюда «по блату». В конце 1942 года в диетстоловых питалось всего 6 тысяч человек[36] — в масштабах такого города, как Ленинград, это немного.

Облик столовых во многом определялся общим военным бытом. Первой приметой блокады, на что сразу обратили внимание их посетители, стало исчезновение из залов ложек, вилок и тарелок. Заметным это стало еще в сентябре 1941 года. В начале декабря 1941 года Л. В. Шапорина записывает в дневнике: «В столовую надо приносить свои ложки: все ложки раскрали, подозревают беженцев, эвакуированных из захваченных местностей, которые здесь столовались»[37]. Но отсутствие ложек замечали и в других столовых — особенно это бросалось в глаза в январе 1942 года. «В столовых к этому времени пропали последовательно... вилки, ложки и даже миски. Каждый носил с собою вначале ложку, а затем и то, из чего можно было бы похлебать суп», — вспоминал В. П. Петров[38]. Остававшиеся еще в залах ложки буквально выхватывали из рук, «чуть ли не изо рта»[39]. Миски, которые приносили из дома и куда перекладывали пищу, были нередко грязными, мылись в холодной воде. У многих блокадников часто и мисок не было, о чем хорошо знали в «верхах». «Неудобно — в консервные банки люди берут обед», — говорил на заседании бюро горкома ВКП(б) А. А. Кузнецов[40]. Часто суп наливали в ржавые консервные банки прямо над кастрюлей, чтобы не пропало ни капли. Решить эту проблему пытались путем «выработки» (выражение А. А. Кузнецова) тарелок, покупали их у эвакуирующихся. Трудно сказать, насколько это было эффективным, но сведений об использовании консервных банок как посуды в конце 1942-го — начале 1943 года обнаружить не удалось.

Общей приметой почти всех столовых были грязь и копоть: на полу, на скамьях, на столах, на стенах. Не избежали этой участи даже некоторые райкомовские столовые. «Грязная харчевня» — так не совсем по-канцелярски была названа одна из «культурных» ранее столовых в официальном отчете. Работники общепита иногда жаловались на невозможность соблюдать чис-

тоту там, где кормились «ремесленники» и «неорганизованное население», но не всегда чистыми выглядели и ведомственные столовые. Темнота в столовых (этим, кстати, пользовались грабители, опрокидывавшие свечи и хватавшие со столов продукты), вид посетителей, закопченных дочерна, не снимавших шапки и пальто, сидевших в грязной, нечищеной, ветхой одежде и обуви, отсутствие посуды и столовых приборов, заставлявшее лакать супы через край тарелки и есть кашу руками, склоки, ругань, подозрительность, неубранные трупы у дверей, вид людей, роющихся в отбросах находившихся рядом помоек, — ничто не проходило бесследно, и руки опускались даже у тех, кто не был столь истощен и не готов был сразу смириться с распадом «общепитовской» культуры.

Редко в какой столовой во второй половине 1941-го — начале 1942 года не видели очередей. Отчасти это было вызвано медлительностью в выдаче блюд, что, конечно, имело тогда свое оправдание: «...стояли в очереди с баночками. Когда подходила очередь, то кашу взвешивали на весах на тарелочке, потом перекладывали в другую тарелку, и мы с жадностью смотрели, чтобы всё выскоблили с тарелки»[41].

«Длиннейшие», «километровые» очереди наблюдались еще в сентябре 1941 года. «Чтобы пообедать где-нибудь в открытого типа столовой, надо простоять в очереди 3—5 часов», — отмечал 24 сентября 1941 года А. А. Грязнов[42]. Тогда этот ажиотаж еще можно было понять — в столовых и в сентябре продолжали выдавать «бескарточно» ряд блюд. Но очереди, в которых стояли более одного-двух часов, наблюдались и позднее, в декабре 1941-го — феврале 1942 года. Приготовить дома обед было не на чем, а в фабрично-заводских столовых даже в «смертное время» выдавали часто «бескарточный» суп, и не одну, а несколько тарелок — надо было только уметь тайком пронести его через проходную. Конечно, суп этот был «пустым», обычная белесоватая жидкость, куда добавили несколько капель соевого молока — но кого это могло остановить? Очереди в столовых иногда уменьшались к концу декады. Карточки на крупу и мясо были

к этому времени «проедены» — кто-то ведь брал не одну, а несколько порций, не имея сил вытерпеть, и потому приходилось, «подголадывая», ожидать следующей десятидневки.

Любая очередь — это очаг конфликтов. Особенно это характерно было для блокадных столовых. Не дать опередить себя, успеть дотянуться до чистой ложки, потребовать, чтобы долили супа, порция которого показалась малой, найти место за столом и занять его, отталкивая других, быстрее прочих зазвать к себе официантку, пока не раздали все блюда, внимательно присматриваться к посетителям, подозревая, что они способны на воровство, — как могло проявиться в этом хаосе «чинное» спокойствие? «Толпа, давка, ругань... Я давно потеряла надежду поддержать порядок в этой массе голодных», — записывала в дневнике 23 декабря 1941 года заведовавшая столовой ТЭЦ И. Д. Зеленская[43].

Наиболее бурно реагировали, когда узнавали, что прекращается выдача первых или вторых блюд. Поднимался крик, даже раздавались угрозы. Та же И. Д. Зеленская вспоминала, как в столовой «закончилась каша»: «Паня-буфетчица крикнула: “Что вы все на нас, ведь война же!” И ей несколько человек ответило: “При чем здесь война”». Самой И. Д. Зеленской в этот день, 1 ноября 1941 года, тоже было несладко: «Пришлось услышать, что меня надо выкинуть, вытащить за волосы, что я не “рабочего классу”, и, наконец, откровенное признание: “пока они нас жмут, но погоди, придет время, и мы их прижмем”. Это говорит представительница “рабочего классу”, молодая “комсомолка”»[44].

Не лучше порой выглядели и столовые для ученых и «творческих работников». «Зачем пихаетесь!» — кричал один из писателей, автор патриотических романов, стоявшей рядом в столовой «старухе переводчице». «Это правильно, что из него вылезло “пихаетесь”. Если уж ссориться в очереди, то на профессионально базарном языке», — оценивал случившееся писатель И. Меттер[45].

Один из тех, кто питался в столовой Союза художников, даже не скрывал, как во время блокады он и его знакомые старались опередить других, чтобы стать ближе

к «раздаточному окошку», как пропускали вперед своих друзей, оказавшихся в конце очереди[46]. По отрывочным данным, конечно, трудно выяснить, было ли это исключением из правил или обычным явлением. Но об академической столовой свидетельств сохранилось немало — и почти все из них нелицеприятны: «Ежедневно свирепствуют дикие скандалы между учеными, едоками и столовыми заправилами. Ели суп, когда оказалось, что желе кончилось. Крик, проверка на месте»[47].

Обвинения в воровстве неизменно возникали во всех этих стычках в столовых. За руку воров здесь ловили редко, но на руки работниц столовых в золотых кольцах и браслетах, на их дорогие украшения обращали внимание. «Кому сейчас житье, так это хозяйственникам при кухнях и военным в белых куртках. И директрисы в столовых... и каптенармусы — друг с другом на "ты". Бессловесное "братство по оружию". Чума наша российская. Особенно ненавистны мне все эти "хлебные бабы" в золотых кольцах и серьгах», — писал в дневнике 28 ноября 1941 года Ф. М. Никитин[48]. Эти золотые кольца порой выдвигались как единственное, но самое убедительное свидетельство воровства. В начале 1942 года еще одним аргументом стали холеность и ухоженность официантов и поваров, столь резко отличавшие их от блокадников с опухшими и отекшими лицами. Встретив в феврале 1942 года трех девушек, имевших, вероятно, цветущий вид, А. Т. Кедров даже не сомневался в том, где они служат. По его дневнику видно, как нарастает это чувство ненависти к тем, кто наживается на чужой беде: «Все они, надо полагать, работают в системе общественного питания или торговли, так как имеют совершенно нормальный, "довоенный" вид, пышные груди, румяные щеки, поблескивающие глаза, задорные улыбки и кокетливые, надбровные взгляды... Их румяные щеки и пышные груди расцветают как раз за счет других, у которых бледные щеки, дряблые груди и потускневшие глаза... Мерзавки, думал я про себя, вы тут готовы танцевать, обниматься, а тут же рядом за стеной умирающая мать с детьми»[49].

Летом 1942 года разговоры о воровстве в столовых среди горожан потеснили и столь частые ранее расска-

зы о голоде. Возможно, это было связано с переходом на рационное питание. «Расклад» продуктов при этом был выгоднее (давались и дополнительные блюда), но усилились и обвинения в нечестности работавших на кухне. «Паек нам полагается хороший, но дело в том, что в столовой крадут много. Если бы нам давали на руки сухой паек, мы были бы сыты», — отмечалось в одном из частных писем в июле 1942 года, просмотренном перлюстратором[50]. О том же прямо писали и А. А. Жданову в начале 1943 года работницы завода № 211: «Мы великолепно знаем, что на столовую отпускаются дополнительные продукты, и если бы все это мы получали полностью, то мы бы не голодали и не были бы больными (дистрофиками)... Они от нас отнимают все эти граммы, которые выливаются в килограммы, и на них справляют себе вещи и занимаются спекуляцией»[51].

Нельзя сказать, что эти подозрения являлись беспочвенными и вызывались только раздраженностью людей. Очень частыми были обвесы при раздаче как первых, так и вторых блюд, доливание воды в каши и супы, чтобы их масса достигала установленных норм, вырывание дополнительных талонов из карточек без выдачи блюд по ним — последнее особенно отмечалось при трехразовом рационном питании. В первые недели блокады, когда деньги еще имели цену, в столовых в ряде случаев «карточное» питание становилось обильнее и после дачи взятки. Воры на кухнях пользовались отсутствием весов, спешкой в выдаче еды вследствие огромных очередей, темнотой в столовых. Они нередко рассчитывали и на то, что голодные люди, стремясь быстрее получить пищу и насытиться ею, не могли долго ждать или проводить скрупулезный подсчет полученных граммов.

С хищениями в столовых пытались бороться. Проводили оперативные проверки и комсомольские посты и уполномоченные различных органов власти, но если верить свидетельствам, работа их не давала ощутимого эффекта, хотя кое-кого и удавалось поймать. Разумеется, если заведующие столовыми крали килограммы мяса и крупы и их обнаруживали при обысках, судьба многих из них была незавидной. Но чаще речь шла о

мелких порциях, утаить которые не составляло труда, и это не могло быть поводом для громких обвинений. Уволить воров было трудно. Каждый рассчитывал на жалость и понимание других людей, у каждого имелись обычные оправдания: присвоенные им чужие каши и супы шли не на покупку за бесценок драгоценных украшений — стремились спасти умиравших от истощения детей и родителей. «Если вы его будете увольнять, он будет писать десятки заявлений, на имя администрации, в местком, в партийную организацию», — об этом вынужден был говорить даже один из руководителей города А. А. Кузнецов[52].

Нельзя сказать, что сцены драк, ссор, хищений можно было наблюдать в каждой столовой, причем ежедневно. Посетители их обращали внимание прежде всего на самые бурные инциденты и драматические эпизоды, обходя молчанием более спокойные, рутинные истории. Но угрозы и даже стычки не были здесь случайными. Это обусловливалось нищенским и голодным блокадным бытом. Это вызывалось нервностью и раздражительностью тех, кому некуда было идти и не на кого было надеяться.

Требовать иных картин — значит не уважать тех, чьими жизнями был спасен Ленинград. Когда стал оживать город, когда стали увереннее в своих силах люди, когда кончилась лютая стужа, стало чище и уютнее жить. Это не могло не сказаться и на столовых — и на их внутреннем убранстве, и на нравах посетителей. Едва ли не восторженное описание произошедших здесь перемен мы находим в дневниковой записи М. С. Коноплевой 5 июня 1942 года: «Сегодня, первый раз после почти годового перерыва, я ела в столовой в культурных условиях... Посетителей заставляют снимать верхнюю одежду, от чего за зиму мы отвыкли. В вестибюле приведен в порядок водопровод — можно перед едой вымыть руки — и от этого люди отвыкли. Удивительно быстро теряются культурные привычки... Чистые скатерти на столах, цветы. Официантки вежливы. Из папуасов, в которых мы превратились зимой, мы снова начинаем возвращаться к облику культурных людей»[53].

Скажем прямо, характерно это было не для всех сто-

ловых и нельзя не заметить, как порой принудительно «цивилизовали» горожан. Голод продолжал терзать людей — и у многих оставался соблазн опередить других, невзирая на ропот и упреки. И не все сразу вымылись, надели нарядные платья, запели песни. И не везде могли отскоблить копоть, покрасить коридоры, починить печи. Всё сожжено, что могло гореть, всё продано, что могло принести крошку хлеба, все раздавлено болью неисчислимых утрат — разве мог в привычках и поступках оглушенных блокадой людей быстро стереться след перенесенных ими потрясений?

Глава шестая
Рынки

Едва ли рынок мог оказать существенную поддержку голодным блокадникам, но побывать на нем пришлось почти каждому горожанину. Рыночные цены в «смертное время» росли с галопирующей быстротой. О том, сколь доступными являлись продававшиеся на рынках продукты, нетрудно узнать, приведя данные о средних зарплатах различных категорий рабочих и служащих за период 1941—1943 годов.

Уборщица в месяц получала 130—180 рублей, делопроизводитель в исполкоме — 230 рублей, библиотекарь — 300 рублей, научные работники 500—700 рублей, рабочие свыше 600 рублей. Труднее выяснить, каким был заработок ответственных работников, но известно, что зарплата управляющего делами горкома и обкома ВКП(б) составляла 1200 рублей, труд секретарей обкома, вероятно, оплачивался щедрее[1].

Нередкими являлись задержки выдачи зарплат. До декабря 1941 года они составляли обычно несколько недель, но позднее могли удлиняться до нескольких месяцев. То же можно сказать и о выдаче пенсий. Одна из блокадниц, сообщившая близким в 1942 году о смерти от голода детей, не получала пенсию пять месяцев. Подробных сведений о регулярности выдачи пенсий, как и о других повседневных «мелочах» блокадной жизни, найти трудно, если только они не высвечивали с макси-

В осажденном Ленинграде. *Февраль 1942 г.*

Мобилизация в Ленинграде. *Лето 1941 г.*

Зенитные установки на набережной Невы. *1941 г.*

Женский отряд на улице Ленинграда. *1941 г.*

Громкоговорители для информации о налетах и воздушной тревоге. *1941 г.*

Коровы на Дворцовой площади. *Август 1941 г.*

Ленинградские девушки-наблюдатели ПВО на крыше. *1941 г.*

Бойцы местной противовоздушной обороны (МПВО) убирают снег на Международном (Московском) проспекте блокадного Ленинграда

Жители разбирают на дрова крышу здания

Жители выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги. *1942 г.*

После очередного артобстрела. *1942 г.*

В разрушенной квартире.
1942 г.

Стирка на набережной

Карточка на хлеб времен блокады Ленинграда. *Декабрь 1941 г.*

На весах 125 граммов хлеба, установленная норма для служащих, иждивенцев и детей в ноябре 1941 года

Меняю на продукты:

1. Золотые запонки.
2. Отрез на юбку (темносиняя шерсть)
3. Мужские ботинки: желтые. N40 и лакированные N41
4. Чайник типа самовара-кипятится углем.
5. Фото-аппарат „ФЭД" с увеличителем.
6. Дрель

Здесь же продается ажурная машина, в 72-ой класс, фирмы „Зингер", барометр и качалка.

Обращаться по адресу:
Ул. Дзержинского д. 17 кв. 91. Гладкова
с 11 ч. до 4 ч. дня.

Блокадные объявления
об обмене вещей на продукты.
Февраль 1942 г.

У водоразборной колонки, установленной на углу улицы Дзержинского и Загородного проспекта. *Зима 1942 г.*

У водопроводного люка на Звенигородской улице. *Февраль 1942 г.*

Обессиленные
жители
по дороге за водой.
Зима 1942 г.

На Неве.
Зима 1942 г.

Прощание со сверстником. *Весна 1942 г.*

Родственники везут умершего на кладбище. *Весна 1942 г.*

Могильщики за работой. *1942 г.*

Волково кладбище. *1942 г.*

Осиротевший при артобстреле ребенок. *1942 г.*

Жертвы первых обстрелов на углу Невского и Лиговского проспектов. *Сентябрь 1941 г.*

Эвакуация погибших под немецкими артобстрелами. *1942 г.*

Истощенные голодом ленинградцы. *1942 г.*

мальной полнотой героику жителей осажденного города. Секретарь парторганизации Приморского райсобеса Ю. П. Маругина чуть приоткрыла завесу над тем, как происходила выдача пенсий, — картина была скорбной: «Каждое утро в этом маленьком помещении собеса собиралось несколько сот человек. Помещение было холодное, люди стояли прижавшись, согревая друг друга, или шли в кухню, где группировались у печки. *Обычно* (курсив наш. — *С. Я.*) по вечерам мы там находили трупы»[2]. Захоронить людей доставляло немало хлопот, и это решило вопрос в пользу тех, кто еще был жив: собесу предоставили более обширное помещение. О том, каково же было стоять на морозе истощенным "очередникам", похоже, мало кто задумывался: ведала этим делом секретарь райсполкома, самодовольная женщина, очень хорошо обеспеченная в этот период»[3].

Вызывал недоумение и порядок оплаты больничных листов — они производились только после их «закрытия» в лечебных учреждениях, то есть после выздоровления, которое, разумеется, во многом обусловливалось и дополнительным питанием. И уж совсем экзотичными выглядели попытки получить пособие, которое должны были выплачивать по договору о страховании жизни. «Мама много раз ходила в собес, много раз оскорбляли... но все-таки дали чек (пока не деньги)», — записывала в дневник в марте 1943 года В. Базанова[4]. Отметим также вычеты из зарплаты — на займы, военные налоги и т. д., достигавшие 10 процентов и более. Обычно подписывались на займы добровольно, но не обходилось в ряде случаев без увещеваний и даже угроз.

Государственные цены на хлеб во время блокады достигали уровня 1 рубль 70 копеек —1 рубль 90 копеек за килограмм. Соответственно невысокой являлась и стоимость блюд в столовых, причем она не очень сильно менялась в 1941—1943 годах. В сентябре 1941 года М. С. Коноплева заплатила за обед (тарелка супа из соевых бобов, вобла, два кусочка хлеба) 3 рубля 40 копеек, а в октябре 1942 года за тарелку «зеленых» щей — 95 копеек. Тарелка каши в октябре 1941 года обошлась В. Кулябко в 1 рубль 40 копеек, а В. Н. Новиков приобрел в мае 1942 года порцию из 4 дурандовых котлет за 2 руб-

ля 40 копеек[5]. Дешевле всего стоил пустой «дрожжевой» суп — 2 копейки за тарелку; его, правда, часто отпускали и без карточек.

Рыночная стоимость килограмма хлеба быстро стала расти в конце 1941-го — начале 1942 года. 17—21 декабря 1941 года она составляла 300—400 рублей, 22—30 декабря — 450—500 рублей. А. Н. Болдырев в дневниковой записи 8 января 1942 года отмечал, что за «200 гр хлеба дают 230 руб.» (1150 рублей за килограмм), но это свидетельство, пожалуй, единственное — близко к нему сообщение А. Ф. Евдокимова о 800 рублей за килограмм. В феврале 1942 года в связи с повышением «карточных» норм стоимость хлеба понизилась до 200—300 рублей, но, видимо, такая тенденция не являлась устойчивой, и о неуклонном, последовательном снижении цен на хлеб весной 1942 года говорить нельзя — в начале марта она составила, например, 350—450 рублей. Не произошло их радикального изменения и летом 1942 года. Сдвиг обозначился лишь с марта 1943 года, когда хлеб стали отдавать за 100—150 руб. за килограмм. В октябре 1943 года было зафиксировано снижение цен на хлеб до 80 рублей за килограмм, а в декабре 1943 года — до 50 рублей[6].

Трудно сказать, чем определялась рыночная цена хлеба. Классическая схема спроса и предложения здесь осложнялась разнообразием чисто блокадных реалий, и были дни, когда хлеб не отдавали даже за золото. Примечательно, однако, что цена килограмма хлеба редко превышала обычный ежемесячный уровень зарплаты. Очевидно, большую цену на хлеб мало кто мог дать, хотя спрос на него в январе 1942 года заметно превысил предложение.

Примерно на том же уровне, что и хлеб, оценивался на рынке сахар, и чуть меньше — мясо. Дороже всего ценилось сливочное масло — в декабре 1941 года за килограмм предлагали 800 рублей, в марте 1942 года — 1,5 тысячи рублей. В целом рыночные цены на нехлебные продукты являлись весьма устойчивыми, не всегда отражали позитивные изменения в снабжении блокадников и стали снижаться только с середины 1943 года[7]. Из непродовольственных товаров особым спросом

пользовались керосин, папиросы и спички, а из овощей — картофель (350—400 рублей за килограмм в сентябре 1942 года).

Говоря о денежном эквиваленте рыночных цен, надо обязательно отметить, что он во многом являлся условным. Главной расчетной единицей служила стограммовая порция хлеба — применительно к ней и «выстраивались» цены на все продукты и товары. «Вымывание» денег из сферы обмена обусловливалось и многочисленными задержками выдачи зарплаты, и стойким предубеждением горожан к «спекулянтам» (лица, продававшие продукты, причислялись к ним часто и безоговорочно), и, наконец, действиями милиции, бдительно следившей за всеми подозреваемыми в стремлении поживиться за счет украденного где-то хлеба.

На эти обстоятельства обращал особое внимание педагог А. И. Винокуров 4 января 1942 года: «Деньги в большой мере потеряли свойство универсального товара вследствие боязни торгующих оказаться "спекулянтами". Дело в том, что меновая торговля не преследуется, а продажа по высоким ценам влечет большие неприятности. Был свидетелем случаев, когда продающие за деньги задерживались агентами милиции, переодетыми в штатское»[8].

Порция хлеба считалась чем-то незыблемым, не теряющим своей ценности при любых обстоятельствах, а деньги — неустойчивыми, меняющими свои котировки обычно не в пользу их владельцев. Кто знал, удалось бы на вырученные от продажи деньги приобрести другие нужные продукты, но понимали, что за хлеб отдадут всё.

«Сам я никогда не видел, чтобы продавали хлеб или вообще что-нибудь съестное. Только меняют», — признавался в своих записках А. И. Пантелеев[9]. Его слова подтверждают и другие очевидцы блокады, побывавшие на рынках в конце 1941-го — первой половине 1942 года: «...ничего за деньги. Деньги совершенно не ценят»; «...это на деньги... такие бешеные, почти не достать, меняют только на хлеб»; «...на деньги продают мало»; «...знаю только один случай, когда продукты были проданы за деньги»; «на деньги на рынке ничего не купить»[10].

Наиболее жестко по этому поводу высказался Владимир Григорьевич Даев: «Легенды о баснословных ценах на ленинградских блокадных рынках — вымысел беллетристов или факты, относящиеся к последующим периодам войны... А до того денег не было видно на рынках вообще, менялся товар на товар»[11].

Эти слова все-таки нуждаются в уточнении. Там, где речь шла не о покупке целой буханки хлеба или килограмма сливочного масла, отчасти использовали и деньги. Существовали «смешанные» сделки — продукты и товары обменивались «в придачу» с определенной (чаще всего небольшой) денежной суммой. Деньгами, как правило, расплачивались лишь при мелких покупках — спичек (7—12 рублей за коробок), открыток (несколько рублей), а в 1942—1943 годах за мизерные порции овощей — пучков редиски, 100—200 граммов салата.

На рынок несли всё, причем многое из своих домашних пожитков, даже приблизительно не зная, какой может быть их стоимость. «Город охватила меновая лихорадка: на первом месте водка, потом — хлеб, папиросы, масло, сахар», — записывала Е. Васютина в дневнике через два месяца после установления блокады[12]. Позднее приоритеты сменились. В «смертное время» признавались в качестве «валюты» только хлеб и папиросы. Последние стали основной обменной единицей в феврале 1942 года, когда увеличили «карточные» нормы хлеба и его оказалось много на рынке. В феврале 1942 года одна штука папирос «Беломорканал» стоила 8 рублей, а за пачку эстонских папирос «Кексгольмская мануфактура» (в красивых коробках, но «вонючих», как утверждали курильщики) давали 100—150 граммов хлеба[13]. В апреле 1942 года одна из блокадниц смогла выменять за 4 пачки папирос 3 килограмма овсяных лепешек и пять талонов крупы на 100 граммов — это считалось удачей. К концу 1942 года «табачный кризис» приобрел необычайные размеры. Даже матросам стали давать суррогат «из листьев разных деревьев с примесью табака», а цена за пачку папирос (80 граммов) выросла до 500 рублей, оставив позади цены и на хлеб, и на мясо, и на масло[14].

Ассортимент предлагаемых на обмен товаров на рынках не ограничивался лишь скудным набором «все-

общих эквивалентов», а являлся подчас и неожиданным. Продавались здесь и букеты цветов, и медные чайники — у всех теплилась надежда, что нечаянно «повезет». «Встали утром слабые, еле-еле ходим — есть нечего, помирать собрались», — отмечал в дневнике 18 января 1942 года В. Николаев. Мать пошла менять на рынок «отцовы перчатки» — не самый, наверное, ходовой товар в голодное время. «Живем! Удача!» — он не может скрыть своей радости, узнав, что перчатки удалось выменять на 750 граммов гречневой крупы. Казалось немыслимым найти такого покупателя. Вероятно, тот не знал их настоящей цены. «Человек словно с Луны свалился», — говорила, не стесняясь, мать[15].

«Везло» не только ей. Ф. Грязнов вспоминал, как в декабре 1941 года встретил женщину, несшую кусок дуранды, и спросил, где она ее купила. «На рынке шерстяную юбку сменяла на два кило. Дочка у меня умирает от истощения, ничего не жалею для нее», — услышал он в ответ[16]. Л. В. Шапориной удалось обменять в июне 1942 года «чудесный шелковый русский платок на килограмм хлеба» — она не преминула, сообщив об этом в дневнике, назвать его рыночную цену — 500 рублей за килограмм. Всё, правда, зависело от опытности «продавца», но в еще большей степени определялось реалиями того времени, когда происходил обмен. Так, Е. И. Моргуновой «запомнилось, что за хороший костюм мужа получила на Сенном рынке всего 1 буханку хлеба»[17].

Одежду, теплую, хорошую, красивую, модную, качественную, стоившую до войны немало денег и редко продаваемую в обычных магазинах, можно с оговоркой признать еще одной, третьей, рыночной «валютой». Как ни покажется странным, но с такой одеждой было порой труднее расстаться, чем с драгоценным сервизом, — далеко не все могли увидеть убранство квартиры, но каждый замечал женщину в обносках.

Дочь литературоведа В. Л. Комаровича, учившаяся в Театральном институте, разрешила продать свои модные туфли только тогда, когда стал умирать отец. Нельзя без волнения читать письмо Н. П. Заветновской дочери-музыканту, находившейся с оркестром в эвакуации: «Я отдала на рынке твои фетровые боты, ты ведь

их не носила давно... Прости, дорогая, что я так делаю, и если еще случится быть на рынке, то я что-нибудь снесу и из твоих вещей...» Она, очевидно, решилась на это не сразу и в минуту крайней нужды — отсюда и оговорка о том, что боты надевают редко. «Если когда и приедешь, будут деньги, купим еще», — писала ей мать, умершая через несколько месяцев[18].

Не все ходили на рынок для того, чтобы что-то купить, — хотели просто «прицениться». Для некоторых эти посещения являлись таким же средством смягчить голод, как бесконечные разговоры о еде, о «сытом» прошлом. Людей неудержимо тянуло туда, где имелся хлеб, даже если он был недоступным. Так, не отрывая взгляда, смотрели на чужие тарелки в столовой, так, не имея средств, бесцельно, но ежедневно блуждали по рынкам. Взгляд голодного человека становился здесь особенно острым, он подмечал и спекулянтов, разорявших несчастных людей, распознавал и обман и бесчестность. Так пристально смотрел на посещавших Андреевский рынок А. Т. Кедров, часто, но безуспешно пытавшийся что-то обменять на нем. Описание его наполнено и жалостью, и неприязнью, мазки на картине кажутся излишне густыми, но иначе он смотреть не может: «Вот девочка трясущимися от холода (может быть, и от голода) руками держит бутылочку с маслом. Эта бутылочка напоминает скорее пузырек, чем бутылочку. Грязнущий дядя просит испробовать этого масла. Она доверчиво открывает пузырек и каплет ему... две-три капли масла. Он пробует языком, морщится и недовольно ворчит: "...горьковато". ...А затем, отойдя 5—6 шагов, с аппетитом долизывает эти капли масла». Чувство ненависти постепенно переполняет его, он явно с трудом сдерживается: «Если этот торгаш перепробует из всех имеющихся бутылочек на рынке масла, он может не работать и... будет жирами вполне обеспечен»[19].

Во время войны обменивали продукты в основном рядом с привычными для ленинградцев колхозными рынками: Мальцевским, Октябрьским, Обуховским, Андреевским, Сенным и Кузнечным. Осенью 1941 года часто посещали Сытный рынок, но он вскоре был разбомблен. Вымывание «колхозных» товаров с рын-

ков произошло быстро и стало неизбежным. «Спекулировать», то есть продавать по тем ценам, которые устанавливались на толкучках, они не могли, поскольку являлись полугосударственными. Именно эти толкучки и являлись объектом пристального внимания милиции. Они были запрещены, и рядом с рынками вывесили предупреждающие таблички, которые мало кто замечал. Разгонять толкучки, как вскоре выяснилось, являлось делом бесполезным. Толпа перемещалась в близлежащие переулки и вновь начинала торговать. Особую опасность, по мнению авторов докладной записки городского управления рынками, составленной 26 ноября 1941 года, представляло то, что «клиенты толкучек... тщательно скрывают обмениваемые продукты от органов контроля и благодаря этому в обмен легко могут проникать продукты, опасные для здоровья потребителей»[20]. В записке предлагалось легализовать деятельность толкучек (говорилось и об экономических выгодах этого), но так далеко власти идти не рискнули: никто не хотел брать на себя ответственность. Легализация произошла своеобразным «явочным порядком», милиция просто закрывала глаза на мелкие «обменные» сделки. Никто не знал, чем может обернуться постоянное снижение норм пайков. Боялись «голодных бунтов» и лишний раз озлоблять горожан не решались, да, наверное, и понимали, что ничего другого предложить им не могут. «Народ страшен, — описывала свои впечатления побывавшая 26 октября 1941 года на Обуховском рынке Л. В. Шапорина. — Это какие-то брейгелевские карикатуры на людей. Все ищут пропитания, хлеба, капустных листьев. Ободранные, с желтыми, изможденными лицами, заострившимися носами, провалившимися глазами. Огромная очередь за капустными листьями, там драка и визгливые ругательства баб. У чайной очередь впирается в дверь, туда старается протолкаться маленький мальчуган лет восьми. Взрослый мужчина хватает его и отшвыривает от двери, мальчуган катится кубарем, вскакивает на ноги и с ревом опять лезет в дверь, его не пускают бабы, крик, рев. Женщина с желтым треугольником вместо лица стоит с двумя крошечными желтыми кочешками капусты и пытается

променять их на хлеб, девочка меняет пол-литра молока на хлеб, на нее кричат, угрожают милицией»[21].

Неофициальная легализация толкучек не означала, конечно, что их оставили без присмотра милиционеров. Часть из них следила за происходившим на рынке, переодевшись в штатское. Задерживались чаще те, кто не менял, а продавал продукты: их подозревали в «спекуляции». Сумма сделки в расчет обычно не бралась, имел значение только сам факт «наживы».

Но даже в том случае, когда речь шла именно об обмене и никто не посягал на большее, могли арестовать владельца целой буханки хлеба, килограмма песка или крупы. Считалось, что голодный, далекий от «хлебных» мест человек, получавший нищенский паек, не мог честным путем скопить в это время такие сокровища. «Наблюдал интересный случай с обладателем буханки, весящей около 1,5 кг. Обычно меняют 290—300 г хлеба, редко больше. Лицо, имеющее целую буханку, вызывает подозрение в хищении. Владелец буханки променял 200 г хлеба на миниатюрный кусочек сала и был задержан. Его увели, грубо толкая, несмотря на свидетельские показания публики, что он менял, а не продавал», — отмечал А. И. Винокуров в дневнике 4 января 1942 года [22].

Посетители рынков, пойманные во время обмена, нередко скупо говорят о том, как происходило изъятие «незаконного» товара, составлялись ли при этом протоколы или опись. В. Базанова рассказывала, как 25 октября 1943 года она пошла на рынок продавать пиво и, получив за него 30 рублей, была тут же остановлена милиционером. Угрожали «увести в участок», она просила пожалеть ее — «милиционер отобрал пиво и этим ограничился». Возможно, такое случалось не раз, когда у нарушителей отнимали для личного пользования не целые буханки (за это могли строго наказать), а мелкие порции товаров — их и спрятать было легче. С этим обычно мирились — «привод в милицию» оборачивался куда большими неприятностями, чем потеря бутылки пива или масла. Для описания нравов на рынке ценен и рассказ В. Базановой о том, как она расплачивалась с понесшей расходы покупательницей: «После препирательств... длившихся довольно долго — она требовала

все 30 рублей, а я, чтобы возместить убыток, справедливо давала половину, — я отдала ей 15 рублей»[23].

Очень бдительно следили за тем, чтобы на толкучках не обменивали «подозрительные» мясо и котлеты и т. п., — такое иногда бывало, причем самой худой славой пользовался Сенной рынок. «Товар изымался, а продавцов уводили», — вспоминала Е. И. Иринархова[24]. Как правило, и сами покупатели брезгливо, но пристально оглядывали студень с голубоватым мясом и не брали его, если даже им и предлагали выгодный обмен — одной из неопровержимых улик считалось то, что «студень» не застывал.

Никаких гарантий, что и соблюдающий ритуалы негласного рынка человек не будет задержан или подвергнут штрафу, никто, конечно, дать не мог — официально торговля была запрещена. Массовые облавы на толкучках учащались, когда повышались карточные нормы продовольствия, — «считается, что выдачи в магазинах приняли такой размер, что допущенный в трудный период элемент частного обмена... можно... упразднить»[25].

Толкучки не ограничивались лишь площадками у привычных колхозных рынков. Они начали разрастаться еще с осени 1941 года. А. И. Пантелеев вспоминал, что в проулке рядом с Мальцевским рынком в октябре 1941 года «топталось несколько человек», а через полгода толкучка разместилась на всей улице Некрасова и растянулась от Греческого проспекта до улицы Радищева[26]. «Рынки обмена появились почти на каждой улице. По дороге встретил два», — отметил 15 февраля 1942 года В. Ф. Чекризов[27]. В июле 1942 года рынки начали стихийно возникать почти всюду: выносили из квартиры мелкий домашний скарб, раскладывали его и садились рядом. В августе их начали усердно разгонять, но «торговцы» иногда умели договариваться с милиционером и продолжали свою «полезную деятельность»[28].

С лета 1942 года стали оживать и колхозные рынки. На них могли торговать зеленью и даже сельхозпродуктами (чаще всего молоком) не только работники совхозов, но и те, кто занимался возделыванием блокадных огородов. Эти рынки быстро усвоили привычки толку-

чек, здесь продавали и порции хлеба, и носильные вещи. Процитируем еще раз дневниковые записи В. Ф. Чекризова, побывавшего на рынках во время и после сбора урожая летом и осенью 1942 года, — характерно, что сам он пытался продавать здесь ботинки и брюки. Запись 24 августа 1942 года: «Пошел в рынок. Но не хватало храбрости там продавать, даже не вытащил напоказ. Что там делается? Людей, что сельдей в бочке. Продавцов т[ак] н[азываемых] колхозников (есть ли их 50%) уйма. Каждый продает несколько пучков ботвы и с десяток какого-либо корнеплода. Стоит всё бешено. Здесь же едят репу, турнепс, капусту и др. Много красноармейцев в числе продающих вещи». Запись 7 сентября 1942 года: «Рынок Мальцевский. Полно народа. Не пройти. На прилавках зелень, ботва различных растений, турнепс, свекла, редиска, репа. У каждой продавщицы несколько штук турнепса и свеклы. Штука турнепса до 100 рублей. В одном месте продавали рыбу грамм за грамм, т. е. грамм хлеба за грамм рыбы. 100 гр хлеба расценивается 30—35 рублей. Продают молоко (коровье, не соевое) и довольно много». Об обмене хлеба на молоко на рынках в это время рассказывает и Александр Александрович Фадеев в строго дозированных записках о блокадном Ленинграде; примечательно, что места торговли он снисходительно называет «рынком неимущих»[29].

Неизбежной приметой рынков являлся обман покупателей. Хлеб «подделать» было нельзя, но в прочих случаях способы ввести в заблуждение утративших бдительность блокадников могли быть самыми разнообразными. Люди, пришедшие на толкучки, настороженно оглядывались (это видно по сохранившимся фотографиям), опасались облав и потому стремились быстрее совершить сделку, не проверяя дотошно качество приобретенного товара. Да и сделать это было нелегко. И. И. Жилинский купил на рынке лампадное масло, которое, как выяснилось позднее, «горит коекак» — не зажигать же лампаду на снегу. Не раз обманывали на рынке А. И. Пантелеева — пришлось попробовать и «дуранду», изготовленную из полыни, и увидеть бутылку «масла», которое на поверку оказалось воском, перемешанным с водой[30].

Часто продавали «химические» суррогаты, которые по внешнему виду и особенно окраске было трудно отличить от натуральных продуктов. Так приносили на обмен в бутылках олифу, уверяя, что это подсолнечное масло, «шоколадные» конфеты, сделанные из мастики, и порошки, в том числе и клеевые, предлагаемые как крупы[31].

В 1943—1944 годах рынки «цивилизовались», однако протекал этот процесс медленно. Стал более жестким контроль над ними, несколько увеличились ассортимент и количество продаваемых продуктов, снижались цены (временами весьма ощутимо по сравнению с 1941—1942 годами). Но произошедшие здесь перемены трудно было назвать впечатляющими: пока существовала карточная система распределения, рынок и не мог изменить своего блокадного облика.

Но Он сказал им в ответ: сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопиют.

Евангелие от Луки (19:40)

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

У ПОРОГА СМЕРТИ

Глава первая
Голод

«Говорят, опыт помогает... Да, но не этот "опыт". Опытных голодающих я не встречал»[1] — эта горькая истина не раз находила подтверждение в блокадные дни и ночи. Голод почувствовали не сразу. «В сентябре... продуктов стало не то чтобы не хватать, но чувствовалось, что их становится все меньше», — отмечала В. А. Чернышева[2]. Блокадники позднее вспоминали о постепенном «накоплении голода», сначала малозаметном, но со временем все более осязаемом. Насытиться в той мере, как это было в прошлом, теперь удавалось не всем: паек постоянно снижался, за бескарточными выдачами выстраивались километровые очереди. Разборчивость, привередливость во время еды стали быстро исчезать: начали есть и те продукты, которые ранее избегали пробовать.

В середине октября 1941 года все чаще стали отмечать «едовую горячку», вызванную «вечным сосанием под ложечкой». Люди не могли наесться в столовых, требовали добавку — об этом очевидцы говорили иногда с брезгливостью, но остро ощущавшие нехватку еды горожане перестали прислушиваться к осуждающим упрекам. Иногда спасали и накопленные за лето овощи, но вскоре и они кончились. Ощущая «томительную пустоту в желудке», многие ели не переставая, не придерживаясь никаких «графиков». В ноябре—декабре 1941

года чувство голода появлялось буквально через час после приема пищи, причем иногда и обильной. Оно выворачивало наизнанку, не давало ни на минуту успокоиться — это заметно и по тональности дневниковых записей блокадников: «а кушать так хочется!»; «кушать хочется страшно»; «ужасно есть хочется!»; «есть хочется невероятно»; «очень голоден... очень хочется есть»; «какой кошмар — голод»[3].

Симптомы голода и его последствия отчетливее и подробнее всего выявлены в дневниках Л. В. Шапориной и А. Н. Болдырева. По записям Л. В. Шапориной, работавшей в госпитале, видно, что даже человек стойкий и склонный часто порицать несправедливость, под влиянием голода меняет свои оценки, делая их менее жесткими. 14 октября 1941 года Л. В. Шапорина получила от знакомой буфетчицы 0,5 килограмма масла за крайне низкую по тем временам сумму — 50 рублей. Она понимает, что масло приобретено не очень честным путем, отсюда и потребность оправдаться, используя хлесткие аргументы: «Это может быть неприлично, но голод, искусственно созданный нашими правителями, еще неприличнее»[4]. Голод нарастает, она пытается «переместить внимание» на что-то другое, кроме еды, но это не помогает: «Ловлю себя на мечтах о завтраке с белыми булочками, ветчиной, шоколадом»[5]. 18 января 1942 года она записывает в дневнике: «На столе лежит ложка, которой раздавали больным кашу. Я пальцем как бы нечаянно задеваю ложку, на пальце немного каши, потихоньку облизываю»[6]. Е. И. Иринархова работала на хлебозаводе: «После чистки мешков оставались какие-то крошки, но выносить ничего было нельзя. Более опытные женщины посоветовали мне чуть-чуть намочить эти крошки и обмазать ими руки. Дома это отдирать было просто невозможно, до слез больно», — вспоминала она[7].

Весной 1942 года нормы выдачи хлеба значительно повысились, но она не чувствует этого, готова теперь работать донором, есть всё, что угодно. Она чаще пишет в дневнике о гнетущем, побеждающем всё чувстве голода, от которого никак не избавиться, — ни обильными кашами, ни сытным супом. И эти записи становятся более яркими и необычайно страстными, без из-

винений за свою слабость и без оговорок. В записях осени 1942 года моральные рефлексии отходят на второй план. Получая от знакомой каши, она прежде всего отмечает, что это «такие порции, каких в столовых мне не дают». Она, правда, и сама ощущает произошедшие с ней перемены: «Это меня развращает, я помимо своей воли начинаю ждать подачек». Оправдания менее пространны, чем раньше, но они теперь, после пережитых мук, наверное, и не нужны: «Возмутительно, но с голодом ничего не поделаешь»[8]. В ноябре 1942 года, неся подруге купленный по ее карточке хлеб, она никак не может отогнать мысль о том, что делать, если застанет ее мертвой. Она и здесь готова отступить: «Прежде всего, съем хлеб». Голос чести она пытается заглушить категоричностью и жесткостью: «Да, жадно съем ее хлеб и потом... буду думать об умершей»[9].

А. Н. Болдырев, сотрудник Института востоковедения, начал «подъедать» за чужими людьми тоже в конце марта 1942 года, когда набор карточных продуктов блокадников стал обильнее. «Доел третью, оставленную почти нетронутой соседом, кашу... Я здесь... пережил одно из странных голодных волнений — волнение при виде недоеденных соседями блюд и хлебов. Совершенно неслыханное, любопытное чувство» — так он описал свой обед на одном из военно-морских кораблей, где «столующиеся» питались намного сытнее, чем простые блокадники[10].

Голодал ли он в это время? Нет, считает он, о голоде теперь говорить нельзя, но есть «доминанта в чувствах». Это «прорва несытости», она свирепствует, от нее никак не защититься, каши и супы тоже не спасают. «Хлеба не хватает зверски», — записывает он в дневнике 7 августа 1942 года. Получив в сентябре 1942 года воблу, он сразу отмечает, что есть ее — наслаждение, и именно потому, что она «крепкая и ее можно кусать», а каши и супы — жидкая и полужидкая пища, на них и зиждется «полусытость». Наконец, в январе 1943 года он обнаруживает у себя первые признаки «усмирения ненаеда» — уменьшение записей о продуктах в дневнике. Обычно голодный человек надеется, что такое «усмирение» наступит после «великолепных праздников пищи», после

пиршеств — но нет, замечает он, это произошло как-то незаметно[11].

Записи ощущений, вызванных голодом, не очень часто можно обнаружить в блокадных документах. Они в чем-то схожи, хотя всегда следует делать поправки на индивидуальный опыт рассказчика и учитывать специфику его самоанализа: происходившие с ним перемены он не мог описать понятно и точно. Первое, что отмечали, — все чаще возникающие мысли о еде. Они начинают переполнять человека, становясь в чем-то патологическими, неизбывными. Дать зарок не обращать на них внимания оказывалось трудным. «Я спокойна только тогда, когда все съедобное уничтожено, иначе оставшийся кусочек хлеба может мучить как наваждение, пока с ним не расправишься, будь этот кусочек с орех величиной». И. Д. Зеленская занесла эту запись в дневник 20 сентября 1942 года, когда питание в Ленинграде заметно улучшилось[12].

«Сосет под ложечкой жутко» — так описывал свое состояние В. Петерсон, и именно этот симптом отмечался блокадниками чаще всего. Страшной для них являлась и «томительная пустота в желудке»[13]. Успокоиться было невозможно: «...непрестанный едкий глад сверлит нутро»; «чувствуешь, что голод пожирает тебя изнутри»[14]. Казалось, это никогда не кончится, от этого чувства не уйти и не спрятаться. Терпеть не имелось сил, отчаяние прорывается не у одного человека. Б. Злотникова готова была «съесть простыню», чтобы прекратились ее муки. Е. Мухина записывает в дневнике 21 ноября 1941 года: «Ужасно хочется есть. В желудке ощущается отвратительная пустота. Как хочется хлеба, как хочется. Я, кажется, всё бы сейчас отдала, чтобы наполнить свой желудок»[15].

Блокадники говорили о том, что не могли заснуть из-за постоянно возникающих мыслей о еде. «Перед глазами беспрерывно мелькают котлеты, и я чувствую их раздражающий запах», — вспоминал А. Коровин[16]. Да и сами сны нередко являлись «голодными», как их называли ленинградцы. Содержание их, как правило, было одинаковым: перед глазами изобилие продуктов, но их или нельзя съесть, или до них не достать, либо они ис-

чезают при малейшем прикосновении. Приведем некоторые из записей этих снов и рассказов о них. «Рядом около тебя лежит хлеб, масло, но ты не можешь до них дотянуться. Или вообще не можешь сдвинуться, как будто скована. Или еще страшнее — у тебя эту пищу забирают», — вспоминала С. Готхарт. Более картинное описание «голодных снов» мы находим в записках Ильи Сергеевича Глазунова — он передает рассказы тети: «Ей часто снится еда, роскошные столы, ломящиеся от яств, источающих аромат только что зажаренной дичи, пирогов, горячего кофе. Она берет тарелки в руки... и... просыпается». Варианты снов бывали различными, схожей являлась их концовка: «Мне приснился сон, от которого я проснулась со стоном. Мне снилось: я иду по Свечному переулку, а в руках у меня большое яблоко, я несу его Андрюше (сын. — *С. Я.*), несу и откусываю понемногу, и вдруг вижу — я съела все яблоко»[17].

Примечательно не только содержание этих снов, но сам факт их записи или воспоминаний о них. Возможно, это все тот же акт «замещения» еды бесконечными рассказами о ней — рассказами, которые слышали или в которых участвовали, наверное, подавляющее большинство ленинградцев. В них преобладали две темы: как сытно ели в прошлом и что будут есть после блокады. Прошлое представлялось каким-то райским уголком, отличавшимся сплошным изобилием, где все можно было легко купить, где пища являлась необычайно вкусной — ощущения не очень идиллической довоенной поры словно начисто смыты. Особенно укоряли себя за то, что являлись тогда не в меру разборчивыми: корки хлеба казались горькими и грязными, от каш отворачивались. Оголодавший семилетний мальчик признавался бабушке: «Помнишь, как я не любил манную кашу даже с вареньем, а теперь бы я всякую съел»[18].

Очень сожалели, что не запаслись продуктами в первые месяцы войны, когда в магазинах еще можно было их найти, что не скупали лекарства и витамины в аптеках, а иногда и обвиняли себя, если с кем-то раньше слишком щедро делились. Что-то болезненно преувеличенное есть и в мечтах блокадников о том, как они станут питаться в будущем. Представления о том, как

удастся позднее истребить испепеляющее чувство голода, не сильно разнились. Главное, что их объединяло, — это необычайно огромное количество разнообразной еды, обязательно вкусной, «рассыпчатой», «с корочкой», лоснящейся от масла. Но эти фантастические и поражающие масштабами гастрономические галлюцинации быстро стали блекнуть. Они ничем не закреплялись, не подпитывались, стирались из сознания, поскольку многие из «цивилизованных» продуктов не только давно не видели, зачастую и утрачивали представление о их вкусовых оттенках. Планы будущей «сытости» упростились. Попробовав в голодное время какое-нибудь блюдо, показавшееся очень хорошим, надеялись, что когда-нибудь смогут попробовать десятки именно таких и только таких блюд — если это капуста, то обязательно целое ведро или даже бочка, если постное масло, то конечно же целый бидон. И уж, разумеется, станут кушать без прошлой брезгливости и капризов. «Если я доживу и будем опять так жить, буду есть всё, не выбирая», — читаем в дневнике Е. Козловой[19]. Это отзвук блокадного бытия, когда были согласны на всё, ничем не гнушались, всё пробовали — лишь бы прекратилась эта нескончаемая мука: «О! Только бы поесть досыта, простой пшенной каши без масла, слегка посыпанной песком. Эта каша меня преследует днем и ночью, язык горит, во рту сухо. Но еще лучше хлеба, пусть со жмыхом, полусырого, но посыпанного солью и с водою — это так... вкусно»[20].

Акт «замещения» недостающей еды возникал нередко внезапно, спонтанно, кажется, даже против воли тех, кто хотел служить образцом стойкости. Это и поиски крупиц съестного в щелях на полу, в карманах одежды, которую давно не носили, крупиц, возможно, когда-то давно оброненных, рассыпавшихся в недоступных углах буфетов. «Чистили» комнаты не раз — и оставалась надежда, что если даже сегодня ничего не найдут, то более зоркий осмотр тех же мест завтра увенчается успехом.

Это и «хождение» на рынок — иногда без товаров на обмен, без денег, только для того, чтобы посмотреть на кусочек хлеба, на бутылку молока, плитку шоколада. Ка-

залось, что-то незримое заставляло прорываться это неутолимое чувство голода. Учащийся 4-го класса сочинил такое патриотическое стихотворение, обличавшее гитлеровцев:

В города они входили,
Магазины все громили,
Пили водку, брали шпиг
И консервы открывали
И съедали в один миг[21].

Магазины, шпиг, консервы, которые поглощали в «один миг», — как много здесь от блокадной повседневности. От нее не оторваться, даже имея перед глазами типичные стихотворные образцы. Заведующий райпромкомбинатом А. П. Никулин стал свидетелем бомбежки закусочной на Невском проспекте. «Проклятые фашистские варвары», — начинает он записывать в дневнике и здесь вдруг что-то обрывается, и ему никак не остановиться, пока он не скажет о том, что терзает его в это время: «Там быстро подавали, всегда было чисто, уютно и светло, готовили замечательно. По требованию можно было получить сосиски, сардельки, печенку, мозги, почки, яичницу, пирог с капустой, с саго, с рисом и яйцами, иногда с грибами, салаты, огурцы, бульоны...»[22]

О последствиях голода написано самими блокадниками немало. «Голод вначале обостряет восприятие жизни. Голова ясная, но очень слабая», — вспоминал И. С. Глазунов[23]. «Память как будто очищена, промыта чем-то. Видится всё — до последней травки, до мельчайшего листика на рисунке обоев», — читаем мы в записях А. И. Пантелеева, относящихся к 1942 году[24]. И. С. Глазунов: «Удивительная легкость перехода из одного состояния в другое. Оживают и материализуются образы прочитанных книг, увиденных людей, событий»[25]. Но чем дальше, тем быстрее утрачиваются красочность, разнообразие и пластичность ощущений. «Очищенность» оборачивается опустошенностью, «промытость» — безразличием. «Что-то вышло из меня, из всех нас» — так описывает это «очищение» переживший блокаду философ М. С. Друскин[26]. Он даже находит в этом пользу: человек свободен от суетных страстей, от погружения

в «конкретность» — но чаще всего это заканчивается смертью.

Почти все блокадники отмечают бессилие и слабость — А. Ф. Евдокимов, например, сообщает, что не мог стоять больше трех минут[27]. Когда приподнимали голову, в глазах темнело. Обычным признаком голода являлось головокружение — оно либо оканчивалось голодным обмороком, либо перемешивалось с галлюцинациями. «...Почувствовал, что зал будто куда-то удаляется, на потолке... не три лампочки, а десятки, голоса окружающих слились в какой-то далекий гул», — вспоминал Д. Н. Лазарев[28]. О том, как во время головокружения «совершенно позорно споткнулась», рассказывала в своих записках Э. Г. Левина[29]. У М. В. Машковой «отчаянная слабость» выразилась в том, что она не смогла дойти несколько шагов до плиты, где «убежал драгоценный горох»: «Жалкое зрелище: ноги не повиновались, не гнулись, тело бессильно падало»[30].

Крайней формой физиологического и духовного угасания человека была алиментарная дистрофия. Ее признаки от первичных проявлений до неостановимой деградации детально прослежены работавшим тогда в одном из ленинградских госпиталей хирургом А. Коровиным. Отметим, что его записи были опубликованы в 1948 году, — позднее мы редко обнаружим в советской печати столь откровенный рассказ: «Дистрофия проявляется целым рядом характерных симптомов. Слабевшие от недоедания люди начали жаловаться на выделение необъяснимо громадного количества мочи, совершенно не соответствовавшего объему выпитой жидкости. Этот признак был самым ранним... Другой симптом истощения заключался в неостановимом, подчас катастрофическом падении веса тела. Толстяки теряли по восемьсот, по тысяче граммов в день... Многие из недоедавших испытывали необычайную сухость кожи. Потовые и сальные железы у них бездействовали, и тело, казалось, было покрыто шершавым пергаментом. Съеденная пища плохо усваивалась из-за недостатка пищеварительных соков. Скудные обеды и ужины почти не всасывались в кровь и не давали желанного чувства сытости.

Все стали жаловаться на непреодолимую мышечную слабость и быструю утомляемость при физическом напряжении. В разгар рабочего дня у многих возникало желание броситься в постель. Падение температуры, иногда до 35 градусов, стало массовым явлением. Этому понижению обмена веществ сопутствовало странное замедление пульса: у молодых и с виду здоровых людей доходило до сорока в минуту»[31].

Другой блокадник Д. Н. Лазарев, не врач, но его описание своей «медицинской» точностью похоже на рассказ А. Коровина: «Вы спите мало (6—7 часов). Ночью все время кутаетесь, подтыкая под себя одеяло, вас знобит: озноб разливается по спине и всему телу. Выступающие повсюду кости быстро начинают болеть, что заставляет вас часто менять положение. Мучает ощущение голода, все время ощущаете пустоту желудка, часто глотаете слюну, вам трудно что-либо предпринять, даже самый пустяк. Прежде чем повернуться на кровати, вы долго собираетесь с силами, откладываете, тянете, мысленно многократно повторяете все нужные движения прежде, чем их совершить. Наступает утро. Вам очень трудно преодолеть инерцию, встать и одеться. Днем ваши движения осторожны, замедлены. Несмотря на теплые одежды, вы продолжаете зябнуть, вас преследует неприятное ощущение шума в ушах: собственное дыхание и слова резонируют, как в полом сосуде. Распухают ступни ног, на пальцах рук глубоко трескается кожа. Временами вы ощущаете перебои и ноющую боль в сердце, с трудом берете лестницы. Вы живете безучастно к окружающему. В столовой встречаете, например, хорошо знакомого сотрудника... и ленитесь приветствовать, смотрите на него вяло, и тот также смотрит в ответ: к чему тратить лишнюю энергию на слова?»[32]

В конспективном виде последняя стадия агонии «дистрофиков» отмечена в записях Виталия Валентиновича Бианки, относящихся к марту 1942 года. В Ленинграде он жил недолго, но был хорошо осведомлен о том, что творилось в городе, — отчасти по собственным впечатлениям, отчасти по рассказам других людей. Не случайно он прежде всего обращает внимание на такой симптом болезни, как кровавый понос, из-за

него человек быстро, как тогда говорили, «вылетал весь в трубу»: «Дистрофия три — безнадежная стадия; человек умирает в три дня. Дистрофический понос. Опухание ног. Катастрофическое похудание (в два-три дня от человека остается "одно основание"). Боль в позвоночнике. Ломаются ногти. Помутнение сознания. Серый цвет лица. Кровавые веки... Пена у рта. Кожа трескается... Выпадение волос. Температура 35,4, 35,2 градусов... считается нормальной. Гибельно всякое чрезмерное... усилие»[33]. Дополнительные штрихи к этому описанию добавляет В. Левина, работавшая медсестрой в эвакуированной Военно-морской медицинской академии: «...Было очень тяжело пытаться брать кровь на анализ у дистрофика, у которого она и не показывалась после укола в палец. Плакал и больной и я...»[34]

Эта «плаксивость», постоянные жалобы, раздражительность, болезненная нетерпеливость, невозможность подождать даже несколько минут составляли неотъемлемую часть портрета «дистрофика»[35]. Он говорил не останавливаясь, готов был оттолкнуть любого, если ему мешали получить пищу. Он был поглощен мыслями о еде, ни о чем другом не говорил, не обращал внимания на то, сколь тягостны были эти сцены прочим блокадникам. Он готов был вырвать кусок хлеба из рук другого человека и, невзирая на крики и ругань, сжевать его полностью. Его видели роющимся в помойках и вылизывающим чужие тарелки на глазах у всех. И. Д. Зеленской приходилось в столовой «отталкивать эти человеческие остовы от пищи, выгонять их», и, как отмечала она, более жуткой картины ей не приходилось видеть: «...Они способны, съев два-три обеда, неотступно стоять под дверьми буфета, как прилипшие к стене, пока остается хоть капля съестного»[36].

Они не мылись, не следили за собой, ходили буквально в тряпье. Взгляд умоляющий, угасающий — «отлетающий», как выразилась З. С. Травкина. Пик заболеваний алиментарной дистрофией пришелся на январь 1942 года, но таких людей видели даже в 1943 году, правда, более редко. Психологический след голодовки оставался у них и тогда, хотя кормили их намного лучше. В. Ф. Чекризов в дневниковой записи 5 мая 1943 года да-

же поместил отдельный набросок, озаглавив его «Дистрофик в столовой»: «Сел. Противогаз (вернее, сумка от противогаза) на коленях, из нее извлекаются... кружка, баночка, бутылочка и еще что-то. Нетерпеливое поглядывание на официантку; она не успела раздать очередной поднос: "Вы у меня возьмете?" Она подошла к шкафу у двери. "А у меня еще не взяли". — "Подождите, я еще ни у кого не брала талонов". Талоны взяты. Принесен хлеб. Хлеб разрезается, часть откладывает. Дальше нетерпеливое поглядывание в сторону раздачи. Обед принесен. Раздает с другого конца столов. "А мне?" — "Вы мне еще не дали". — "Подождите. Будет и вам". Ужин на столе. Жир извлекается и кладется в баночку. От конфеты к кофе отщепляется маленький кусочек, остальное в карман. Ужин съеден, миска вылизана кусочком хлеба. В миску наливается горячий кофе, миска выполаскивается, всё выпивается»[37].

Конечно, не у одних только «дистрофиков» зримо появлялись приметы деградации. В более умеренной форме ее можно было обнаружить у многих людей, еще не перешедших роковую черту. Не обошло это сторонной и семьи, где этические нормы отмирали позднее всего. «В. дрался с отцом (в XI) из-за хлеба, хватал его за бороду», — записал инженер Г. М. Кок в декабре 1941 года[38], но если такие сцены и являлись редкостью, то споры при дележке еды среди родных были обычными. В одной из семей, как вспоминала Н. П. Осипова, «кушали раньше вместе, а теперь стали ругаться из-за лишней ложки супа». Начали закрывать на ключ буфет — оголодавшая девочка, младшая в семье, «воровать стала, нельзя положить ничего, всё съедает»[39]. Запирался на замок и стол в семье у знакомых Валентина Байкова — отец, получавший, вероятно, самый крупный паек, объявил, что питаться будет отдельно[40]. Это «раздельное» питание вскоре стало обыкновением, некоторые даже уходили из дома, чтобы не делиться, хотя и не разрывали связей с семьей.

Еще более откровенно эти нравы проявлялись в отношениях с чужими людьми. Не гнушались и пользоваться своим служебным положением. У П. М. Самарина парторг завода «чуть не вырвал из рук кусок хлеба —

пристал, дай и дай», а О. Гречина стала свидетелем поборов инженера, распределявшего наряды на заводские работы. Инженер был «опухшим и пожелтевшим», соблюдать даже малейшие приличия он, видимо, теперь не мог: «Когда мы собрались во дворе цеха, меня поразило его поведение: раздав наряды, он вдруг начал требовать с нас талоны. Я не ходила на работу дней шесть из-за смерти мамы и не могла понять, о чем идет речь. Девочки пояснили мне: инженер ежедневно требует для себя талоны по 20 гр. крупы с наших карточек... Разве они меньше хотят есть, чем вы, — орала я ему. — Стыдно! А еще мужчина! Девочки! Не давайте ему ничего! Что он вам сделает?!»

«Все молчали и жались» — так заканчивает она свой рассказ. И что еще оставалось делать — «работа наша по нарядам была адски тяжелая»[41]. Вот и надеялись, что не пошлют с ломом долбить лед, не заставят перекладывать штабеля трупов рядом с цехами, не отправят в похоронные команды на кладбища, где требовалось много рабочих рук... Такие случаи являлись редкими — но выжить так или по-другому хотели все и зачастую любой ценой. «Я себя ловила на мысли: хоть бы маленький довесочек дали. Когда давали, я иногда от их порций довесочек съедала... Эта крошечка мне как бы за работу», — вспоминала «отоваривавшая» талоны для трех женщин М. Я. Бабич[42]. В. М. Глинка увидел, как пытались ограбить лежавшего на снегу и умиравшего блокадника. Шедший мимо человек стал шарить у него в карманах, отталкивая руки, пытавшиеся удержать карточки. Грабителя отбросили — «ну и что же, думал я. Все равно ведь кто-то вынет эти продуктовые карточки, этот ли, другой, какая разница... И я подумал, что и я мог ими воспользоваться... Пусть не лгут те, кто прожил в Ленинграде блокадную зиму, что не думали о карточках людей, умиравших на снегу»[43].

В. Кабытова позднее писала, что, едва начав говорить, она, по рассказам родных, повторяла лишь одно слово: «Хлебца, хлебца»[44]. Дети, найденные в «выморочных» квартирах рядом с трупами матерей и отданные в детдом, ни о чем другом не говорили, только как о хлебе[45]. В одной семье потерявшая карточки девочка, видя, как

мать сначала похудела, а потом опухла, «не хотела брать, но брала и ела», в другой — трехлетний голодный ребенок, ища в доме еду, нашел уксус и умер, выпив его, — и столько еще таких рассказов, горестных, прерывающихся, мучительных...[46] Но не удерживались не только дети. Передавая обилие слухов и разговоров о возможной прибавке хлеба к 21 января 1942 года — Дню памяти В. И. Ленина, — В. Ф. Чекризов заметил, как остро реагирует на это блокадник, — не может «терпеть далее дня и потому придумывает то, чего нет»[47]. Ожидание еды, не предусмотренной пайковыми нормами, еды, появившейся в доме внезапно, как подарок, как подношение или счастливая находка, захватывало многих. Отец Д. С. Лихачева, которому обещали привезти копченую колбасу, ни о чем, как лишь о ней, не думал, удивлялся, почему ее долго везут, беспрестанно говорил о ней — вплоть до самой смерти в первую блокадную зиму.

Разговор о еде, столь типичный для этого времени, нередко превращался в болезненно патологический, бесконечный монолог с тщательным и подробным перечислением вкусных яств, с описанием того, как их приготавливали, сколько их было... Эта патология чувств, обусловленная голодом, не исчезла и после «смертного времени», о ней узнавали даже в эвакуации. «Я его совершенно не интересую, он на меня не смотрит, а когда на улице увидел собаку, то спросил, почему ее до сих пор не съели», — «в ужасе» рассказывала соседка В. Г. Левиной о муже, «солидном детском писателе с благородными установками», приехавшем из Ленинграда[48].

Каждый месяц блокады делал человека менее устойчивым, неспособным хоть в какой-то мере сопротивляться чувству голода. Особенно это проявилось весной 1942 года, когда многомесячное недоедание стало ломать даже и тех, кто пытался стойко переносить лишения. А. И. Пантелеев, эвакуированный в Москву и оказавшийся в элитном доме отдыха в Архангельском, доедал обед пресытившегося соседа по комнате, полковника, прямо у него на глазах. В Ленинграде он был на несколько месяцев лишен прописки, а значит, и права на получение карточек — но видел он здесь людей, которые переживали голод еще острее. В санатории на

Каменном острове ему встретился другой сосед, интеллигентный человек: «Хвастается тем, что ел всё: кошек, собак, воробьев, ворон, галок. Искал крысу...» А. Коровин откровенно писал, что «был счастлив», если удавалось выпросить вторую тарелку супа[49].

Попытка немедленно, сразу же утолить голод имела, однако, нередко странный эффект: «Как только съешь больше обычной ежедневной нормы, появляется волчий аппетит, и хочется есть и есть. Вот, кажется, съел бы ведро каши. Страшное состояние. Съел обычную ежедневную норму и всё нормально, съел больше и сразу почувствовал голод»[50].

Если была возможность, пытались съесть больше, чем допускалось, невзирая на уговоры поберечь себя, несмотря на предупреждения об опасных последствиях внезапного и чрезмерного насыщения после многих недель голодовки. А. П. Никулин не уследил за своим сослуживцем — тот «тайком» от него сразу, не сдерживаясь, съел две порции каши, три порции гуляша — «и свалился»[51].

О «психологическом голоде» тогда говорили многие, и было замечено, как резко он меняет привычки людей. Любой рассказ о ставшем неузнаваемым человеке всегда предваряется свидетельством о том, сколь добрым, щедрым, отзывчивым, любящим он являлся прежде. Таким был и отец одной из блокадниц — «смертное время» нанесло ему непоправимый удар. Он начал требовать себе больше хлеба, чем другие, раздражался, если видел, что порции и после дележки оказывались почти равными, высказывал упрек за «неумение жить», за излишнюю щедрость, которую проявляли к гостям вместо того, чтобы экономить и копить продукты. Действия его какие-то судорожные, непредсказуемые, он и хочет быть порядочным, но не способен удержаться. Получив, как врач, от больных в госпитале полбуханки хлеба, он не съел ее, принес домой, разделил на кусочки. «Едва мы с мамочкой успели съесть по ломтику, как папа съел все остальное и еще спросил: “Ну, теперь вы, кажется, сыты”»[52] — не требуя ответа и, может быть, даже боясь его. За секунду надо было решить, готов ли он на жертву ради семьи, останется ли он благородным чело-

веком — но нет, голод перевешивает всё, и мысль о том, что драгоценный «кусочек» через миг исчезнет, становится непереносимой.

Агония тысяч блокадников с предельной глубиной выявила степень мук, испытываемых ими. Умиравшие и даже те, кто ранее стеснялся обращаться за помощью, перед смертью просили есть, зная, что и дать им нечего, и все равно — просили, умоляли, требовали: самого вкусного, самого недоступного, о чем не раз мечтали в голодные дни. Надеялись, что опекавшие их люди не смогут не выполнить последнюю предсмертную просьбу, рассчитывали на жалость, надеялись, что этот крохотный кусочек вновь вернет их к жизни. Но чаще просили его не потому, что мечтали выжить, а потому, что хотели съесть сейчас же, здесь, не откладывая, и смягчить хоть чем-то нескончаемую и непередаваемую боль.

Ломался и привычный порядок дележки на три части ежедневной порции хлеба и прочих продуктов — чаще это происходило даже не в «смертное время», а начиная с весны 1942 года. Такой порядок, как казалось, «изматывал» в большей мере, чем легкие «послабления». Экономили на всем — мясо старались не варить и не жарить, употребляя сырым, опасаясь, что его калорийность снизится, пшено иногда предпочитали не промывать. Тарелка хорошего супа с ломтиками хлеба, как вспоминала М. В. Машкова, может «заставить дрожать руки» — и как много имеется свидетельств о том, сколь «жадно ели» люди[53]. Терпеть не могли, само приближение к еде, о которой так мечталось, сметало все понятия о былых «приличиях». Ели, не оглядываясь ни на кого, не заботясь, что отпугнут своей неряшливостью, ели, сосредоточившись только на куске съестного и не замечая ничего. Тарелки вычищались и облизывались до блеска — порой и пальцами. Обычно не раз следили за тем, кто и что ест, беспокоились, не получили ли одни больше, чем другие. Не раз замечали за собой, как трудно было поделиться с родными или друзьями хлебом и продуктами, которые можно было утаить. Даже будучи сытыми, медлили поддержать более нуждающихся. «Вот психология голода: хоть кажется, хватает и нам, но каждая такая отправка, особенно хлеба, вызывает жгучее

содрогание», — записал А. Н. Болдырев, узнав, что жена «переплавляет» съестное в чужое семейство[54].

И столь же нетерпеливо нередко вели себя у весов, на которых взвешивался хлеб. Как отмечал М. П. Пелевин, разновес еще не успевал «успокоиться», а к весам тянулись руки «жадно и трепетно», подбиралась каждая крошка, которую тут же съедали[55]. Взвешивание хлеба представляло собой, по воспоминаниям Л. Я. Гинзбург, целую драматическую сцену: «Внимание человека пригвождено к автоматическим весам с движущейся стрелкой. Отчасти, что его могут обмануть, главным образом потому, что он переживает иллюзию участия в жизненно важном процессе взвешивания. Стрелка весов делает первое размашистое движение и, все сокращая охват, долго качается на фоне белого диска, ищет среди цифр себе место. Вот заехала за нужную цифру — это всегда неприятно: значит, продавщица непреклонным жестом отрежет прямоугольник от лежащего на весах куска. Хорошо, если стрелка не дотянула: значит, еще не всё. Значит, будет еще кусок, может быть, довольно большой... нет, совсем маленький; странно, что такой маленький может выровнять стрелку. Психическое соучастие в процессе взвешивания хлеба сопровождается какой-то абсурдной и обреченной надеждой — что вот сегодня кусок почему-то будет больше, чем всегда. Если продавщица сразу угадывает вес — это бесперспективно. Если довесок большой — тоже нехорошо, потому что до дома его нельзя трогать — такова блокадная этика. Лучше всего маленькие довески, которые как бы в счет не идут и по обычному праву на месте принадлежат получившему хлеб (даже если дома семья). Удачно, если их два, совсем маленьких. Довесок съесть можно, но отломать от пайка кусочек — крайне опасно; так по кусочку съедают всё, не донеся до дома, до завтрака»[56].

Если отметить главный признак голода, унесшего жизни миллиона ленинградцев, то таковым прежде всего будет быстрота физиологического и духовного распада человека. Вряд ли кто ожидал, что спустя несколько недель после того, как началось недоедание, деликатесом станет мясо кошки или собаки, согласятся есть столярный клей, промывать в поисках сахара обуг-

лившуюся землю Бадаевских складов и, наконец, начнут употреблять в пищу человеческое мясо. Последствия голода оказались страшными, к ним не были готовы. Голод мгновенно и с предельной откровенностью приоткрыл все закоулки человеческого сознания, скрытые за оболочкой цивилизованных форм, и обнажил самые отвратительные, «первобытные» стороны борьбы за существование. Он показал людям бездну их самоунижения и растаптывания человеческой личности.

Он развеял все иллюзии и мифы о том, что стойкость и самоотречение способны творить чудеса. Иногда даже самый гуманнейший, не имеющий нравственных изъянов человек, отрывая от себя последнее, чтобы помочь другим, был точно так же обречен превратиться в зверя, начисто утратившего свой прежний облик, как и человек циничный, жестокий и безразличный. Блокадная повседневность исключила полутона: если кто-то хотел до конца оставаться альтруистом, он должен был понимать, что неизбежно предстояло погибнуть не только ему, но и оставшимся без ухода родителям и детям, которые получали, как правило, кладбищенский иждивенческий паек и сами спасти себя не могли. Но в том и урок ленинградского голода, что логика выживания оказалась неприменимой там, где слышали плач истощенных детей и встречали умоляющие взгляды просящих милостыню. Никуда это чувство сострадания не ушло, и уйти не могло — его, правда, пытались заглушить, но оно являлось столь же реальным и непреложным, как и терзавший людей голод.

Глава вторая
Бомбы

Варварские обстрелы и авианалеты стали одной из главных примет осажденного города. Немецкие самолеты прорывались к городу уже в июне и июле 1941 года, но ущерб от их действий тогда не являлся значительным. Воздушные тревоги летом 1941 года объявлялись не раз, к ним привыкли и не считали их знаком опасности: самолеты противника, как правило, останавлива-

ли на подступах к Ленинграду. Это одна из причин того, что сопровождавшийся жертвами авианалет 6 сентября 1941 года был для многих неожиданным. 8 сентября самолеты вновь бомбили город и этот день запомнился всем ленинградцам. Городу были нанесены трудно залечиваемые раны. В этот день на Ленинград сбрасывали в основном зажигательные (термитные) бомбы весом до одного килограмма. Именно тогда сгорели бараки с продовольствием на улице Киевской, так называемые Бадаевские склады. Продуктов, правда, там хранилось немного, всего на несколько дней: многомиллионный город не мог снабжаться иначе как с колес. Самые мощные из зажигательных авиационных бомб (ЗАВ) достигали веса 50 килограммов и заливались нефтью; применяли их очень редко[1].

Налет 8 сентября был, однако, только пристрелкой, позволяя определить слабые стороны системы городской МПВО и обнаружить схему расположения зенитных батарей. Самыми страшными по своим последствиям стали налеты 19 и 27 сентября 1941 года. До декабря город самолеты бомбили ежедневно. В декабре интенсивность воздушных налетов заметно снизилась, а в январе—апреле 1942 года они даже прекратились, зато стали более мощными артиллерийские обстрелы. Позднее количество налетов продолжало неуклонно сокращаться, в значительной мере и благодаря более точной пристрелке зенитных орудий. Их интенсивность особенно снизилась в июне—июле 1943 года — тогда было совершено девять налетов. Последний раз город бомбили 17 октября 1943 года, налеты полностью прекратились 14 мая 1944 года.

Определяя способы разрушения города и подавления воли его жителей, противник не хотел лишний раз рисковать самолетами, даже если ответный огонь советской артиллерии не причинял ему большого ущерба. С октября 1941 года авиация бомбила город, как правило, только ночью и на значительной высоте — 5—7 километров. В этом случае ей не могли помешать аэростаты и можно было не опасаться света прожекторов. Пытаясь выяснить, где находятся самолеты противника, зенитчики обязаны были в большей степени доверять

своему слуху и стрелять туда, где, как им казалось, слышался звук приближающихся бомбардировщиков.

Не дожидаясь ударов зениток, немецкие летчики, быстро «отбомбившись», возвращались назад. Начавшиеся пожары делали их цель лучше видимой. Зенитки к этому моменту умолкали, и налет вскоре возобновлялся, при этом точность бомбометания увеличивалась: самолеты в сумерки обнаружить было крайне трудно, а языки пламени освещали под ними целые кварталы. В дневные часы авиация чаще обстреливала Дорогу жизни и железнодорожные составы за городом — здесь рассчитывать на крупные пожары не приходилось[2]. О мотивации авиаударов и их направлениях можно отчасти получить сведения из протокола допроса летчика А. Крюгера: «Бомбардировками Ленинграда германское командование преследует цель держать город в напряжении, боевую задачу командир группы... получает непосредственно из Берлина, причем задание дается на определенный срок: в течение такого-то времени произвести столько-то налетов, таким-то количеством машин... Приказом устанавливаются только дни бомбардировок, а выбор времени для налета предоставляется командиру группы, в зависимости от метеоусловий. Определенных целей для бомбометания внутри Ленинграда летчикам не указывается. Обычно указывается лишь район города, где должны быть сброшены бомбы. Каждый командир самолета имеет план города, на котором нанесены все цели (объекты): аэродромы, заводы, вокзалы и т. д. О заводах в плане указано количество рабочих и характер производства. Все налеты на Ленинград их группа производит с аэродрома Псков (Кресты)... В ночных полетах на Ленинград лично участвовал пять раз. Бомбометание [на] Ленинград производится с высот от 5000 до 7000 метров. Большая высота бомбометания вызывается огнем зенитной артиллерии... О результатах бомбометания ничего конкретного не знает. Командование стремится устанавливать эти результаты дневной разведкой»[3].

Со временем стала заметной «бессистемность» авианалетов, в которых принимали участие от 15 до 25 самолетов. Четкая сосредоточенность на каком-либо

отдельном военном или производственном объекте проявлялась не всегда: ни один мост не был разрушен, транспортные и хозяйственные коммуникации не были выведены из строя; удивительным считалось и то, что зданию Смольного удалось уцелеть[4]. Ленинградское направление после сентября 1941 года не считалось противником значимым, и, возможно, ограниченность ударов авиации обусловливалась не только опасением чрезмерных потерь, но и тем, что самолеты требовались в первую очередь на главных, стратегически важных театрах военных действий.

Эффективность ударов немецкой авиации, по мнению многих ленинградцев, определялась действием «ракетчиков», обозначавших зелеными сигналами места бомбометания. История поиска «ракетчиков» крайне запутана. Зеленые зарницы видели многие, но на месте поймать почти никого не удавалось. Такой откровенный и бесстрастный летописец блокады, как В. Г. Даев, говоря о появившихся в связи с этим слухах, прямо отметил, что «доказать полную их несостоятельность довольно легко». Доказательств он приводит много, вот некоторые из них: «Ракетой нельзя обозначить один какой-то дом из сотни его окружающих, тем более трудно попасть в этот дом бомбой, сброшенной с самолета». В «какофонии света», вызванной работой зенитных батарей, пожарами и разрывами бомб, заметить, по его мнению, какой-либо слабый сигнал было невозможно, он тонул в ней. Из ракетниц стреляли военнослужащие близлежащих частей, считая, что предупреждают о начинающейся атаке, или полагая, что тем самым обманывают противника, заставляя его переносить удары с жилых домов на пустынные поля.

Постепенно разговоры о «ракетчиках» поутихли и не только потому, что к ним привыкли. Отлавливали их и МПВО и НКВД, причем долгими поисками себя не затрудняли. Задерживали всех тех, кто находился рядом с предполагаемым местом запуска ракет, хотя точно определить это место было трудно. Данные о пойманных «шпионах» в сводках этих структур весьма разнились, а самые бдительные разоблачители рисковали прослыть паникерами. «Я подписал приказ о борьбе с распростра-

нителями слухов, — отметил позднее начальник городской МПВО Е. С. Лагуткин. — Разговоры о диверсантах прекратились»[5].

Не раз отмечались и слухи о листовках, сброшенных с самолетов. Наиболее часто их разбрасывали в сентябре 1941 года, когда прорвавшийся к городу противник лихорадочно и путем разных «проб» пытался определить, какое из средств воздействия на горожан будет самым эффективным. Кипу «чахлых» листовок во дворе своего дома А. Н. Болдырев увидел и за несколько недель до полного снятия блокады в октябре 1943 года, едко заметив, что они скорее из прошлогодних запасов[6]. Возможно, это являлось не актом отчаяния, а следствием канцелярской рутины немецкого пропагандистского аппарата, работавшего «по старинке» и тогда, когда кардинально изменилось соотношение сил на фронтах. Пропаганда преимуществ «нового порядка» осуществлялась в основном во время варварских налетов: самолеты старались беречь, одиночные вылеты их вне состава авиаэскадрилий обычно не допускались. О содержании листовок имеются лишь скудные известия: читать их было небезопасно. Свидетельства, переданные через вторые или третьи руки, придают листовкам особую фантастичность: в одной из них, как передавалось в слухах, немцы якобы просили прощения за то, что беспокоят ленинградцев по ночам, — «теперь они будут бомбить город днем»[7].

На город, однако, сыпались не листовки, а бомбы. Жертвы были значительными: бомбежка 6 сентября 1941 года унесла жизни 304 человек, 3854 получили ранения. В ноябре от бомб погибли 1382 человека и были ранены 8301 человек. Существенное снижение числа пострадавших (139 погибших и 829 раненых в январе—октябре 1943 года)[8] определялось не только более четким соблюдением правил безопасности на улицах и более точной работой зениток, но и сокращением авианалетов на Ленинград — артиллерийские обстрелы оценивались противником как более дешевый, чем атаки авиации, способ разрушить город и запугать его население. В январе—марте 1942 года авианалеты не проводились, хотя обстрелы в это время усилились.

В сентябре—декабре 1941 года немецкие самолеты сбросили на Ленинград 70 тысяч зажигательных и 3,5 тысячи фугасных бомб. Вероятно, о точности подсчетов с должной уверенностью говорить нельзя, но это соотношение сохранилось даже в начале 1943 года — тогда было сброшено 1652 зажигательные авиационные бомбы (ЗАБ) и 91 осколочная фугасная бомба (ФАБ)[9]. Зажигательные бомбы в значительной мере удавалось сбрасывать с крыш железными клещами, палками и иными подручными средствами, если там находились люди. Дежурство на крыше считалось тяжелым, не все могли его нести. Боялись поскользнуться и упасть с крыши, заболеть на продуваемых ледяным ветром высотах, не знали, какие бомбы посыплются под ноги, зажигательные или осколочные, дававшие мало шансов выжить на открытых пространствах. Во многих домах проживали люди обессиленные, шатающиеся, не отходившие от умиравших детей и родителей, лежачие — они, если даже и хотели, служить подмогой не могли. Малочисленные отряды МПВО, группы самозащиты и пожарные команды в одиночку, без поддержки жильцов, мало что могли сделать — отсюда и большое количество пожаров, потушить которые не удавалось до полного разрушения здания.

Наиболее смертоносными оказывались ФАБ. Первый раз их сбросили, как отмечали очевидцы блокады, 30 сентября 1941 года: «Летела, мяукая... Осколки от зениток стучат по крышам, как горох»[10]. В авианалетах с самого начала проявилось то, что ленинградцы называли «немецкой аккуратностью» или «немецкой пунктуальностью». Примеры их приводятся в дневниковой записи, сделанной З. В. Янушевич 12 ноября 1941 года: «Одно время зарядили начинать налеты в 8 часов вечера и повторять их до 1 или 2-х часов ночи, а иногда и до трех. Затем в течение нескольких дней начинали в 5 часов 30 минут дня и до 12 ночи. А затем завели моду начинать в 12 часов дня, но зато уж в такие дни вечера и ночи были спокойными»[11]. Замечалось также, что авианалеты проводились чаще в ясную погоду, а когда шел снег, город обычно обстреливали из тяжелой артиллерии.

Именно эти артиллерийские обстрелы сильнее всего изматывали жителей города. Они начинались внезапно, и никто не знал, сможет ли он уцелеть или погибнет прежде, чем успеет сделать несколько шагов. Самой распространенной причиной смерти являлась гибель от осколков снарядов, от так называемых вторичных осколков (кусков выбитых бомбой камней, дерева и стекла) и от взрывной волны. Зрелище было страшное: люди в мгновение ока буквально разрывались на несколько частей. Их останки часто находили вдали от места удара бомбы о землю. «Давай фарш!» — кричали немецкие артиллеристы, производя выстрел по Ленинграду — и вот оно, месиво обрубков тел, оторванных и раскрошенных голов. «Много женщин-калек на улицах: без руки, без ноги», — вспоминал В. В. Бианки[12].

По журналу боевых действий 768-го тяжелого артиллерийского дивизиона заметно, что среди целей бомбардировок преимущественно выбирались военные объекты: транспорт, вокзалы, склады, корабли ВМФ, оборонные заводы, площадки зенитных орудий. «Цели были невидимы, — отмечалось в записи, сделанной 4 апреля 1942 года, когда город подвергся наиболее варварской бомбардировке. — Так как пристрелка вследствие большой отдаленности целей, не дала более точных результатов, то район целей обстреливался с рассеиванием 400 м по длине, 6 м по сторонам». И взрывались жилые дома, оказавшиеся в зоне «пристрелки», и рушились больницы и школы — «стрельба протекала без инцидентов и помех, по плану»[13]. В немецких документах это называлось «беспокоящим огнем» — он и калечил детей, не успевших быстро добежать до ближайшего укрытия, и стариков, из-за немощи также не способных ускорить шаг.

Обстрелы в 1941 году обычно начинались в 5—6 часов вечера и длились даже до утра, но такой «порядок» не оставался неизменным. 12 октября 1943 года город обстреливался «весь день с утра до вечера»[14]. Замечали, что с наступлением сумерек пушки умолкали — это объясняли тем, что огонь дальнобойных орудий в темноте мог демаскировать их. Логику обстрелов иногда трудно выяснить. Чтобы сделать их неожиданными

и тем самым увеличить масштабы разрушений и число жертв, временные промежутки между обстрелами и их продолжительностью могли и меняться, но, будучи раз установленными, методично соблюдались до следующей смены «режима». Подробно о том, как проводились бомбардировки города, мы можем узнать из материалов допроса немецких солдат, служивших в 910-м и 240-м артиллерийских полках. Некоторый налет специфического советского языка на «покаянных» ответах германских военнослужащих, явно отредактированных следователем, не может помешать нам оценить значение таких документов, несомненно, достоверных.

«Протокол допроса военнопленного Ф. Кеппна...

Вопрос: Какие боевые задачи выполнял 910-й артиллерийский полк?

Ответ: Полк систематически вел артиллерийский огонь по военным объектам города.

Вопрос: По каким конкретно?

Ответ: Ответить на этот вопрос я затрудняюсь. Характер объектов, которые мы обстреливали, мне неизвестен.

Вопрос: Почему же вы утверждаете, что это были военные объекты?

Ответ: В сводках немецкого верховного командования говорилось: "Военные объекты Ленинграда были обстреляны огнем тяжелой артиллерии". Поэтому я так и показал.

Вопрос: А как было в действительности?

Ответ: В действительности артиллерийские обстрелы города преследовали одну цель — разрушение города и уничтожение его населения.

Вопрос: Дайте по этому вопросу подробные показания.

Ответ: Когда наше командование еще надеялось захватить Ленинград, артиллерийские обстрелы города ставили себе целью сделать невозможным жизнь в городе и тем заставить его капитулировать. В дальнейшем, когда стало ясно, что о капитуляции Ленинграда не может быть и речи и что для штурма его у немецкой армии не хватило сил, обстрелы Ленинграда были направлены на разрушение города и уничтожение его

населения. Долгое время обстрелы города были бессистемны, менялся только характер огня, стреляли то беглым огнем, ставя целью разрушение целых кварталов и массовое уничтожение жителей города, или вели редкий и методический огонь для терроризации населения. В последнее время обстрел города систематизировался. Преимущественно стали стрелять по утрам в 6—7 часов, затем днем в 17—18 часов и около 22 часов. Время это было выбрано не случайно. В эти часы поражаемость населения была наибольшей, так как жители города шли на работу, возвращались с работы, а к 22 часам собирались в квартирах.

С ноября—декабря (1943 года. — *С.Я.*) обстрелы стали вести ночью. Цель преследовалась все та же: как можно больше вызвать жертв среди гражданского населения, которое в этом случае застигалось обстрелом в сонном состоянии.

За все время моего пребывания в полку я ни от одного солдата или офицера не слышал ни одного слова сожаления или возмущения по поводу разрушений города и массового истребления гражданского населения.

Наоборот, каждый выстрел по городу обычно сопровождался выкриком, вроде:

— А ну еще в один дом трахнем!

— Привет большевикам!

— Эх, посмотреть бы, как рушится квартал!

— А ну-ка бегом в подвал!

— Парой большевиков меньше!

— Несколькими семьями меньше!

— Еще кучка трупов!

— А ну, давай фарш!

И т. д. и т. п.

Вопрос: Сколько ежедневно батареи полка выпускали снарядов по городу?

Ответ: В среднем в августе и сентябре 1943 г. каждая батарея 2-го дивизиона полка выпускала в день 90—100 снарядов по городу. С октября на батарею приходилось по 50—60 снарядов в день. Последнее время мое орудие давало в среднем 10—15 выстрелов в течение дня.

Вопрос: Боеприпасы, используемые для обстрела города, лимитировались?

Ответ: Нет. Для обстрела Ленинграда боеприпасы отпускались в неограниченном количестве. В батареях всегда имелся достаточный запас снарядов.

Вопрос: Сколько по вашим подсчетам 910-м полком в целом было выпущено снарядов по городу?

Ответ: Точно определить эту цифру я затрудняюсь, так как служу в полку только шесть месяцев. Однако в этой связи отмечу следующий факт. В день второй годовщины пребывания полка под Ленинградом полк получил поздравление от командующего 18-й армии фельдмаршала фон Кюхлера. Последний, отмечая заслуги полка, между прочим, указывал, что за два года полк выпустил по городу около 150 тысяч снарядов. Отмечу другой факт. За шесть месяцев службы в полку я из орудия, командиром которого являлся, произвел примерно 1500 выстрелов. Приведенные мною данные, по-моему, дают в какой-то мере представление об общем количестве снарядов, которое было выпущено батареями полка за весь период времени обстрела города».

Никаких сомнений солдаты не испытывали — есть приказ, есть квадрат обстрела, который бомбардировали, есть паек как плата за «работу», есть попытки сгладить ее монотонность веселыми возгласами. Позднее исследователи не раз обратят внимание на «технократичность» приемов умерщвления мирных жителей, практикуемых гитлеровцами, — ни эмоций, ни патетики, одни лишь деловые пояснения о том, как точно и быстро надо выполнять поставленные задачи. Характерный пример — «допрос военнопленного Р. Ловиена о его участии в обстрелах Ленинграда»:

«*Вопрос*: Какова предельная дальнобойность орудий 240-го артполка?

Ответ: Предельная дальнобойность 105-миллиметровых орудий 240-го артполка — 20 километров...

Вопрос: Расскажите о своей службе в 240-м артполку в качестве разведчика-наблюдателя.

Ответ: ...Наш дивизион имел восемь наблюдательных пунктов на переднем крае немецкой обороны... Во время артобстрелов Ленинграда разведчики-наблюдатели вели наблюдение за разрывами снарядов и со-

общали командиру наблюдательного подразделения обер-лейтенанту Флису результаты обстрела.

Вопрос: Каким образом осуществлялось наблюдение за результатами артобстрелов Ленинграда?

Ответ: Наблюдение за результатами артобстрелов Ленинграда командир нашего отделения унтер-офицер Людвиг вел с помощью бинокля, а мы, рядовые разведчики, наблюдали простым глазом.

В ясную погоду город был хорошо виден простым глазом (особенно хорошо была видна водонапорная башня), прицельного огня артбатареи не вели, поэтому нам приходилось наблюдать только за тем — попадали ли снаряды в здание или нет. Если снаряд попадал в здание, то виден был огонь разрыва снаряда и результат разрушения. В том случае, когда снаряд падал на улицу, то огня от разрыва снаряда и разрушений видно не было.

Я, как разведчик-наблюдатель, вел наблюдение за результатами артобстрела города в районе какой-то фабрики и прилегающих к ней улиц. Трубы этой фабрики, а также прилегающие к ней здания — фабричные и жилые — были хорошо видны, поэтому, когда снаряд попадал в дом, я сообщал командиру, что попадание хорошее, а в том случае, когда снаряд падал на улицу или на железную дорогу, которая проходила вблизи вышеупомянутой фабрики, то я сообщал, что попадание плохое.

Вопрос: В какое время суток вели огонь немецкие артбатареи по Ленинграду?

Ответ: Артбатареи 240-го артполка вели огонь по Ленинграду утром, примерно с 8 до 9 часов, днем с 11 до 12 часов и вечером наиболее интенсивно с 17 до 18 часов, а с 20 до 22 одиночными.

Вопрос: Почему именно это время было избрано для обстрелов Ленинграда?

Ответ: Основная задача, которую выполнял 240-й артполк, была — обстрел жилых зданий города с целью их разрушения и истребления путем обстрелов жителей Ленинграда, поэтому немецкие артбатареи вели огонь в то время суток, когда на улицах города было наибольшее скопление жителей. В частности, утром в

указанное время жители города шли на работу, днем в 11—12 часов в городе было также большое оживление, а вечером ленинградцы шли с работы, и, таким образом, большинство снарядов попадало в цель, поражая людей, находящихся на улицах города.

Немецкому командованию, а также и нам, артиллеристам-наблюдателям, было хорошо известно, что с 20 до 22 часов в Ленинград прибывают поезда, поэтому в это время мы обстреливали железнодорожную линию в районе прибытия поездов.

Вопрос: Как часто вели огонь артбатареи 240-го артполка по городу Ленинграду?

Ответ: Артбатареи вели огонь по Ленинграду ежедневно, но иногда были перерывы 2—3 дня. Обстрел происходил в указанное время, причем иногда несколько дней обстрел происходил только утром, а затем только днем или вечером, а в хорошую погоду город обстреливался и утром, и днем, и вечером.

В среднем каждое орудие нашей батареи давало до 20 выстрелов в сутки, а иногда наш полк в целом расходовал при обстреле Ленинграда до 500 снарядов в день»[15].

Обстрелы в сентябре—декабре 1941 года совершались почти ежедневно. Начались они 4 сентября 1941 года, стреляли из 240-миллиметровых пушек, стоявших в окрестностях Тосно. Первые три дня бомбардировок стоили жизни 53 человекам, 101 получили ранения. Объявлять об обстрелах по радио стали только с 29 сентября, и то сначала лишь для жителей Октябрьского района. За период с 4 сентября по 20 ноября 1941 года город подвергался массированным обстрелам 272 раза (в целом около 430 часов). Всего из 872 дней блокады Ленинград обстреливался из пушек в течение 611 дней. Последний обстрел наблюдался 22 января 1944 года[16]. В сентябре—декабре 1941 года от артобстрелов погиб 681 человек, были ранены 2269 человек. Наибольшее количество жертв составляли люди, попавшие под обстрел на улицах (395 человек), на предприятиях погибли 218 человек. В январе—марте 1942 года бомбежки из орудий стали причиной смерти 519 человек, с апреля по декабрь — 595 человек. В 1943 году во время

обстрела погибли 1410 блокадников, из них на улице 788 человек. Число погибших возрастало и потому, что ориентиром для ударов артиллерии служили пожары, тушение которых начиналось еще до окончания обстрелов. Среди находившихся в бомбоубежищах жертв, как правило, не было[17].

«Земля гудела, как молебен / Об отвращеньи бомбы воющей» — строки из знаменитого стихотворения Б. Пастернака хорошо передают звуковой фон авиационных и артиллерийских ударов по городу. Первое, что ощущали люди, — покачивание и даже «подпрыгивание» домов. Пол вздрагивал, стены шатались, земля дрожала — «удар ощущается прежде всего ногами»[18]. Слышался глухой треск, здание иногда наклонялось, оседало. «Меня начало не то чтобы трясти, а дергать», — вспоминала Т. Булах[19].

Обычно крупными фугасными бомбами разрушались полностью только двух- и трехэтажные дома. Если дом был пятиэтажным, то обрушивалась только одна его секция: от пятого до третьего этажа. Впрочем, всё зависело от состояния здания — так, в конце сентября 1941 года бомбой был «пробит насквозь» шестиэтажный Дом текстильщиков[20]. Тяжелая бомба поразила и большой пятиэтажный дом на углу канала Грибоедова и Невского проспекта, «вырвав все этажи снизу доверху трубой диаметром метров в 10»[21].

Накренившиеся после попадания бомбы остовы зданий обрушивались второй взрывной волной, даже в том случае, если их не задевали снаряды. Взрывная волна достигала такой силы, что вырывала железные ворота в арках домов. В общежитии ЛФЭИ 250-килограммовой бомбой были сломаны перегородки комнат на всех пяти этажах[22]. Бомбы выбивали стены домов и обнажали их внутренние помещения. «В разрушенных этажах видно: уцелевший уголок чьей-то спальни — кровать стоит простая железная, рядом с ней зеркало на стене и пиджак висит», — вспоминал В. В. Бианки[23].

Трещины появлялись на многих домах, подвергшихся обстрелу. Если расстояние между домами было небольшим, взрывной волной могло «перенести» вещи в один из них. Ф. М. Никитин удивился, обнаружив в сво-

ей комнате после бомбежки чужие вещи — железные болты, занавески, — и вспомнил, что много лет назад «пожилая женщина напротив пристраивала эти занавески к своему окну»[24].

После обстрелов замечали, как покосились двери и оказывались выбитыми оконные рамы в домах. «Куски стекол тысячами мелких брызг ударили в стены. С потолка посыпалась штукатурка... В комнату ворвались клубы дыма и едкой кирпичной пыли», — описывал приметы бомбежек А. Коровин. Пытаясь спасти ставшие редкостью стекла, их заклеивали бумагой. «Ох, эти бумажки, — записывала в дневнике 9 сентября 1941 года Е. Васютина. — В самом начале войны ими пестрели все окна в городе. Один наклеивал их кое-как... другие — аккуратненько, ромбами, квадратиками. В одном окне я даже видела надпись "Коля", обрамленную расходящимися бумажными лучами»[25]. К весне 1942 года эти пересохшие, грязные бумажки, усеявшие все улицы, стали анахронизмом — лопнувших и разбитых стекол они удержать не могли[26].

Одной из попыток уменьшить число жертв было предупреждение блокадников о том, какая из сторон улиц являлась наиболее опасной. Согласно свидетельству очень точного в описаниях ленинградского быта А. Н. Болдырева, эти надписи — «белой краской по синему фону», которые «выводили по жестяному трафарету девушки МПВО», — стали появляться на стенах домов только в ноябре 1943 года, за несколько недель до полного снятия блокады[27]. Отметим в связи с этим, что в октябре 1943 года наблюдались самые варварские, беспощадные многочасовые обстрелы города. Во многих дневниках 1941—1942 годов сведения о таких надписях на стенах города отсутствуют. Среди блокадных фотографий, сделанных Б. Кудояровым, есть один снимок 1942 года, где изображена эта надпись — на площади перед католической церковью на Невском проспекте[28]. Неясно, на чем основана датировка, — в альбоме Б. Кудоярова есть и фотографии, время создания которых не смогли точно установить: они имеют дату: «1941—1944 гг.». Стенная надпись, воспроизведенная на фотографии, отличается от той, что приведена А. Н. Бол-

дыревым. Вместо слов «во время обстрела» стоит «при артобстреле» — сразу возникает вопрос о том, сколько было трафаретов. Академик С. И. Вавилов, побывавший в Ленинграде после снятия блокады, в дневнике записывает еще один текст, который отличается от двух, приведенных выше: «При артобстреле эта сторона наиболее безопасна»[29]. То, что это не описка автора дневника, свидетельствует его оговорка: надпись «не в ладу с грамотой». Других документов, подтверждающих его слова, нет, но представляется логичным, когда растерянному, обязанному в доли секунды принять решение человеку подсказывают не только то место, куда он не должен заходить, но и то, где он может спастись.

Обязанность помогать людям, пострадавшим во время обстрелов, прежде всего, возлагалась на отряды МПВО. Труд их являлся опасным и тяжелым. Конца обстрелов дожидаться было нельзя: длились они порой несколько часов, а помощь требовалось оказать немедленно. Приходилось уносить пострадавших среди бомбовых разрывов. Оказывали помощь и дружинники МПВО, работавшие на предприятиях и в учреждениях, если видели рядом кого-то из пострадавших. По данным официальных отчетов, с сентября по декабрь 1941 года отрядам МПВО удалось вызволить из-под завалов домов 3269 человек, медицинскую помощь получили 16 тысяч человек[30].

В «смертное время» работа спасательных команд МПВО значительно ухудшилась. Чтобы поддерживать нелегкий труд людей, буквально на плечах выносивших раненых из очагов поражения, иждивенческой карточки было мало, а снабдить всех рабочими карточками не имелось возможности. Дежурства дружинников стали проводиться реже, а их численность уменьшилась. Не все наблюдательные посты выставлялись — это оправдывалось сокращением числа бомбардировок в первую блокадную зиму. То, что трупы умерших от голода неделями не убирали с улиц (а этим и должно было заниматься МПВО), говорило о многом. «Оживление» деятельности МПВО началось с лета 1942 года отчасти и благодаря пополнению его команд мобилизованными из других районов СССР.

Число жертв обстрелов было бы больше, если бы на помощь попавшим в беду горожанам не спешили другие блокадники, и родные, и незнакомые. Сколько раз в блокадных документах описывается одна и та же сцена — ребенок, закрытый от осколков телами родных[31]. Какой мукой было переносить тяжелораненых, стонущих больных в убежища, и не один раз в день вытерпели медсестры эту муку.

Во время обстрелов от горожан требовали укрыться в убежищах, «щелях», подворотнях, арках, подвалах и, наконец, за выступами домов, если вблизи не находилось более безопасного места. Тем, кто не успел дойти до домовых убежищ, рекомендовали прятаться в нижних этажах — надеялись, что бомба не сможет пройти через крышу до фундамента. На предприятиях продолжали трудиться рабочие только тех цехов, которые нельзя было остановить. Это, впрочем, не спасало их от простоев, поскольку не все «сменщики» могли прибыть на фабрики и заводы вовремя, ожидая окончания обстрелов в укрытиях[32]. Не могли оставить свое место и медсестры в госпиталях и больницах в тех случаях, если бы даже один больной «не мог покинуть свою койку»[33].

Каждый, оказавшийся под бомбами, выбирал собственную стратегию защиты, определенную и житейским опытом, и конкретной ситуацией. Считались безопасными лестницы, поскольку видели, что они оставались целыми в полностью разрушенных домах. В парадных укрывались не только потому, что они оценивались как нечто более прочное, «солидное», массивное, чем квартиры, но и вследствие внезапности тревоги — здесь быстрее всего можно было укрыться тем, кто оказался в минуту опасности на улицах. Надеялись также, что от ударов бомб могут спастись в коридорах и перегородка комнаты станет преградой для осколков фугасных снарядов. И. И. Еремеев вспоминал, что его сосед во время бомбежки «ходил взад-вперед по коридору»[34] — может быть, не только от волнения, но и считая, что смена места сделает его неуязвимым для удара. Е. Козлова, прячась от бомб, укрылась в сарае, что стало для нее не только опасным, но и неприятным испытанием, — «там оказалось всё обгажено»[35]. Е. В. Гуменюк

во время тревоги «не знала, что делать, и спряталась в ящик, куда дворники убирали принадлежности»[36].

О налетах и началах обстрела многие узнавали по звуку метронома — он начал работать 26 июня 1941 года. Во время тревог мерные удары метронома учащались, при отбое — замедлялись. После отбоя передавали по радио музыку, обычно «красивую». Родился даже блокадный анекдот:

«— Кого ты больше любишь?

— Маму, папу и отбой»[37].

Люди по-разному вели себя, внезапно оказавшись под бомбами. Движения их становились импульсивными, порой нерасчетливыми и непродуманными, — времени на то, чтобы осмыслить происходящее и быстро сделать правильный выбор, не оставалось. Бежали, инстинктивно следуя за другими людьми, меняли движение, чувствуя приближение разрывов, метались, спотыкались о тела раненых, боясь попасть в воронки. Вот описание девочки Жени Козловой, застигнутой вместе с матерью бомбами у Сытного рынка: «Только мы пришли... как вдруг обстрел. Снаряды рвутся близко. Сам выстрел оглушительный. На рынке поднялась паника, все бросились к воротам, началась давка. В это время открыли еще двери, мы быстро пошли туда. Вышли из рынка, идем, но вдруг выстрелы, мы прижались к стене биржи (имеется в виду здание Биржи труда, отделявшее Сытный рынок от проспекта М. Горького. — *С.Я.*) — разрыв где-то близко. Маму контузило волной в бок, но не очень сильно, так что мы продолжали бежать дальше. И вот мы у трамвайной линии, на линии стоит трамвай и в нем человек 5—8 народу. Только мы хотели бежать дальше, как вдруг опять выстрел, мы прижались к стене биржи у входа. Сзади меня еще прижались люди. Потом присела пожилая женщина и заслонила меня и маму. Только женщина поднялась, чтобы удобнее лечь, — разрыв. У меня в глазах потемнело, кажется, я потеряла сознание на несколько секунд. Сердце сжалось, в ушах звенело. В мозгу неясно промелькнула мысль: “Неужели ранена?!” Всё затихло. Поднимаю голову. Вижу: мама сидит бледная, рукой держится за грудь, а рука вся в крови. Вскакиваю — у ног лежит женщина, та, что заслонила нас, наша

спасительница, живот у нее разворочен, внутренности выпали, течет алая кровь. Я взглянула на ее лицо — оно желтое, на глазах очки, стекла целы, она мертва. Если бы не она, нам с мамой сорвало бы головы, это она приподнялась, и вся волна ударила ее в живот, а на маму попала уже ослабевшая. Маму ранило в палец и контузило в грудь. Полушубок у нее весь в крови этой женщины. Я в ужасе осматриваюсь по сторонам — всюду валяются десятки трупов, без ног, рук, голов и т. д. Такая же участь ожидала бы и нас, если бы мы были на дороге. Снаряд попал в трамвай. Мама уже не может бежать, она идет, держась за грудь. Я поддерживаю ее, сколько могу. И вот мы опять на том месте, где контузило маму в первый раз. Выстрел — мы прижались к стене. Разрыв — где-то близко, с громким стуком вылетают рамы и разбиваются стекла из дома напротив. Поднимаю голову: шатаясь, идет военный, по щеке течет алая кровь, он ранен в висок. Говорю маме: "Смотри — он ранен". "Но что я могу сделать?" — отвечает она. Как-то неприятно сжалось у меня сердце: кругом раненые люди — и никто не оказывает им помощь. Опять выстрел — грохот разрыва — снаряд попал в соседний дом. Рушатся второй и третий этажи. Выстрелы еще и еще. От разрывов сотрясается воздух. Я дала маме носовой платок — она завернула вспухший, синий палец. Сама того не сознавая, слежу за военным. Он шел, остановился, сел на панель, руками схватился за голову. Сидит. Вдруг оглушительный выстрел, свист снаряда, я плотнее прижимаюсь к маме, в мозгу застучало: смерть, смерть сейчас. Ужасный разрыв сотрясает воздух. Поднимаю голову — света не видно, летят: земля, снег, кирпичи, сорваны провода. Это снаряд попал в биржу, в то место, где ранило маму. Значит, раненых и убитых завалило. Народ кидается прочь. Идем и мы. Вот труп — перешагиваю через него. По обеим сторонам дороги лежат трупы, раненые стонут, у забора лежит бледная мать, грудью защищая двух перепуганных ребятишек. Ноги у нее оторваны по щиколотки. На снегу, в сугробах, везде валяются кишки, кожа, клочки волос, мозги, стоят лужи крови. Обстрел затихает. Мы идем, вижу — труп мужчины, он без головы, руки раскинуты. Рядом с ним женщина: она вся в крови, ноги

оторваны, тело все сплющено, разбито. Перешагиваю и через этих; изо всех углов слышатся стоны и просьбы раненых. Я веду маму, она шатается, платок уже весь в крови, палец ее замерз. Грудь и бок ужасно болят... На груди были пуговицы, очень крепкие, из хрусталя, они раскрошены. Вот какой силы волна. Грудь в синяках и ссадинах. Синяки вспухли. На боку опухоль»[38].

Когда читаешь описания сцен обстрела (вернее сказать, расстрела) горожан, кажется, что прикасаешься к незаживающим ранам. «Я увидел двух женщин, которые стояли на коленях, уткнувшись носами в землю... Навстречу бежал мне старый гардеробщик с палочкой, от уха его струилась кровь и стекала на пальто»; «...снаряд пробил крышу моторного вагона и разорвался внутри... Несколько пассажиров так и остались сидеть на скамейках, мертвые» — на всех этих рассказах лежит печать нескончаемой и безысходной боли[39].

Справедливо говорить о стойкости блокадников во время бомбежки, но, как признавал В. Ф. Чекризов, «на население все же это действует». А. П. Остроумовой-Лебедевой запомнилась «очень слабенькая, тощенькая старушка», которая вздрагивала и крестилась при каждом взрыве. «Ужас свой описать не могу», — отмечала в дневнике ощущения от первых бомбежек в сентябре 1941 года Т. Булах[40].

Искалеченным, окровавленным, испытывавшим невероятные муки раненым людям было не до пафосных слов. «Мамочка оказалась под обломками разрушенного дома, — вспоминала С. Д. Мухина. — Я стала кричать, звать маму, услышав ее голос из-под обломков, я откопала ее... Говорю ей: “Мамочка, пошли домой”, а она в ответ: “Я не могу, доченька, у меня ножек нет”. Прибежал папа, мы где-то раздобыли носилки, и вдвоем понесли маму в больницу. Я видела, как она страдает, она лежала на брезентовых носилках в луже крови, которая с каждой минутой становилась все больше»[41].

Падали, оглядываясь на других, просили, требовали, умоляли. «Одна девочка, — рассказывала Ольга Федоровна Берггольц, — ...бегала вдоль тротуара... и переворачивала упавших ничком, с криком: “Мама! Мама!”». Надеялись, что не бросят их в кромешном аду: «Моло-

дая женщина с раздробленным бедром — ...на носилках в машине — непрерывно повторяет: "Возьмите меня"»; «откопали 10 л[етнюю] Галю. Девочка возбуждена, непрерывно говорила: "Мы чай пили. ...вдруг Гитлер бросил бомбу в нашу комнату. Мне стало больно. Кричу... вытащи меня"»[42].

Главным средством спасения от бомб считались убежища. Их готовили и проверяли еще до начала войны, и, как, выяснилось, делали это зачастую плохо, игнорируя многочисленные инструкции. Т. Булах рассказывала, как приехав на Финляндский вокзал, она оказалась в зоне обстрела: «Милиционеры встретили нас криками: "В убежище, в убежище, нечего оглядываться". Убежища в вокзале нет. Надо полкилометра бежать к парадным Большого дома»[43]. Разумеется, это редкий случай, но заметим, что он произошел во время одного из первых налетов на Ленинград. Плоды беспечности и, как говорили тогда, «очковтирательства» в этом эпизоде проявились очень ярко. Трудно говорить о надежности укрытий, если оставили без убежища вокзал, хотя можно было догадаться, что он и станет главной целью ударов противника. Рассказ Т. Булах не единственное свидетельство о том, в какой «готовности» находились бомбоубежища в первые дни налетов. Об этом же сообщалось и в дневниковой записи Э. Голлербаха, датированной 8 сентября 1941 года: «В полном мраке и тесноте стояли, прижавшись друг к другу, испуганные, растерявшиеся люди. ...Земля и стены домов дрожали... Женщины переругивались, охали, плакали»[44].

«Самыми опасными местами во время налета оказались наши бомбоубежища: упав поблизости от них, бомба заживо погребала всех собравшихся; там людей заливало водой из лопнувших труб водопровода раньше, чем их успевали раскапывать», — рассказывал В. В. Бианки. Во многих бомбоубежищах в 1941—1942 годах было холодно, сыро, темно — «спали... одетыми, на отсыревших матрацах». Вода замерзала и превращалась в лед, который удалось сколоть и вынести только весной 1942 года. В некоторых домах убежища были или закрыты из-за непригодности, или отсутствовали вовсе. Часть из них использовали как места сбора тру-

пов. «Как мы не готовы к бомбежкам... До ужаса сделано безграмотно и исключительно небрежно», — записал в дневнике в конце сентября 1941 года инженер В. Кулябко, узнав, что во время обстрела Гостиного Двора погибли около ста человек[45].

Состояние убежищ стало улучшаться начиная с весны 1942 года и, конечно, зависело от того, насколько быстро удавалось восстановить порядок в жилищно-коммунальном хозяйстве. Выше приводились официальные статистические данные о том, что в убежищах погибало в год всего несколько человек. Скорее всего, их составители манипулировали цифрами. За гибель от бомб людей на улицах и в домах они ответственности не несли, зато недоделки убежищ, приведшие к жертвам, могли стать причиной жестких наказаний. Предпочтительнее поэтому было ограничиться формальным ответом, подчеркнув, что от осколков в укрытиях никто не пострадал, и не затрагивая вопрос о том, сколько погибало под завалами.

Картина была бы неполной, если бы мы не рассказали, в каких условиях переносили обстрелы руководители города в Смольном. Жить в убежище, как в хлеву, они не собирались. Спасались они в комфортабельном бункере. Это был другой мир. Там не было грязи, не было крыс, не был залит водой пол и не имелось поломанных стульев, на которых должны были сидеть часами простые ленинградцы. Звука бомб там не слышали. Двери бункера были непроницаемыми, и не надо было запасаться водой и лучинами — в помещении имелись автономные средства жизнеобеспечения. В таком бункере можно было находиться «без ущерба для здоровья» двое суток[46]. Могут возразить, что речь идет о центре управления Ленинградом, но ведь и другие службы тянулись за «верхами». И прокуратура собиралась строить для себя «комфортабельное бомбоубежище»[47], да и иные руководители, масштабом помельче, могли с полным правом считать, что им трудно обеспечивать спасение горожан, сидя на сломанном стуле и упираясь ногами в сырой пол.

В бомбоубежища охотнее всего шли в сентябре—октябре 1941 года. Тогда еще не привыкли к обстрелам и

не были обессилены голодом. Позднее приходилось загонять горожан в укрытия буквально силой, под угрозой штрафов. Они были немалыми — 25 рублей за первое нарушение и три тысячи — за повторное (астрономическая сумма), но и это не помогало: «Мы от милиции убегали»[48]. Сообщая, что во время обстрелов «все обходят на почтительном расстоянии милиционера», Е. Васютина с сожалением отмечала, что их трудно было миновать при переходе мостов. Впрочем, и тогда находили выход: «Наши заводские девушки научили меня. Они просят любого военного проводить: идут через мост с ним под ручку, милиция косится, но не привязывается»[49].

Пережив не одну бомбежку, верили, что могут спастись и во время следующего обстрела. Жалко было терять место в очереди у магазинов (их обязательно закрывали во время тревог), вызывало досаду то, что приходилось часами сидеть в подвале, среди плача, криков и перебранок в то время, когда имелись более неотложные дела. Идти приходилось по скользкой наледи лестниц и дворов, через нечистоты и даже трупы — и ведь это приходилось делать не один раз в день, и ждать окончания тревоги нужно было не один час.

Средством спасения от обстрелов и налетов предстояло стать и так называемым «щелям», иными словами, траншеям. Имелись и закрытые «щели», похожие на землянки, с запиравшейся входной дверью, но таковых было меньше. Рыть «щели» начали еще до блокирования города и сделали немало. Если верить официальным отчетам; было подготовлено свыше 136 тыс. метров земляных убежищ, где могли уместиться 263 тысячи человек[50]. «Щелями» пользовались в тех случаях, когда каменное бомбоубежище находилось далеко, а укрываться следовало немедленно, — не случайно они возникали на ничем не защищенных, простреливаемых, пустынных территориях, и особенно на широких площадях, в парках и скверах. «Щелями», например, были изрыты площадь перед Казанским собором и Площадь жертв революции, Александровский парк на Петроградской стороне. «Щель», как и любая траншея или окоп, не всегда спасала от взрывной волны и поражения осколками фугасов, а кроме того, она использо-

валась и в других целях. Так, на Площади жертв революции в сентябре 1941 года в «щелях» ютились беженцы, причем рядом находились их повозки, коровы, овцы[51]. «Щели» использовали как помойки и уборные, а в первую блокадную зиму и как место, куда укладывали безо всяких разрешений тела умерших.

О том, как жили в бомбоубежищах, написано немало. К концу августа 1941 года в городе имелось 4600 бомбоубежищ. В основном они находились в подвалах и могли вместить около 800 тысяч человек[52]. Трудно сказать, так ли это было на самом деле. Официальные данные о мерах по защите горожан служили для «ответственных работников» и средством защиты себя от обвинения в нерадивости — кто пойдет проверять каждый подвал?

В убежища стекались люди с посудой и одеждой, причем некоторые «навьючивали» на себя несколько платьев, брали чемоданы, мешки с едой, «всякую требуху», — возможно, боялись не только того, что наиболее ценное имущество погибнет под бомбами и в пламени пожаров, но и воровства в опустевших квартирах. Приходили даже с ночными горшками — никто не знал, сколько времени придется здесь находиться. Вероятно, не во всех убежищах имелись скамьи, стулья и заменявшие их железные кровати. А. П. Остроумова-Лебедева сетовала на то, как «трудно найти место, чтобы сесть», а ее племянник, «зная это, захватил для меня мой складной для работы стул»[53].

Поведение людей, прятавшихся в подвалах, нередко бывало «нервным», особенно когда слышали звук приближающихся взрывов. «Некоторые проявили крайнюю озлобленность, завязали перебранку по ничтожным поводам», — вспоминал Э. Голлербах[54]. Постоянно слышался крик испуганных детей, плакавших из-за голода, холода и страха. Возникали стычки и споры, ибо каждый хотел занять то место, где было теплее, суше и светлее, хотел сидеть пусть и на сломанном, но стуле, а не на полу, — упрекать за это несчастных людей, загнанных под землю, никто не имеет права. Конечно, было бы преувеличением рассматривать убежища только как очаг склок. Как бы ни было тяжело, многие блокадники стремились держаться с достоинством, не подда-

ваться панике, не вымещать гнев на таких же, как и они, попавших в беду горожанах. Здесь сталкивались люди разных профессий, возрастов, культур — они и вели себя по-разному, не сплачиваясь в охваченную животными страстями толпу, в чем-то удерживая самых нестойких — увещеванием, неприязненным взглядом, личным примером.

«В Ленинграде неписаное правило: сидящих в бомбоубежищах никакими слухами не волновать», — отмечала в дневнике 15 октября 1941 года К. Ползикова-Рубец. Многие спали, кто-то играл в домино, кто-то, пытаясь отвлечь внимание детей, читал им сказки. «Подвальный» быт отражал и повседневную жизнь людей с тревогами и обидами и одновременно представлялся фантасмагорическим, в чем-то нереальным зрелищем. Л. В. Шапориной вид ее знакомых, читавших в убежище французские книги, напомнил сцены тюремной жизни аристократов, ожидавших отправки на гильотину. «Передавали друг другу рецепты немыслимых в другое время кушаний, рассказывали анекдоты из жизни фугасных бомб», — сообщала Н. В. Павлова о нравах в убежищах в письме к В. В. Бианки, отправленном 1 января 1942 года[55]. Именно в убежищах и возникали рассказы о том, что ели до начала войны и что будут есть после ее окончания, рассказы живые, яркие, страстные, увлекавшие всех — их ничем нельзя было остановить.

Постепенно, по мере усиления обстрелов бомбоубежища становились постоянным местом проживания разных категорий людей. Здесь селили детей, за которыми некому было присмотреть во время бомбежек, пожилых и истощенных горожан, не успевавших после объявления тревоги быстро укрыться в подвале. «Сплошь женщины и дети. Всюду этакими кустами составлены в два ряда стулья и в них (не на, а именно в них) живут семьями, как в огромном китайском общежитии», — описывал бомбоубежище в Доме Красной армии 5 декабря 1941 года Ф. М. Никитин. Такие же обширные «семейные» убежища находились в подвалах Эрмитажа, Академического театра им. А. С. Пушкина — там подолгу жили артисты, композиторы, искусствоведы. Убежища превращались в филиалы госпиталей,

поскольку частая переноска раненых во время тревог причиняла мучения и им самим, и тем, кто их опекал. Здесь проводились врачебные обходы, сюда приносили пищу для пациентов[56].

Жизнь в таких общежитиях являлась хотя и безопасной, но тягостной. Отделялись ютившиеся здесь семьи нередко лишь занавесками, слышали стоны и причитания других «соседей». Привычный домашний быт отсутствовал. Здесь было нередко темно и мрачно, бегали крысы, не имелось окон. Не удавалось вымыться, неприятным был и запах, который ощущался всюду: некоторые жильцы были лежачими больными, не могли следить за собой, а помочь им своевременно не всегда могли.

Улучшить положение в убежищах стало возможным только к середине 1942 года, правда, не везде. Массовая эвакуация и повышение пайков сыграли при этом значительную роль. Весенние субботники 1942 года предполагали, в числе прочего, и очистку помещений от ненужного «хлама» и сломанной мебели. Улучшились к этому времени теплоснабжение и водоснабжение в городе, удалось в значительной мере расселить переполненные убежища-общежития. О кардинальных изменениях речи, конечно, не шло, но быт городских укрытий стал в большей степени походить на «человеческий» — разумеется, по блокадным меркам. Но не это являлось главным. Основная причина того, что в убежищах стало просторнее, ни для кого не была тайной: сотни тысяч людей погибли, а выжившие не имели сил и желания прятаться от бомб.

Глава третья
Преступность

В любом осажденном городе на первом плане оказываются такие преступления, как воровство, грабеж, мародерство и спекуляция. Целью действий преступников были хлеб и другие продукты, ценности, продовольственные карточки. Росту преступлений способствовало и то, что жертвы нападавших не могли сопротивляться,

будучи истощенными и бессильными, а положение в городе, особенно в «смертное время», делало правонарушителями тех, кто не привлекался ранее к судебной ответственности. Преступниками становились люди, не вытерпевшие мук голода. Отделить их от профессиональных грабителей-рецидивистов можно, только детально изучив следственные дела, но многие из них недоступны.

Изучая известные нам подробности грабежей, мы, однако, способны выделить те эпизоды, где отчетливо видны организация, предварительная подготовка и умелость преступников, и те, в которых явно чувствуется налет стихийности. В докладной записке начальника управления продторгом Ленинграда 15 января 1942 года это прослеживается весьма явно:

«В ночь с 4 на 5 января 1942 г. путем проникновения через подвал и взлома стены в кладовую магазина № 22 Василеостровского райпищеторга, помещающегося по пр. Железнякова, д. 13, преступниками было похищено по предварительным подсчетам; песку сахарного — полмешка, муки ржаной — 1 мешок, изюма — 2 ящика и какао — 34 коробки.

7 января 1942 г. в 17 час. при разгрузке хлеба с автомашины в магазине № 97 Красногвардейского райпищеторга, помещающегося: Объездное шоссе, д. 66, группой неизвестных злоумышленников было произведено организованное нападение на грузчиков, носивших в магазин хлеб. Вырвав ящики и проколов резину у машины, злоумышленники похитили 23 буханки»[1].

Другие сцены, кончавшиеся разграблением магазинов, возникали вследствие перепалки между толпой голодных блокадников и работниками булочных. Отметим, что в первой декаде января 1942 года выдачи хлеба почти прекратились ввиду отсутствия его на складах. Повышение «карточных» норм 25 декабря 1941 года не было продуманным, надеялись, что подвезут хлеб в достаточном количестве с Ладоги, но этого не произошло. Выходившие к публике директора пытались объяснить, что хлеба всем не хватит, что надо ждать завтрашнего дня, — и оголодавшие, окоченевшие горожане, стоявшие не один час в очереди, не выдерживали. Начинались

своеобразные «хлебные бунты», с присущей им хаотичностью:

«...Кучкой хулиганов был сломан (в магазине № 97 Красногвардейского райпищеторга. — *С. Я.*) прилавок, а в работников прилавка бросали кирпичами... 8 января 1942 г. в магазине № 53 Ленинского райпищеторга, Лифляндская ул., д. 18, разграблен хлебный отдел и похищен хлеб.

9 января 1942 г. в магазине № 18 Ленинского РПТ, ул. Шкапина, д 17, разграблен хлебный отдел.

10 января 1942 г. в магазине № 12 Ленинского РПТ, Международный пр., д. 23, публика ворвалась в кладовую и начала расхватывать хлеб.

10 января 1942 г. в магазине № 64 Ленинского РПТ, ул. Розенштейна, д. 37, разграблен хлебный отдел.

<...> 12 января 1942 г. в 8 час. утра был разгромлен толпой народа магазин № 8 Приморского райпищеторга, помещающийся по пр. К. Либкнехта, д. 16, украдено 50 кг хлеба, часть хлеба потоптана ногами. С помощью наряда 34-го отделения ЛГМ и сотрудников магазина задержаны 24 человека»[2].

Примечательно, что такие же «бунты» происходили и во время катастрофы 27—29 января 1942 года, когда хлеб в Ленинграде почти не выдавался. «...В городе творится страшное. У Строганова моста народ разграбил воз с хлебом. На Большом проспекте в магазине народ бросился на полки и разграбил весь хлеб», — отмечал 28 января 1942 года в дневнике И. И. Жилинский. О том же мы можем узнать из дневниковой записи А. И. Винокурова, помеченной 27 января 1942 года. Нападение на двух женщин, перевозивших продукты, организовали «ремесленники», но разграбили они хлеб «с помощью обрадовавшейся случаю публике». Ради объективности, однако, отметим и записки Д. В. Павлова, ответственного за снабжение продовольствием Ленинграда. По его мнению, не было ни одного случая разграбления магазинов[3].

Более трагичный исход имели нападения на отдельных людей с целью завладения их продуктами или карточками. Выбирали чаще всего слабых, шатающихся стариков или беззащитных детей, которые не могли

постоять за себя. Но жертвами преступников мог стать любой человек. Нападали на улицах, глухих и темных, выслеживали, в каких домах они живут. Ограбления особенно участились все в том же январе 1942 года. Не исчезли они и значительно позднее, даже после эвакуации, существенного повышения норм пайка и пополнения рядов милиции более крепкими и здоровыми сотрудниками. Так, только 2 ноября 1942 года в Мариинской больнице были госпитализированы трое раненых, у которых отняли на лестнице их карточки[4].

Отбирали хлеб и в булочных, пользуясь замешательством «очередников». Перед выходом из булочных они старались прятать хлеб поглубже, но могли выхватить из их рук довесок, который многие хотели съесть здесь, на улице, тайком от семьи. Нередко хлеб хватали с весов, когда покупатель прятал карточки. В пакеты и сумки хлеб тоже было класть небезопасно: могли выхватить и их.

Давно было замечено, что большинство из тех, кто отнимал хлеб в булочных, являлись дистрофичными и шатающимися. Уйти далеко, отняв продукты, они не могли, да, наверное, и сами на это не надеялись. «Как-то зашел я в булочную. Одной женщине вешали хлеб. Другая выхватила у нее этот хлеб, отвернулась в угол и ест. Пострадавшая давай ее бить, та никак не реагирует, но быстро ест хлеб»[5] — эта запись, сделанная М. И. Скворцовым, находит подтверждения во многих других блокадных документах.

Среди тех, кто ютился у булочных и отнимал хлеб, нередко видели и детей. Шли они сюда часто за милостыней, но не могли вытерпеть мук голода. Они тоже понимали, что им не уйти, иногда даже сами ложились на пол, ожидая расправы. Главным было как можно больше сжевать хлеба, пока его не успели выдернуть из окровавленного рта, — били их жестоко, даже ногами. Одна из девочек-подростков рассказывала позднее, как решила добыть себе чужой хлеб: «Я, как и все, обессилела окончательно... шатались зубы... Ноги опухли. Я рассказала сестре Галине: “Пойдем в булочную и отнимем хлеб у какой-нибудь старушки, все равно они скоро умрут”. Сестра согласилась. Пришли мы в булочную, при-

жались к теплой печке... Как хорошо согрелись. Высматриваем самую старую бабулю. А бедные старушки, дойдя до прилавка... тут же съедали паек. А некоторые трясущимися руками убирали хлеб на дно "своей кошелки" и прижимали к груди... Мы окончательно согрелись, посмотрели на этих просвечивающихся старушек, на их выпученные глаза и раскрытые рты, и нам стало жалко их. ...Мы побрели домой»[6].

Рассказ стилизован и самого главного мы, конечно, не узнаем — сцепления мыслей, ощущений, сомнений. Но возникает вопрос — зачем это записано? Чтобы отметить свое милосердие? Но это странный способ подчеркнуть его, есть ведь и другие средства, более традиционные. Вероятно, это след столь эмоционального переживания, что даже в смягченном виде не рассказать о нем не могли. Она никого ограбить не могла, и потому эта история передана с большей долей откровенности, чем что-то постыдное, о чем следовало молчать и десятилетия спустя. Но обратим внимание, прежде всего, на простоту поступка. Моральные рефлексии обнаружились позднее. Первый же шаг свободен от них. Это в тишине опустевшей комнаты легко решиться на безнравственный поступок. Но когда человек появляется среди других людей, кажется, что он словно очнулся. «Согревание» уравновешивает в какой-то мере другие порывы. Обстоятельства, делающие исход действия сомнительным, оказываются особенно наглядными, решимость, смелость неизбежно угасают. Этого, пусть и слабого морального и житейского ориентира нет и не может быть у одичавшего голодного ребенка, в звериной жажде есть не принимающего никаких доводов, готового на побои и унижения.

Попытки охранять магазины с помощью милиции и вооруженных патрулей являлись, как правило, недолговечными. Предпринимались они обычно в то время, когда грабежи особенно учащались. В январе 1942 года за погромы в магазинах и нападения на их работников, перевозивших продукты, были задержаны 325 человек. За бандитизм, нападения на граждан (в том числе имевшие и летальный исход) с целью завладения их продуктами и карточками осуждены в первой половине 1942

года 1216 человек. После января 1942 года число погромов и нападений на людей резко сократилось, стихийные «хлебные бунты» не наблюдались, но это было не только результатом действий правоохранительных органов, но и упорядочения выдачи пайков, равно как и увеличения их норм.

Поддержание правопорядка в городе осложнялось наличием здесь значительного числа «уголовного элемента». Его не удалось, как планировалось, полностью выселить летом 1941 года, а потом это сделать было еще труднее вследствие блокирования Ленинграда. Регистрация, учет и задержание рецидивистов и уголовников проводились плохо. Из 268 преступников, которых должны были задержать в 1942 году, были арестованы шесть человек. «Относительная "вольница" в круглосуточных передвижениях по городу, бесконтрольном проживании в нем, уклонении от повинностей находившихся там беженцев, одиночных военнослужащих, подростков, прикомандированных лиц» — таковы были, по мнению изучавшего деятельность спецорганов во время блокады историка В. А. Иванова, приметы города в те дни, когда там было введено осадное положение[7].

Слабая работа по выявлению «уголовного элемента» отмечалась и до войны, а во время осады Ленинграда говорить о полноценном контроле за ними еще труднее. Одна из причин — истощенность милиционеров. «За последнее время в связи с плохим питанием мы в городе не имеем охраны. Я ходил по району в час ночи, абсолютно никого нет. Можно делать что угодно. Я разговаривал с начальником отделения милиции, и он говорит, [что] уходит милиционер на пост и говорит: пошлите за мной, боюсь свалиться», — рассказывал один из присутствовавших на совещании в обкоме ВКП(б) в январе 1942 года. Член военного совета Ленинградского фронта А. А. Кузнецов назвал это «враньем»: «Все они на котловом питании, 3 раза в день получают пищу и обязаны работать»[8]. Известно, однако, что во время блокады от голода умер 651 милиционер[9].

О малочисленности милиционеров говорили и другие блокадники. «Милиционеры встречались очень

редко, особенно в декабре и в январе... Чаще к милиционерам обращались по вопросам нарушения светомаскировки кем-то из соседей, при утере продовольственных карточек, при возникновении каких-либо подозрений на спекуляцию», — рассказывал В. Г. Даев[10].

Следует иметь в виду, что милиционеры, как и прочие, находившиеся на котловом питании, должны были поддерживать свои семьи. Само это «питание», скажем прямо, в «смертное время» являлось весьма скудным. Об изможденных, голодных милиционерах очевидцы блокады вспоминали не раз. «Человек упал на панели — мне не дотащить», — сообщал один из милиционеров работникам «скорой помощи» в декабре 1941 года. Вера Михайловна Инбер записала в дневнике 3 января 1942 года: «Связистка-студентка подняла на улице милиционера, упавшего от голода. Кроме того, у него были украдены хлебные карточки». Писатель В. Кочетов, редко бывавший в городе, встретив на улице милиционера, сразу отметил: «В глазах у него тоже был голод»[11].

Это не проходило без последствий. Несмотря на запреты посещать рынки «без служебной надобности», некоторые милиционеры задерживались здесь во время облав. Сотрудники милиции были замечены в перепродаже изъятых у спекулянтов товаров, а один случай, правда, единственный, являлся и вовсе беспрецедентным: по наводке стража порядка группа «ремесленников» обворовывала чужие квартиры[12]. Чаще, однако, довольствовались тем малым, что удавалось получить «по договоренности» с правонарушителями. «В СССР нет другого такого города, где бы милиция и частные граждане так понимали друг друга, как в Ленинграде!» — это патетическое восклицание А. А. Фадеева, приехавшего в Ленинград в 1942 году, у тех, кто был знаком с истинным положением дел, могло вызвать лишь горькую усмешку[13]. Упреки по этому поводу могут показаться и уместными, если не знать, что во время блокады стремились, выражаясь канцелярским языком, использовать свое служебное положение тысячи людей, не одни только милиционеры. Пекари, дворники, продавцы, повара, врачи, воспитатели, шоферы — все они хотели выжить, все мечтали, чтобы остались живы их дети и роди-

тели. «Сейчас надо иметь знакомство в столовых, тогда еще можно кое-как спастись. Если этого нет, то — безусловная смерть... Знакомая девчонка на раздаче куда-то исчезла, вероятно, проворовалась и ее сняли с работы. Это очень обидно, через нее можно было получить лишние порции, хоть и дряни из дуранды» — сколько таких признаний встречаем в блокадных дневниках и письмах[14].

В страшные дни первой зимы милиционеры делали всё, что могли, прилагали немало усилий для того, чтобы город не оказался в трясине преступности. Не их вина, что сделать большего они не были способны. Милиционеры, часто сами изможденные, поднимали на улицах обессиленных людей, помогали им дойти до дома, защищали от грабителей, выявляли спекулянтов и воров, наживавшихся на бедах людей. Да, они иногда спорили, кто должен был идти поднимать лежавшего человека, да, помогали не только из сострадания, но опасаясь быть наказанным за бездействие, — но ведь спасали.

В начале 1942 года состав милиционеров обновили, пополнив их ряды более крепкими людьми. Об этом была осведомлена даже германская служба безопасности (СД), в справке которой отмечалось: «Так как служащие милиции вследствие голода и холода в большинстве ослабли настолько, что стали пренебрегать своей службой, то в последние зимние месяцы их стали подменять служащими милиции из Москвы, которые приняли политический надзор с большой активностью»[15]. В целом же какого-то существенного пополнения корпуса охраны правопорядка не произошло (да и невозможно было это сделать), работа его улучшилась лишь после нормализации обстановки в городе в середине 1942 года.

Широко развившееся в городе воровство являлось и следствием слабой работы милиции, и было в значительной мере обусловлено голодным блокадным бытом. Самым страшным по своим последствиям являлось воровство продуктов и карточек. Особенно оно усилилось в конце ноября — декабре 1941 года. Чаще всего кражи происходили во время давки (у трамваев, поездов, магазинов), когда люди, желавшие быстрее пройти

внутрь, на миг утрачивали бдительность. А. А. Грязнов рассказывал, как 30 ноября 1941 года, при попытке протиснуться в магазин, его сдавили двое человек: «Один попытался вытащить кошелек, другой — портсигар». У его брата Ф. А. Грязнова украли продукты в переполненном вагоне трамвая. О диковинном случае сообщала Л В. Шапорина в дневниковой записи 14 декабря 1941 года: «Женщина с двумя детьми выходила из трамвая. Ей надо было снять ребенка с площадки, и она попросила какую-то женщину подержать кастрюльку. Пока она снимала ребенка, та пустилась бежать с обедом, ее не догнали»[16].

Воровали продукты и товары в общежитиях, где их было легче обнаружить, во время пожаров, когда не удавалось за всем уследить, и, конечно, на огородах, разведенных в городе летом 1942 года — там, по словам И. Д. Зеленской, «происходили бесчисленные кражи»[17]. Огромный размах приобрели кражи в квартирах. Сотни из них являлись «выморочными», там не осталось в живых ни одной семьи. Из тысяч квартир выехали эвакуированные, передав ключи в домоуправления либо соседям, что считалось более надежным отчасти из-за опасений потерять прописку. Многие квартиры не опечатывались, хотя, конечно, и это не спасло бы их от разграбления. «Свои или чужие соседи... взламывают двери квартир, нагло грабят все ценное... Редкая квартира уцелела от этой участи», — записывал в дневник 22 марта 1942 года З. С. Лившиц. Его слова подтверждает Э. Г. Левина, отметившая в дневнике 4 марта 1942 года: «После смерти к одиноким прибегают соседи, ищут карточки, вещи, годные для обмена на продукты». Мебель ломали на дрова, книгами отапливали печи и, возможно, часть их продавали — они пользовались спросом в блокадном Ленинграде. «Книги и рукописи сожгли, вещи разворовали, мебель тоже ушла, даже рояль вытащили» — такой предстала перед А. Н. Болдыревым одна из квартир, имущество которой его послали описывать[18].

Еще чаще виновниками ограбления квартир считали дворников и управдомов, которые должны были осматривать «выморочные» и «эвакуированные» квартиры и опечатывать их. «Я посмотрел цифры за 4-й квартал

1942 г. и сделал анализ. Оказывается, 25 % преступников, расхищавших имущество в бесхозных квартирах, были работниками домохозяйства», — сообщал начальник управления милиции Ленинграда Е. С. Грушко; можно только предположить, как происходили грабежи ранее, в «смертное время». Красноречивым комментарием к этим словам служат записи В. Г. Левиной: «Наша тетка, потерявшая площадь в нашей квартире и поселившаяся временно у нашей дворничихи, увидела у нее наши вещи»[19]. Вероятно, ограбления совершались при коллективном сговоре всех тех, кто обязан был описывать чужое имущество, в ряде случаев чужими вещами оплачивалось и молчание соседей.

Уникальную историю о том, как «преступницей» стала женщина, попавшая под обстрел, рассказал Е. С. Грушко. Это единственный случай, но даже при всей его необычности здесь отчетливо проступают приметы той неразберихи, в которой осуществлялась прописка и выписка из Ленинграда, — неразберихи, служившей источником для незаконного обогащения. Это яркая иллюстрация того, как «налажена» была работа домоуправлений и милиции в самые тяжелые блокадные дни: «Мне надо было дать санкцию на арест одной женщины, простой, малограмотной рабочей, совершившей самую обыкновенную кражу — кражу небольшого количества на хлебозаводе, пробравшись туда... Раньше, чем дать разрешение на арест этой гражданки, я пригласил ее побеседовать и выяснил, что у нее было 2 детей, муж... В начале войны муж был взят в армию, она оставалась с детьми, в период затруднений их поддерживала, но однажды потеряла на улице сознание и была отправлена в больницу, затем ее оттуда переправили еще в 3 больницы. В начале 1943 г. немного окрепшей она вышла из больницы. Никаких документов, паспорта при ней не оказалось. Ей в больнице дали справку, что она — такая-то лечилась в больнице в течение такого-то времени от дистрофии. С этой справкой она пришла в дом, где она когда-то проживала, узнала, что дети померли. В доме вместе с тем зафиксировано, что она тоже умерла. Комната, в которой она проживала, занята другими жильцами. Управхоз (это было в Дзержинском районе) от-

казался разговаривать с ней, так как имел сведения, что гражданка, за которую она себя выдает, уже умерла, и не оказал ей никакого содействия. Она долгое время скиталась, наконец, устроилась грузчицей в "Ленпогрузе". Милиция преследует за прием на работу беспаспортных, у нее же не было паспорта или других соответствующих документов, кроме справки, которая не являлась настоящим документом, поэтому после непродолжительной работы ее уволили, предложив принести паспорт. Она, не зная, куда обратиться, как добиться паспорта, не могла его получить, скрывалась от милиции по всяким необитаемым домам и квартирам, добывала пропитание путем попрошайничества и небольших краж. В результате она попала ко мне. Я выдал ей продовольственную карточку, потребовал предоставить жилищную площадь. Когда я дал приказание отпустить ее на свободу, устроить на работу, выдать продовольственную карточку, предоставить ей взамен ее бывшей площади другую или же возвратить прежнюю, то эта гражданка обиделась, полагая, что я издеваюсь над ней»[20].

В годы блокады выявились и другие формы обворовывания граждан, может быть, не столь жестокие и дерзкие, но все же нанесшие им урон. Прежде всего это мошеннические манипуляции со вкладами горожан в сберкассах. Наиболее распространенные виды финансовых злоупотреблений перечислены в справке заведующего отделом кадров Ленинградского ГК ВКП(б), составленной в сентябре 1942 года. Среди них «получение денег сотрудниками сберкасс по вкладам эвакуировавшихся и умерших граждан, присвоение денег от вкладов, вносимых гражданами, не проводя их по установленной отчетности, подмена облигаций, хранящихся в сберкассе, на которые пали выигрыши, прямое хищение денег из сумм, получаемых для подкрепления наличности». В справке приведен и ряд фактов, показывающих технику мошенничеств:

«В сберкассе № 2 (Володарский район) контролер... присвоила 10 920 руб. (в основном, в мае 1942 г.). Контролер получала деньги по вкладам, находившимся без движения на протяжении 1,5—2 лет, и по вкладам умерших граждан (которых специально выявляла). На лице-

вом счете подделывала подпись, а на расходном ордере проставляла выдуманный номер паспорта. Деньги получала из аванса, оставляемого кассиром, которого сама отсылала.

В сберкассе № 54 (Октябрьского района) контролер... присвоила 3884 руб. (в мае 1942 г.) по вкладам эвакуировавшихся граждан. Принимая заявления о переводе вклада в другую местность и сберкассу, [она] заявления уничтожала, а по книжке получала деньги, выписывая фальшивые ордера»[21].

Имелись и случаи присвоения денежных средств ленинградцев работниками почты. Выяснив, что адресат, на имя которого пришел перевод, умер, был эвакуирован или находился в армии, они оставляли себе его деньги. Если деньги пересылались с фронта, то их суммы уменьшались в квитанциях, которые переписывали заново[22].

Воровство не приобрело бы таких размеров, если бы не изменились человеческие представления о том, что можно и чего нельзя делать во время катастрофы. Многие понимали, что придерживаться принятых и усвоенных в прошлом нравственных навыков не удастся, но размывание моральных ценностей не происходило внезапно и бесповоротно. Совершая поступок, который прежде считался безнравственным, человек уверял себя, что он делает это для других, а не для своего спасения, что он если и украл что-то, то немного, что он обокрал людей, которые живут намного лучше и для которых пропажа какой-нибудь вещи — неощутимая потеря. Позднее, когда голод стал нестерпимым, в блокадных дневниках при описании аморальных поступков вместо нравственных переживаний отмечен миг насыщения, миг радостный, поглощающий все мысли человека. Один из блокадников рассказывал, как его жена получила по карточке родственника крупу. Очевидно, произошло это в последний день декады (запись в дневнике помечена 1 февраля 1942 года), после чего продукты, не выкупленные за это время, считались «пропавшими». Родственник, вероятно, не знал, что ему «повезло с крупой», и этим воспользовались: «Решили ее украсть. Сделали кашу и с сахарком съели. Удивительно хорошо

себя почувствовали. Вот теперь мы научились ценить пшенную кашу». В это же время (январь 1942 года) проверяющего ясли решили «умаслить», накормив обедом из продуктов, предназначенных для детей. «Ох, как это приятно! Зарядка на весь день» — и ничего, кроме этого, ни раскаяния, ни оправданий[23].

Сейчас всё можно, сейчас время другое — этот ответ слышали часто, когда пытались урезонить тех, кто без брезгливости решался на любой шаг, чтобы выжить. И. Д. Зеленская рассказывала, как поймали человека, укравшего чужую собаку и содравшего с нее шкуру. Ему пытались предъявить свои права на нее, но безуспешно: «Вцепился в свою добычу и после всякого вранья просто заявил, что он собаку не отдаст». Когда один из присутствовавших «интеллигентно» ему заявил: «...“Ведь вы же чужую собаку стащили, так же не делают”, тот ответил: “Теперь всё можно”».

Конечно, такую безоглядность и цинизм мы не всегда встретим, но тот же ответ давали себе и люди честные, порядочные, помогавшие другим, не дошедшие до последней стадии нравственного распада. «Из комнаты общежития... исчезли мое осеннее пальто и сапоги. На ногах еще что-то осталось, а на плечи одеть было нечего. В шкафу висели какие-то пальто уехавших студентов. Взяла одно из них» — это одна из записей блокадницы, студентки ЛГУ.

«Что это было? Воровство?» — спрашивает она себя. Нет, никакого стыда она не испытывает. «Почему? Из-за полной безысходности? Или потому, что правильные оценки отошли от бытовых мелочей, поднялись на другие уровни. Наверное, в обычных условиях и экстремальных ситуациях один и тот же поступок оценивается по-разному, не с юридической, а с нравственной стороны»[24]. Этот поступок все же беспокоит ее. Она перебирает доводы, приводит оправдания — но ответ все тот же.

Этот феномен блокадного сознания попыталась осмыслить Л. Я. Гинзбург. Говоря об инерции нравственных представлений и оценок, она отмечала в «дистрофические времена» одно характерное явление: «Люди, интеллигенты в особенности, стали делать вещи, ко-

торых они прежде не делали, — выпрашивать, утаивать, просить, таскать из стола в столовой кусочек хлеба или конфету. Но система этических представлений оставалась у них прежняя. Побуждения, приводившие его к подобным поступкам, всякий раз представлялись ему... таким стихийно-глубоким проявлением инстинкта жизни, что он не хотел, не считал нужным с ними бороться... Он ощущал этот поступок как временный и случайный. Поступок не имел отношения к его пониманию жизни...»[25] Это очень точное наблюдение. В блокадных документах их авторы часто не щадят себя, но рядом с самообличительными записями соседствуют такие, где их облик (нередко безо всякой рисовки) соответствует тем нравственным представлениям, которые приняты в цивилизованном обществе. Блокадная этика более гибка. Здесь нет застывших, канонических норм. Воровать нельзя — но вот рядом погибающий ребенок и его еще можно спасти, если понести на рынок вещи уехавших соседей. Что нравственнее — спасти его или сохранить свою репутацию? Это вопрос риторический — во времена катастроф выбор всегда делается в пользу тех, кто нуждается в поддержке.

Одним из самых отвратительных видов преступности в осажденном Ленинграде являлось мародерство. Снимали одежду, обувь, бывало, раздевали до нижнего белья. Обворовывали мертвых на улицах и площадях, в моргах, на эвакопунктах, на кладбищах. Мародеры действовали быстро, опасаясь, что либо мертвых сразу уберут, либо кто-то опередит их. Е. Козлова вспоминала, как сняли шапку с мужчины, лежавшего на тротуаре всего несколько часов, в других случаях время грабежа было еще короче. Иногда раздевали постепенно — проходившие мимо люди замечали, что сначала снимали валенки и пальто, спустя какое-то время — платье или юбку. Если валенки не удавалось снять с трупа, то могли и отпилить ноги[26].

Заметим, что в момент ограбления не все жертвы мародеров являлись мертвыми. Они могли находиться и в голодном обмороке либо пытались лежа переждать, пока пройдет слабость. Мародеров это не останавливало, а сопротивляться изможденный человек не мог.

В ряде случаев даже нарочно подталкивали людей, чтобы они упали, — с лежавшими на снегу легче было управиться.

Иногда успевали снять одежду и с погибших во время обстрела, причем за 1—2 часа, если машина МПВО запаздывала. «Случалось, из-под земли или обломков высовывается рука, на ней браслет, кольца или часы. И раньше, чем человек увидит свет, эти вещи... сняты с его руки», — отмечал В. В. Бианки. Грабили погибших не только в «смертное время», но и позднее, и столь же быстро. Л. В. Шапорина вспоминала, как зашла в кинотеатр «Спартак» позвонить по телефону 1 ноября 1942 года: «Через 10 минут возвращаюсь и вижу женщину, лежащую на ступенях без сознания. Сняты туфли и украден мешок с карточками, висевший на груди под платьем»[27].

Пожалуй, самым страшным и омерзительным преступлением в городе считали людоедство. Слухи о нем впервые широко распространились по Ленинграду в январе 1942 года (молва, как обычно, и преувеличила их), но само это явление возникло раньше. Первые случаи умерщвления людей с целью поедания трупного мяса официально отмечены в третьей декаде ноября 1941 года. Сначала их было немного. В сводке Управления НКВД по Ленинграду и Ленинградской области (УНКВД ЛО) 3 декабря 1941 года приводились подробности девяти преступлений, в сводке 24 декабря 1941 года — тринадцати. В 1942 году за употребление в пищу трупов были задержаны: в январе — 366 человек, в феврале — 612, в марте — 399, в апреле — 300, в мае — 326. С лета 1942 года наблюдается быстрое и неуклонное снижение числа лиц, обвиненных в каннибализме, — в июле таковых оказалось 15 человек. В последней четверти 1942 года за месяц задерживали одного-двух каннибалов, к весне 1943 года случаи людоедства перестали отмечаться[28].

Принимать эти данные УНКВД ЛО, конечно, надо с поправками. Л. В. Шапорина записала в дневнике 15 января 1943 года рассказ табельщицы Мариинской больницы: «...“Что вы удивляетесь, сейчас людоедство развито как никогда, нам чуть ли не каждый день доставляют

найденные части человеческих тел. Вот смотрите". И она стала перелистывать свой регистрационный журнал. На каждой странице по одному, по два раза стояло: части человеческих тел»[29].

В том, что официальные данные, возможно, не совсем точно отражали реальность, ничего удивительного нет, — за всем проследить было невозможно. Заметим, что жертвами каннибалов нередко являлись их родители и дети — они не ожидали нападения и не были готовы дать быстрый отпор. Обилие свидетельств блокадников, отмечавших разнообразные следы «работы» людоедов, заставляет предположить, что масштабы преступлений были все-таки более широкими, чем это отразилось в сводках. В подавляющем большинстве случаев каннибализм, начиная с конца декабря 1941 года, не сопровождался умерщвлениями — мертвые лежали всюду. В основном поедали трупное мясо, найденное на улицах, в домах и на кладбищах. Обычно отделяли так называемые «мягкие части» — груди, ягодицы, из внутренностей — сердце и печень. Чаще искали детские трупики. «В морге детей сперва не прятали, но их по ночам почти всех растаскивали. Люди подходили к машинам и выпрашивали детские трупики. Теперь их запирают», — рассказывал шофер, перевозивший мертвые тела[30]. Детей заманивали и в квартиры с целью умерщвления и последующего поедания. Пользовались их доверчивостью и наивностью, искали тех, кто просил милостыню у булочных, звали «попить молока» или в гости на игры. С жертвой не церемонились. Одна из таких страшных сцен тоже описана в дневнике Л. В. Шапориной. Пригласили к себе домой где-то побиравшуюся девочку-подростка, обещали подкормить. Роли распределили заранее: мать должна будет умерщвлять девочку, а ее дочь — играть на баяне и петь веселые песни, чтобы заглушить крики жертвы. Окровавленной девочке удалось вырваться из комнаты, за ней по коридору на глазах изумленных соседей бежала женщина, пытавшаяся ее настигнуть, а в пустой комнате с распахнутой дверью ее дочь продолжала играть на баяне и радостно петь...[31]

Следственные дела каннибалов недоступны, а в официальных отчетах редко делались попытки проанали-

зировать социальный состав преступников. Один из немногих документов, касающихся этого вопроса, — докладная записка военного прокурора А. И. Панфиленко 21 февраля 1942 года:

«С целью поедания человеческого мяса, а также в преступлениях о поедании трупного мяса, участвовали целые группы лиц.

В отдельных случаях лица, совершавшие подобные преступления, не только сами поедали трупное мясо, но и продавали его другим гражданам...

Социальный состав лиц, преданных суду за совершение указанных выше видов преступлений, характеризуется следующими данными:

1. По полу: мужчин — 322 чел. (36,5%) и
женщин — 564 чел. (63,5%).

2. По возрасту: от 16 до 20 лет — 192 чел. (21,6%)
от 20 до 30 лет — 204 (23,0%)
от 30 до 40 лет — 235 (26,4%)
старше 40 лет — 255 (29,0%)

3. По партийности:
членов и кандидатов ВКП(б) — 11 чел. (1,24%)
членов ВЛКСМ — 4 (0,4%)
беспартийных — 871 (98,51%)

4. По роду занятий привлеченные к уголовной ответственности распределяются следующим образом:
рабочих — 363 чел. (41,0%)
служащих — 40 (4,5%)
крестьян — 6 (0,7%)
безработных — 202 (22,4%)
лиц без определенных занятий — 275 (31,4%)

Среди привлеченных к уголовной ответственности за совершение указанных выше преступлений имеются специалисты с высшим образованием...

Из общего количества привлеченных к уголовной ответственности по указанной категории дел коренных жителей города Ленинграда (уроженцев) — 131 чел. (14,7%). Остальные 755 чел. (85,3%) прибыли в Ленинград в различное время. Причем среди них: уроженцев Ленинградской области — 169 человек, Калининской — 163 чел., Ярославской — 38 чел. и других областей — 516 чел.

Из 886 чел., привлеченных к уголовной ответственности, только 18 чел. (2%) имели в прошлом судимости»[32].

Глава четвертая
Смерть

Дискуссии о том, сколько погибло людей во время осады Ленинграда, продолжаются и сейчас. Споры возникают из-за разных подсчетов жертв блокады и фрагментарности документов, фиксировавших их смерть. Многие смерти не регистрировались, трупы часто захоранивались вне кладбищ, имелись попытки со стороны похоронных команд преувеличить сведения о погребенных, поскольку превышение их «нормы» поощрялось дополнительным пайком. К этому примешивалось и стремление руководителей города преуменьшить число умерших и снять с себя ответственность за то, что Ленинград не был подготовлен к долговременной осаде, и не всё в нем делалось для того, чтобы спасти оставшихся здесь людей. Иностранному корреспонденту, спросившему на пресс-конференции П. С. Попкова в 1944 году, действительно ли погибли 500 тысяч человек, тот ответил, что «цифра во много раз завышена и является сплошной газетной уткой». Через два года на Нюрнбергском процессе было заявлено, что в Ленинграде умерло 632 253 человека. Это число уточнено в 1965 году В. М. Ковальчуком и Г. Л. Соболевым. Они считали, что число жертв блокады составляло не менее 800 тысяч человек, исключая тех, кто умер во время эвакуации. Статья вызвала раздражение бывшего уполномоченного ГКО по снабжению Ленинграда продовольствием Д. В. Павлова, обратившегося с жалобой в ЦК КПСС. Никаких аргументов он не приводил, отметив только, что цифры, обнародованные на Нюрнбергском процессе, являются общепризнанными. Автор одного из новейших исследований по истории блокады, Л. Л. Газиева, считает, что число умерших во время осады города можно увеличить до 933 716 человек, из которых не менее 33,4 процента были детьми до 14 лет[1].

Некоторые исследователи говорят об одном миллионе погибших и даже большем их числе, но и из приведенных данных видно, что ленинградская трагедия является самой величайшей катастрофой XX века.

Ввиду физиологических особенностей и острой нехватки белков первыми начали умирать мужчины, но с марта 1942 года число умерших женщин стало превышать число умерших мужчин. Резкое увеличение смертности обозначилось с октября 1941 года. Больше всего людей погибло от голода в январе—марте 1942 года, причем в феврале число умерших оказалось самым высоким по сравнению с другими месяцами. Даже в апреле, когда некоторые категории населения получали 0,5 килограмма хлеба в день, смертность существенно снизить не удалось. Уменьшение числа умерших стало заметно со второй половины 1942 года. В 1942 году на тысячу человек населения она составила примерно 390 человек, а в 1943 году — 38 человек.

Помимо голода, гибель горожан была обусловлена и эпидемическими заболеваниями — при этом, разумеется, надо брать в расчет, что голод во многом способствовал их летальному исходу. Больше всего людей умерло от дизентерии (16 306 смертей в 1942 году, 383 — в 1943-м) и гриппа (соответственно 1279 и 48). Симптом дизентерии — безостановочный кровавый понос. Если он длился больше трех дней, то мало кто выживал. А. Н. Болдырев в июле 1942 года записал рассказ одного из знакомых, чудом уцелевшего в «смертное время»: «Встал только потому, что его не хватил понос. А в палате на 10 человек, где он лежал два месяца, три раза сменился весь состав, именно из-за поноса»[2].

Высокой являлась детская смертность. Роды в блокадном Ленинграде отличались быстротой и преждевременностью, отмечались многочисленные случаи патологии беременностей. В январе 1942 года в среднем в сутки умирали 265 грудных младенцев. Позднее эти показатели начали снижаться, и очень значительно — в марте 1943 года в день умирали не более двух человек[3].

Сведения о тех, кто умирал быстрее всего, содержатся едва ли не в каждом документе, оставленном нам очевидцами того времени. Это люди одинокие, получавшие

иждивенческие карточки и лишенные иных средств к существованию, семьи, где имелось более двух детей, беженцы. Многое, конечно, зависело от физиологического состояния и наследственности, от того, сколь часто им приходилось делиться с другими и имелись ли те, кто готов был прийти на помощь нуждающимся. На кондитерской фабрике им. Н. К. Крупской из нескольких сотен работников за страшную зиму от голода не умер ни один человек, а на заводе им. С. Орджоникидзе скончались от истощения только за один день около ста человек — и это тоже должно быть учтено[4].

О мертвых телах, лежавших на улицах Ленинграда, написано немало. Трупы обнаруживали всюду — и на центральных улицах, и в глухих переулках. Поначалу их обходили, но, поскольку на зажатых сугробами тропинках трудно было разминуться, через мертвых стали перешагивать, зачастую без стыда и брезгливости. Первые трупы увидели на улицах города в ноябре 1941 года. Их старались убирать сразу, но в декабре 1941 года число умерших резко увеличилось. Уборке трупов препятствовали отсутствие транспорта и топлива, истощенность и малочисленность людей из похоронных команд. Особенно много трупов, брошенных на улицах, находили в январе — начале февраля 1942 года. Некоторые трупы не убирались неделями и даже месяцами[5]. Но такое все-таки случалось редко. Обычно трупы в декабре 1941-го — феврале 1942 года лежали неубранными 2—5 дней. Команды МПВО отвозили мертвых в морг раз в неделю, но их могли подбирать и милиционеры, и управхозы и коменданты участков — все те, кто обязан был следить за порядком в четко обозначенном квартале. Делали это не всегда охотно[6]. Позднее, особенно после мартовско-апрельских субботников 1942 года, их старались уносить в тот же день, когда обнаруживали. 13 тысяч мертвых нашли на улицах весной 1942 года, расчищая от сугробов мостовые[7]. Среди них, вероятно, могли оказаться и те, кто умер несколько месяцев назад. «Идешь и видишь: торчит из сугроба рука чья-нибудь или нога», — записывала в дневнике 2 февраля 1942 года Е. Козлова[8].

Неубранные трупы видели в Ленинграде и после первой блокадной зимы. А. Н. Болдырев обнаруживал и

в конце марта 1942 года «одиноко умирающих, валяющихся тихо-тихо»[9], а М. И. Чайко видел умерших женщин под стенами университета и Апраксиного рынка в конце июня — начале июля 1942 года[10]. Позднее число их уменьшилось, и рассказы о них исчезают со страниц блокадных дневников и писем.

Как правило, мертвых находили на улицах частично или полностью раздетыми. Нередко их тела были осквернены каннибалами. Они отделяли не только мягкие части тела, но и отрубали конечности. На Садовой улице у магазина «Семена» видели даже труп без головы[11]. Обычно снимали с трупов (или еще живых, но замерзающих и умирающих людей) пальто, обувь, шапки, даже юбки и чулки. Нередко погибших выносили из домов соседи и дворники, снимая с них то, что было «получше». Примечательно, что иногда на лоб умерших клали их документы, прижимая сверху куском льда. Один из очевидцев отмечал, что головы многих мертвых были обвязаны цветными тряпками, чтобы их быстрее заметили похоронные команды, но наблюдал он это в конце марта 1942 года, когда «уборочные» машины ездили намного чаще[12].

Конечно, выбросить на улицу труп решались не сразу, особенно родные. Испытывали не только страх, но и стыд. Возьмем любую запись, эпистолярную или дневниковую, где говорилось о желании похоронить родных «по-человечески», и увидим, что она сплошь заполнена оправданиями, краткими или многословными. Вот один из этих документов — воспоминания пионерки В. Соловьевой. Умерла бабушка, тело ее завернули в одеяло, вынесли на улицу и положили у ворот. Извинения содержатся в первых же строках, описывающих эту трагедию. Семья состояла только из иждивенцев (бабушка, мама, сестра), получавших 125 граммов хлеба. «У нас начиналась дистрофия» — это первое, что она отметила. Оправдания следуют одно за другим: «У нас распухли десны и стали выпадать зубы, на ногах появились красные пятна... Везти ее хоронить у нас не было сил, сами с палочкой учились ходить». Нет, и этого кажется ей мало, и она дополняет свой рассказ: «Не ходили, а плелись»[13].

Оставляли мертвых «в стороне от глаз», как выразил-

ся один из блокадников, часто в пустынных переулках. Относили их к моргам и прозекторским, к складам трупов, привозили к отделениям милиции и к зданиям государственных учреждений — была надежда, что тогда обязательно захоронят. Иногда оставляли трупы рядом с умершими людьми — это, наверное, считалось более приемлемым, чем бросить его одного. «Труп той женщины до сих пор не убран. Ее раздели, так что она теперь лежит голая... А к ней подкинули еще труп в одеяле», — отмечала в дневнике Е. Козлова[14].

Находили мертвые тела в парках — часть их укладывали в траншеи («щели»), выкопанные для укрытия горожан, оказавшихся во время бомбежки на открытой местности. Такие «щели», наполненные трупами, были и в Александровском саду, и у Казанского собора, и во многих других местах. В феврале 1942 года начали замечать оставленные на льду Невы трупы, «сваленные кое-как, без имени и фамилии»[15]. Иногда тела умерших (не без помощи управхозов, не желавших их хоронить) выбрасывались в каналы и реки. Их завозили и в чужие дворы, чем вызывали сильное раздражение дворников, пытавшихся, в свою очередь, «сплавить» их подальше. «Подбрасывали» мертвые тела обычно ночью.

Часть трупов на улицах находили «раскоряченными». Человек, падая в голодном обмороке, всеми способами, при помощи рук и ног, пытался задержать падение, а затем, не приходя в сознание, замерзал и окостеневал. Вероятно, оставили здесь свой след и «стервятники», разводя руки еще не умерших людей и ища в их одежде карточки, деньги и хлеб.

Найденные на улицах трупы обычно отвозили в морги больниц на саночках. Зрелище было страшное, морги не вмещали все трупы, часть лежала привязанными на санках перед входом, часть вываливалась на снег. Многие мертвые были раздеты (мародеры снимали даже одеяла, в которые их оборачивали), у некоторых были отделены части тел. «Несите, несите! Вот сюда... нет, тут нехорошо: крысы объедят... Носы, уши, щеки кучей сваленных в морге трупов были выедены крысами» — такую картину пришлось увидеть в одном из моргов В. В. Бианки[16]. Из-за эпидемии смертей моргов вско-

ре стало не хватать. В январе 1942 года под открытым небом во многих районах города были созданы особые склады трупов. Где-то их укладывали в штабеля, но иногда такие скопления тел превращались и в свалки. Порядок здесь не мог не нарушаться, поскольку не имелось свободных мест, не было времени стоять в очереди, а те, кто привез трупы, из-за сильного мороза спешили как можно быстрее уйти домой. Некоторые, видя, в какой куче валяются трупы, стеснялись складывать туда тела своих родных, оставляя их неподалеку.

Наиболее известны склады тел, находившиеся у Театра Ленинского комсомола и на ипподроме рядом с улицами Марата и Звенигородской, — как рассказывал один из очевидцев, там имелась «покойников "печатная сажень"»[17]. Возникали стихийно и импровизированные свалки — обнаружить тех, кто заполнял их трупами, почти никогда не удавалось. Одна из них была создана рядом с Главной водопроводной станцией в разрушенном бомбами складе боеприпасов. Там находилось до трехсот-четырехсот трупов. Рядом, на набережной, трупы лежали в нескольких метрах(!) от военных кораблей. Никто их не убирал. У многих ноги и кисти рук обгрызли крысы, «работали» здесь и мародеры[18].

Перед отправкой в морг участковый милиционер подписывал акт о смерти — иных бумаг в первую блокадную зиму не требовалось. «Сидит какой-то голодный тип, раздает всем, кто желает, справку: "При освидетельствовании признаков насильственной смерти не обнаружено"»[19]. Везли и несли тела на санках, иногда на тачках, тележках или носилках и даже на куске фанеры. «Если ребенок высокого роста, ему подгибают ноги, притягивают их веревкой к бедрам, чтобы тело уместилось и на небольших санках», — записывал в дневнике 13 января 1942 года Л. А. Ходорков[20]. Обычно же запеленованные тела («пеленашки») привязывали к санкам и тележкам так, чтобы ноги умерших не волочились по земле. На санки могли положить и два трупа. «Я видел, которые везли сразу отца и мать», — писал позднее врач А. Коровин[21]. Везли трупы, как правило, не менее двух человек. Если не было родных, то просили помочь (за определенную плату) дворников или соседей. В одиночку или с ма-

лыми детьми обессиленным блокадникам довезти труп было трудно. Надеялись и на помощь милосердных горожан. «Одна женщина плакала возле саночек. У нее кончились силы. Я помог ей тащить санки с сыном от Среднего... до Малого проспекта», — вспоминал И. Ильин[22].

Тела заворачивали чаще всего в простыни, но нередко и в тряпки, одеяла, мешки, рогожу, занавески. Одна из блокадниц видела «трупик ребенка в оберточной бумаге»[23]. Везти тела нужно было связанными крепкой веревкой, иначе умершие могли «размахивать» руками и ногами не только на ухабах. Гробы в декабре 1941 года приходилось ждать по 5—10 дней. Тела в них в «смертное время» везли редко. Недостаток гробов стал ощущаться особенно сильно с начала декабря 1941 года. «Надо днями стоять в очереди, чтобы получить тесовый ящик весь в скважинах», — отмечала в дневнике 15 декабря 1941 года И. Д. Зеленская[24]. Если санки имели спинку, то умершего везли «в сидячем положении»[25]. Разумеется, гробы были некрашеными, а крышка их иногда делалась из фанеры. Кое-кто пытался «украшать» такие гробы листьями комнатных растений, но это являлось редкостью. Стоили гробы в декабре 1941 года недешево (500—700 рублей, то есть месячный заработок рабочих), но и за такую цену их найти было крайне трудно. Не имелось досок, не все даже умели сколотить из них гробы. Ломали заборы, двери, но всё было тщетно. Если в середине декабря, как отмечалось в дневнике М. Тихомирова, лишь «изредка можно встретить тело без гроба»[26], то в конце декабря «пеленашки» на ленинградских улицах стали обычным явлением. «В санках трупы голодных ребят» — такой была одна из строк стихотворения, сочиненного десятилетним И. Заболоцким, сыном знаменитого поэта, в январе 1942 года[27].

Когда в декабре 1941 года управхозам было запрещено вывозить умерших в домах без гробов, милиционерам предписывалось следить за этим и задерживать нарушителей. В связи с резким скачком смертности запретами сразу же стали пренебрегать. Власти закрывали на это глаза, а затем фактически отменили свое решение. В феврале 1942 года допускалось везти тело без гроба лишь до ближайшего морга, но это требование

было легко обойти[28]. И после первой блокадной зимы «пеленашки» не раз видели на улицах Ленинграда. «Каждый день еще везут обвернутые трупы», — отмечал в дневнике 23 мая 1942 года В. Ф. Чекризов. Поскольку снег к тому времени растаял, несли умерших обычно на носилках, использовались и тачки. Зимой 1942/43 года «пеленашки» исчезли с городских улиц. Тот же В. Ф. Чекризов записывал в дневнике 1 февраля 1943 года: «Встретил впервые за эту зиму "саночки"»[29].

Для перевозки до кладбищ тел, скопившихся у моргов, больниц и на отведенных площадках, использовались грузовики. Помещались не все, а нехватка топлива не позволяла отправлять машины с меньшим количеством умерших. Их тела «утрамбовывали» как могли. «Грузовик, набитый голыми мертвецами стоя, перехваченный веревкой посередине и первый голый бородатый старик, стоящий во весь рост в машине, с руками, сведенными на животе, а в эти руки кем-то... всунут вверх ногами трупик младенца годика на два» — подобные или другие страшные картины стали привычны для города в «смертное время». О. Гречина передавала рассказ одного из шоферов о том, как в машину уложили даже 500 трупов, — вывозили погибших детей из Дома малютки. Она не сразу поверила ему, но грузовик, наполненный мертвыми детьми («в рубашечках и без рубашечек»), довелось в середине декабря 1941 года увидеть и А. Н. Болдыреву[30].

Для перевозки тел приспосабливали также телеги и дровни. Погибших людей часто везли как дрова[31]. Зрелище смерти не сразу стало привычным. Чтобы это случилось, нужно было очерстветь, не откликаться на бесчисленные человеческие трагедии. С мертвыми и грузчики, и шоферы похоронных команд не церемонились. Моряки, выносившие трупы из дворца Ольги Константиновны на улице Чайковского, делали это даже «весело». И, наверное, не случайно: рядом стояли готовые к погрузке еще 12 машин. «Когда на кладбище машины буксуют в снегу, грузчики быстро подсовывают под колесо ближайшего мертвеца», — рассказывал А. Н. Болдырев[32].

Хоронили умерших на нескольких кладбищах: Волковом, Большом Охтинском, Смоленском, Серафимовском, Богословском, Пискаревском, Еврейском, Памяти

жертв 9 января, Татарском и Киновеевском. Самые массовые захоронения погибших — на Пискаревском кладбище (420 тысяч горожан и 70 тысяч скончавшихся в городе военнослужащих), Серафимовском (180—200 тысяч человек), Богословском (свыше 60 тысяч человек). Погребали также на острове Голодай* и в Веселом поселке. В печах кирпичного завода № 1, расположенного на Московском шоссе, в 1942 году было сожжено 119 863 трупа, в 1943 году — 12 122[33]. Пепел их, как считается, помещался в расположенных рядом с заводом карьерах, использовавшихся ранее для получения глины.

Кладбища, где осуществлялись массовые захоронения, представляли собой до лета 1942 года страшное зрелище. На них (и по пути к ним) были раскиданы сотни тел. Лишь часть их находилась в гробах или была привязана к здесь же брошенным санкам. Многие трупы валялись на земле в самых причудливых позах, нередко вовсе без одежды, обворованные мародерами и искромсанные каннибалами. Их ничего не останавливало, они вскрывали и гробы. «Покойники в них лежат полураздетые, т. к. с них всё сняли, что можно носить, валяются трупы голые, обезглавленные», — рассказывала о Шуваловском кладбище в январе 1942 года Т. К. Великотная. Она пришла в ужас, увидев, как даже у «исхудавшего тела» была отделена верхняя часть ноги — нет, «лучше быть зарытому без гроба, как папе, чем брошенному на произвол судьбы в гробу»[34].

Погребением мертвых занимались особые команды, собранные из различных людей: бойцов МПВО, мобилизованных в порядке трудовой повинности «иждивенцев», рабочих предприятий и ведомств. Труд был очень тяжелым, особенно для истощенных людей, причем некоторые из них умирали здесь, рядом с могилами. Промерзшую землю взрывали динамитом, чтобы вырыть в ней траншеи. Затем их заполняли мертвыми, часто не без помощи экскаваторов. Одному из блокадников пришлось повидать зимой 1942 года «погребальную работу» экскаваторов на Смоленском кладбище: «Покойники были сложены штабелями (новых подвозили все время с другого

* Название остров Голодай существовало до 1926 года. Позже — остров Декабристов.

конца), и экскаватор забирал их стальными клещами, одетых и раздетых, всяких, полные клещи переносили груз по воздуху и, разжимаясь над длинной траншеей, осыпал туда тела, валившиеся вниз с глухим стуком»[35].

Поскольку необходимо было выполнить суточные «нормы» захоронений, старались трупами буквально утрамбовывать траншеи, чтобы в них не оставалось свободного места. «Укладывают мертвых поплотнее. Просматривают, куда можно еще положить. Кричит помощникам: "Эй! Здесь еще есть место, дай-ка три детских"», — передавал услышанные им рассказы М. Б. Рабинович[36].

Гробы в траншеи не опускали. Выволакивали из них тела, а затем ломали и сжигали в кострах, чтобы обогреться. Никаких колебаний при этом не испытывали, на чувства родных едва ли обращали внимание: занимались таким делом каждый день. Для людей же, впервые побывавших на блокадных кладбищах, многое из увиденного здесь явилось настоящим потрясением. Об одном из них говорится в дневнике сотрудника Государственного оптического института Д. Н. Лазарева: «Он был настолько поражен увиденным на Смоленском кладбище, что по возвращении едва мог говорить от волнения... На поле за кладбищем вырыт ряд параллельных, очень длинных рвов глубиною около метра, шириною около двух метров. Они заполнены лежащими поперек телами в гробах и больше без гробов. Рвы ничем сверху не засыпаны, хотя рядом тянутся насыпи вынутой земли, но она тверда на морозе, как гранит. Изо рвов торчат руки, ноги, головы. Гробы в этой обстановке кажутся чем-то лишним. Кое-где с них сдирают крышки, бросают в костры или увозят на санках домой на дрова. Костров вокруг десятки. Некоторые служат для оттаивания земли, у других греются, отогревают застывшие руки. Слышны близкие взрывы — это подготовляют новые могилы. Непрерывным потоком привозят санки с мертвецами, часто зашитыми в простыни. Девочка рассказывает: "Мама давно уже сшила гроб, еще папа был жив". Иногда гроб деревянный, поверх которого лежит крест или венок. Все дерево идет в конце концов в костры. Могильщики торгуются о рытье индивидуальных могил, просят два килограмма хлеба, согласны рыть и сдавать

работу только при наличии покойника и в присутствии родных, т. к. оставить яму нельзя ни на минуту, — ее тут же засыпают телами. Траншей не хватает. Несколько поодаль возвышаются штабеля покойников, привозимых на грузовиках из районных моргов. Штабеля имеют несколько метров в ширину, около двух метров в высоту и десятки метров в длину. Покойников, одетых в майки, старенькие пиджаки, есть без обуви, есть и без одежды, укладывают в штабеля, как дрова...»[37]

Те, кто хотел похоронить в гробу и отдельно, должны были пользоваться услугами «частных» могильщиков — сами они, будучи истощенными, вырыть яму были не в силах. Обычно, как рассказывали блокадники, платили за это один-два килограмма хлеба, но у могил нередко разворачивался самый настоящий торг. Отдавали и карточки, и одежду, и золотые украшения — не все же могли бросить покойника и уйти. «Чтобы вырыть, с нас спросили 1/2 кг хлеба, 300 руб. (деньгами), кружку крупы или макарон, сапоги русские и брюки, но у нас нет и мы долго плакали» — по письму О. Н. Макаровой матери (27 марта 1942 года) видна последовательность вымогательств у голодных людей[38].

На кладбищах царила «мерзость запустения». Кресты на близлежащих могилах были сломаны или разворованы, валялись одеяла и пелены, которыми укутывали мертвых, виднелась стружка.

Когда началась эпидемия смертей, власти пытались придерживаться цивилизованных обычаев, но, как всегда, запаздывали, хотя это и не может быть им поставлено в вину. Такой массовой смертности не ожидали, и согласиться с тем, что теперь следует пренебречь традициями, они смогли не сразу. Во всем должен быть порядок, нельзя допускать таких шокирующих сцен, противоречащих и медицинским и этическим нормам, как похороны без гроба, — таковой являлась их четкая позиция, обусловленная, между прочим, и тем, что это могло вызвать и негативную реакцию в верхах. В октябре 1941 года было дано указание увеличить производство гробов. Вскоре их выпуск составил 350 штук в день, но и этого не хватало. Как деликатно отмечалось в одном из официальных отчетов, «в особенности спрос повы-

сился в первых числах декабря». Запрет хоронить без гробов, установленный 25 декабря 1941 года, ощутимых последствий не имел. Иногда брали гроб напрокат и именно в нем предъявляли мертвого для того, чтобы передать гроб следующим в очереди людям. Но вскоре и этот ритуал прекратился. Без особой огласки власти в январе 1942 года разрешили везти умерших на кладбища и в морги в «пеленах»[39].

Главной проблемой в декабре 1941 года стала транспортировка трупов к местам захоронения и погребения их. В декабре на кладбищах работало чуть более сотни могильщиков — эти люди, «выполнявшие большую физическую работу по рытью могил, много кушавшие и выпивавшие водки и пива, очутившись на пайке 250 граммов хлеба, в первых числах декабря, за исключением единиц, оказались больными на почве истощения». Не хватало похоронных машин, а траншеи, вырытые отрядами МПВО, были в начале декабря заполнены трупами всего за несколько дней. Оценить масштабы приближающейся катастрофы никто не мог. На заседании Ленгорисполкома 25 декабря 1941 года было предложено председателям райисполкомов навести «полный порядок» на кладбищах за два дня (!), а трупы, после оформления документации по захоронению, погребать в течение суток. Пик эпидемии смертей пришелся на январь—февраль 1942 года. В Постановлении Ленгорисполкома 2 февраля 1942 года более реалистично оценивалось положение в городе, хотя содержавшееся в нем требование вывезти всех умерших из моргов, больниц и госпиталей за пять дней едва ли было выполнимо. Для перевозки трупов из города на кладбища выделялось 30 машин ежедневно, причем устанавливались следующие нормы: в пятитонную машину должно быть уложено 100 трупов, в трехтонную — 60, в полуторатонную — 40. Шоферы получали за вторую и следующую поездки дополнительное вознаграждение (100 граммов водки и хлеба), а рабочие, превысившие нормы по сбору, отправке и захоронению трупов, — 50 граммов водки и 100 граммов хлеба[40].

Самым подробным документом, описывающим скорбную работу по собиранию и погребению трупов в

осажденном Ленинграде, является отчет городского управления предприятиями коммунального обслуживания за период с июня 1941-го по июнь 1942 года. Он не нуждается в комментариях — это не столько описание подробностей похоронного дела в блокированном городе, это фреска, в которой с наибольшей полнотой отражены горе и муки тысяч горожан. Читать этот текст, обширные фрагменты которого мы здесь публикуем, трудно, но без него невозможно воссоздать подлинную историю ленинградской трагедии.

«В первый период бомбардировок и артиллерийских обстрелов 80—85% трупов, доставляемых в морги из очагов поражения, опознавались родственниками и хоронились в обычном индивидуальном порядке на кладбищах города. Неопознанные трупы по истечении 48 часов фотографировались представителем соответствующего отделения милиции, прикомандированного к моргам, оформлялись составлением актов опознания, на основании актов представителя милиции и врачей оформлялись свидетельства о смерти в ЗАГСах, после чего такие трупы работниками кладбищ, прикомандированными к спецплощадкам, захоранивались в траншеи. Над каждым захороненным в траншее устанавливалась деревянная, окрашенная в красный цвет колонка, на которой писалась фамилия захороненного, а при невозможности установить личность писалось — "Неизвестный". Ценности, обнаруженные при трупах, изымались представителем милиции и последним, по актам, сдавались представителям соответствующих райфо. Морги, построенные на спецплощадках, куда трупы людей, ставших жертвами вражеских бомбардировок и артобстрелов, доставлялись со всех очагов поражений, представляли собой жуткое зрелище. Здесь можно было видеть изуродованные, обезображенные трупы людей, части трупов, т. е. оторванные головы, ноги, руки, размозженные черепа, трупы грудных детей, трупы женщин с крепко обнятыми в агонии смерти трупиками грудных и других возрастов детей.

...Население вынуждено было прибегать к частным способам изготовления гробов, чем воспользовались спекулянты и мародеры, требовавшие от заказчика хлеб

и другие продукты, и люди, сами голодавшие, но желавшие отдать последний долг умершему близкому человеку, за изготовление гроба отдавали свои последние крохи хлеба или карточки умерших, а те, кто не имел хлеба для уплаты за изготовление гроба, или сами сколачивали ящик из дверей, старых досок, фанеры, или просто труп покойника зашивали в простынь, одеяло (куклой). Этот последний способ, как самый легкий и простой, особенно широко применялся. Только в одиночных случаях населению удавалось воспользоваться транспортом учреждений и предприятий для транспортировки покойников на кладбища, а в основном покойники транспортировались на саночках, ручных тележках, детских колясках, на листах фанеры и т. д.

По городу двигалось множество своеобразных похоронных процессий, а на уличных магистралях, ведущих непосредственно к кладбищам (Смольный пр., Георгиевская ул., Новодеревенская ул., 16—17-я линии Васильевского острова и др.), они представляли сплошную вереницу. Тяжелое впечатление производили они на население города. ...Перед входами на кладбища скоплялись сотни людей, саночек, тележек, автомашин, детских колясочек.

Конторки кладбищ были битком набиты людьми. Здесь люди ожидали оформления документов, искали кого-либо из работников кладбищ для отвода места под захоронение, но не находили их, так как их было очень мало, да и те были заняты массовым траншейным захоронением. Здесь же толпились так называемые кладбищенские "волки" с ломами, лопатами, топорами и кувалдами. Эти люди, пользующиеся бедствием других, их бессилием, отсутствием на кладбищах штатных могильщиков, за хлеб, крупу, табак, водку, продовольственные карточки нанимались рыть могилы, продавая их готовыми, но поскольку надзора за их работой со стороны администрации кладбищ не было, а граждане, доставившие покойника, усталые и озябшие, не всегда могли ждать конца захоронения покойников, то "волки" в отдельных случаях бросали незахороненных покойников на кладбище, иногда отрывали неглубокие ямки-могилы, ставили гроб или укладывали "куклу" (покойник, зашитый в одеяло или простынь), прикрывали его несколько

землей или просто снегом и считали свое дело сделанным. Граждане, доставившие на кладбище покойника с благими намерениями, — своими силами вырыть могилу и захоронить, получали место или просто сами выбирали его, начинали рыть могилу, но в силу того, что земля промерзла на один-полтора метра, [а] у них отсутствовал нужный инструмент и физическая сила, вырывали незначительную ямку, прикрывали незначительным слоем земли или снега и уходили, а некоторые просто, попробовав рыть могилу (что было очень трудно), бросали на кладбище покойника и уходили.

С половины декабря 1941 г. кладбища, особенно Серафимовское, Большеохтинское и Волково, представляли такую картину: перед воротами кладбищ прямо на улице, на самих кладбищах у контор, церквей, на дорожках, в канавах, на могилах и между ними десятками, а иногда и сотнями, лежали оставленные покойники в гробах и без них; их постепенно работники кладбищ и привлеченные убирали, хоронили в траншеях, но покойников продолжали подбрасывать, и это зрелище оставалось до марта.

В январе и феврале смертность росла... в связи с этим сокращалось и индивидуальное захоронение, транспортировка покойников на кладбища самим населением. Уже в декабре транспорт треста "Похоронное дело" явно не справлялся с вывозом трупов умерших людей из госпиталей, больниц, эвакопунктов и других мест. К 19 декабря их накопилось в городе больше 7 тысяч. Еще в первой декаде декабря в больнице им. 25-летия Октября прямо во дворе и у забора на территории Троицкого колхозного рынка в штабелях открыто лежало несколько сот трупов... С 19 по 25 декабря включительно был вывезен 4591 труп. Если удалось несколько очистить город от завала трупов, хотя и не на продолжительное время, то значительно усугубилось положение на кладбищах. На кладбищах не было свободных траншей, трупы хоронить было некуда, и они складывались в штабеля на кладбищах: Волковом, Серафимовском, Богословском, Большеохтинском и острове Декабристов. Траншеи, подготовленные летом и осенью, оказались уже заполненными, а 270 рабочих, мобилизован-

ных исполкомами райсоветов... для рытья траншей на правом берегу Невы у Веселого Поселка, на острове Декабристов и кладбищах: Волковом, Большеохтинском и Пискаревском, не дали положительных результатов. Они высылались на работу неаккуратно, с большими пропусками и не давали выработки.

...Если в декабре еще значительную часть умерших транспортировало на кладбища население, то в январе это резко сократилось. Приняло большие размеры такое явление, когда покойников стали в массовом порядке подбрасывать к больницам, поликлиникам, выбрасывать на лестницы, во дворы и даже на улицы города. Организации и предприятия вывозили из города трупы умерших людей и, боясь, что администрация кладбищ их не примет из-за отсутствия документов, сваливали трупы незаметно для сторожей на кладбищах или на улицах вблизи них. На Кременчугской улице у наружных дверей покойницкой больницы им. Боткина ежедневно беспорядочно в куче лежали подброшенные покойники. Кроме того, их можно было часто по утрам видеть выброшенными к воротам домов, на лестницах. При подъезде к кладбищам на дорогах, в канавах, в кустах валялись брошенные трупы людей, их можно было встретить и на свалках вывезенными вместе с мусором — это имело место на дороге, идущей от Богословского кладбища на Пискаревскую дорогу восточнее 1-го овощекомбината.

В январе опять незахороненные трупы накапливались в городе и на кладбищах, хотя к этому времени на кладбищах стало больше порядка...

В январе в городе были установлены случаи людоедства, они постепенно распространялись. Кладбища охранялись плохо из-за отсутствия нужного количества людей и занятости их на других работах. С кладбищ начали похищаться части разрубаемых тут же трупов, особое пристрастие проявлялось к детским трупам, разрубались и похищались трупы, брошенные в городе, так, например:

1. На Еврейском кладбище было обнаружено, что во вскрытом незахороненном гробу были оставлены отрубленные голова и ступни ног, а все остальные части тела унесены.

2. На Серафимовском кладбище заведующий клад-

бищем Беляевский и участковый инспектор милиции обнаружили брошенную отрубленную голову покойника, следы от места обнаружения головы привели в деревянные дома, расположенные на западной окраине кладбища, где и было обнаружено, что жители домов занимались варкой человеческого мяса.

3. Сторож Богословского кладбища т. Самсонова вечером в марте 1942 г. задержала гражданку, которая на ручных саночках в наматраснике что-то вывозила с кладбища, а при осмотре в мешке были обнаружены пять детских трупов. Гражданка была направлена в милицию.

4. На Кременчугской улице недалеко от покойницкой больницы им. Боткина был обнаружен труп с отрубленными мягкими частями тела.

5. На кладбищах находили черепа, из которых [были] извлечены мозги...

На кладбищах часто находили оставленные отрубленные части покойников. Такие части тела нередко, особенно весной с таянием снега, обнаруживались в жилых кварталах города и доставлялись на кладбища для захоронения. Такое положение вынудило на все большие кладбища поставить милицейскую охрану.

15 января 1942 г. исполком Ленгорсовета... обязал всех председателей исполкомов райсоветов к 17 января 1942 г. направить на спецучастки по 400 человек, разрешив им в случае необходимости перевод рабочих с оборонно-строительных работ. Это решение полностью было выполнено только исполкомом райсовета Красногвардейского района... Проведение подрывных работ, рытье траншей и захоронение на Пискаревском кладбище было поручено 4-му полку НКВД. В связи с большими морозами, превышающими –25 градусов, и промерзанием грунта на 1,5 метра исполком выделил штабу МПВО, 4-му полку НКВД и тресту "Похоронное дело" водку для выдачи рабочим и бойцам, работавшим на рытье траншей и захоронении.

...Пискаревское кладбище ...как новое, располагающее значительным земельным участком, явилось основным местом для массового захоронения. Здесь на протяжении с 16 декабря 1941 г. по 1 мая 1942 г. вырыто и захоронено 129 траншей, не считая воинской площадки. На

данном кладбище есть 6 траншей 4–5 метров глубиной, 6 метров шириной и до 180 метров длиной, которые вместили по 20 с лишним тысяч трупов каждая. По неподдающимся проверке данным, на этом кладбище только за два с половиной месяца, т. е. с 1 января по 15 марта 1942 г., похоронено около 200 тыс. покойников, а всего с декабря 1941 г. по 1 июня 1942 г. — 371 428.

Последние дни января и февраль были периодом, когда количество захоронений достигло наивысшей точки. В больницах, госпиталях, на эвакопунктах и в районных моргах опять скопилось большое количество трупов.

...В течение значительного количества дней февраля только на Пискаревском кладбище привозили для захоронения 6–7 тыс. трупов в сутки. В связи с дополнительной прогрессивной выдачей хлеба и водки за вывозку трупов автомашины использовались очень интенсивно. Можно было наблюдать двигавшиеся по городу 5-тонные автомашины, нагруженные навалом трупами людей в полтора раза выше бортов автомашины, плохо прикрытыми, а наверху сидели 5—6 человек рабочих. Вопрос вывоза трупов был разрешен положительно.

Кроме работавших экскаваторов, на кладбищах города в феврале 1942 г. работало около 4000 человек ежедневно. Это были бойцы МПВО, работавшие на Серафимовском, Богословском, Большеохтинском кладбищах и спецплощадке острова Декабристов; бойцы 4-го полка НКВД ...работали на Пискаревском кладбище; рабочие и служащие фабрик, заводов и учреждений, привлеченные к работам в порядке трудповинности. Специальные команды МПВО и 4-го полка НКВД производили подрывные работы, от которых на таких кладбищах, как Серафимовское и Пискаревское, круглые сутки гремела канонада взрывов. Остальные бойцы, рабочие и служащие после подрыва вручную рыли траншеи, укладывали в них покойников, вынимали покойников из гробов (так как захоронение в гробах в траншеи занимало много места, а траншей не хватало), зарывали траншеи, заполненные покойниками. Несмотря на такие масштабы работы по рытью траншей, их все же недоставало.

...3 февраля 1942 г. исполком Ленгорсовета принял решение об использовании под братскую могилу имев-

шегося на Богословском кладбище песочного карьера, который был заполнен в течение 5—6 дней 60 тысячами трупов людей. Под захоронение были использованы и бомбовые воронки на Богословском кладбище, в которые захоронено около 1000 трупов. Позже было решено использовать под захоронение часть противотанкового рва, расположенного рядом с песочным карьером с северной стороны, где было тоже захоронено больше 10 тысяч покойников. На северной окраине Серафимовского кладбища имевшиеся 18 волчьих ям, подготовленные как противотанковые препятствия, были использованы под захоронение, и в них было похоронено около 15 000 трупов. Но темпы поступления на кладбища трупов значительно обгоняли быстро нарастающие темпы заготовки траншей, а потому и проведенные мероприятия по использованию под захоронение карьера и волчьих ям не устраняли диспропорции между наличием готовых траншей и завозом на кладбища трупов. На Пискаревском кладбище количество незахороненных трупов, сложенных в штабеля длиною до 180—200 метров и высотою до 2 метров, из-за отсутствия траншей в отдельные дни февраля достигало 20—25 тысяч; на Серафимовском кладбище трупами был забит морг, церковь и часть их лежала просто на кладбище. Штабель трупов около 5 тысяч лежал и на Большеохтинском кладбище, там же полностью был заложен трупами морг. На Кладбище имени Жертв 9 января в сенном сарае лежало около 3 тысяч незахороненных трупов.

Такое положение на кладбищах длилось до конца февраля 1942 г., т. е. до наступления переломного момента, когда началось, хотя и медленное, но снижение поступления трупов для захоронения на кладбища, в связи со снижением смертности в городе.

...Работа крематория по сжиганию трупов значительно облегчила дело захоронения и дала возможность в конце марта ликвидировать залежи незахороненных трупов на кладбищах, привести наличие готовых траншей в соответствие с потребностью для захоронения поступающих на кладбища трупов, а с 1 июня 1942 г., благодаря успешной работе крематория и значительному снижению смертности, мы совсем прекратили

массовое захоронение трупов людей на кладбищах, и все трупы из больниц, районных моргов и других мест трестом "Похоронное дело" транспортируются в крематорий и предаются кремации. С 1 июня и по настоящее время на кладбищах производится только индивидуальное захоронение.

...С началом таяния снега на всех кладбищах (особенно много на Волковском, Большеохтинском, Серафимовском и им. Жертв 9-го января) было обнаружено много вытаявших из-под снега гробов с незахороненными трупами. Их нужно было до наступления тепла и разложения убрать, кремировать или захоронить в имевшиеся траншеи.

...В эти три дня (16—18 апреля 1942 года. — *С.Я.*) все работники треста... работники кладбищ, около тысячи человек рабочих и работниц фабрик и заводов, мобилизованные исполкомами райсоветов, собрали 12 900 трупов-"подснежников", как их тогда называли, их вынимали из гробов, грузили на автомашины и направляли в крематорий, а если он не мог принять — на Пискаревское кладбище для захоронения в имевшиеся там подготовленные траншеи. Оставшиеся гробы и другие принадлежности захоронения тут же на кладбищах на кострах сжигались.

...Если в конце декабря 1941 г., в те тяжелые дни, исполком допустил возможность захоронения трупов из больниц и госпиталей по спискам с последующим оформлением смертей в органах ЗАГСа, чего больницы и госпитали не делали, то с 15 апреля управлением было тресту и кладбищам категорически запрещено принимать трупы к захоронению без свидетельств о смерти, это внесло порядок в дело учета смертности.

Многое в стихийно возникших и наспех организованных в декабре 1941 г. районных моргах совершенно не годилось к эксплуатации в весенне-летних условиях (в Октябрьском районе доставляемые в морг на Канонерской ул., д. 33, в Кировском районе в больнице им. Володарского, в Ленинском районе на 12-й Красноармейской ул. — трупы прямо складывались во дворах), у них не было утвержденных штатов и ставок работникам, не было разработано форм регистрации трупов,

никаких инструкций, и каждый морг работал по-своему и разным организациям в районе подчинялся.

15 апреля 1942 г. ...было предложено райкоммунотделам... в трехдневный срок подобрать другие помещения под районные морги.

...Установлен строгий санитарный контроль за состоянием моргов, налажена регулярная дезинфекция помещений. ...В среднем в день в апреле было вывезено 316 трупов.

В городе уже не стало залежей невывезенных, а на кладбищах незахороненных трупов. Только в отдельных местах в городе обнаруживались трупы, о наличии которых узнавали случайно. Так, например, после того как эвакуировался Эрмитаж, в подвалах его здания было обнаружено 109 трупов. Это умирали работники Эрмитажа, а администрация их складывала в подвале и, уезжая, оставила, никому ничего не сказав.

Зимой 1941/42 г. много индивидуальных захоронений было произведено с грубым нарушением санитарных норм, т. е. на глубине от поверхности земли на 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40 и т. д. сантиметров вместо 80 сантиметров.

...Была установлена очередность перезахоронений. Перезахоронение покойников проводилось силами работников кладбища и рабочих, привлеченных райсоветами к работам на кладбища в порядке трудповинности, путем углубления могил и опускания покойника, а в отдельных случаях покойника перезахоранивали тут же на кладбище в траншею. Всего за весенне-летний период на кладбищах города было перезахоронено 9173 индивидуально захороненных покойника.

Наступление весенне-летнего тепла и начало процесса разложения захороненных покойников требовали от управления, треста и работников кладбищ повседневного строгого наблюдения за индивидуальными и братскими могилами, тем более, что значительная часть их была только слегка присыпана землей. Начались провалы насыпей индивидуальных и братских могил, обнажение трупов, появление трупного запаха. Это грозило возникновением эпидемических заболеваний. Управление и трест срочно поставили на засыпку братских могил на Пискаревском кладбище два экскаватора типа "Комсомолец", а

на другие — людей: всех работников кладбищ, часть личного состава спецроты МПВО и рабочих, мобилизованных райсоветами. В первую очередь были засыпаны все братские могилы с образованием на них холмов, в течение лета насыпи на некоторых могилах оседали несколько раз, их каждый раз подсыпали вновь. К осени 1942 г. были приведены в полный порядок с оформлением надмогильных холмов 17 850 индивидуальных и 584 братские могилы. Только на 78 братских могилах на Пискаревском кладбище не были окончательно оформлены надмогильные холмы. Засыпку братской могилы на Богословском кладбище (песочный карьер)... производило экскаваторами Управление культурно-бытового строительства. Процесс засыпки длился в течение всего лета, так как по мере разложения трупов насыпанная земля осаживалась... Работники "Похоронного дела" считали, что надо не допускать только обнажения трупов при провалах надмогильных насыпей, а остальное пойдет нормально, и мы оказались правыми.

...Пережив весьма горький опыт отсутствия запасных траншей для массового захоронения в зиму 1941/42 г., а также имея ввиду продолжавшуюся блокаду, бомбардировки и обстрел города... исполком Ленгорсовета... разрешил... в течение лета произвести работы по рытью запасных братских могил... Сейчас каждое кладбище имеет запасные братские могилы, а всего в разных местах 96 братских могил длиною 6620 метров вместимостью на 134 120 покойников.

...О масштабах работы по захоронению можно судить хотя бы по тому, что с 1 июля 1941 г. по 1 июля 1942 г., кроме индивидуального, под захоронение занято на кладбищах города и вновь отведенных участках 662 братских могилы протяжением 20 233 погонных метра, из них вынуто земли в условиях суровых морозов и промерзания грунта до полутора метров — 160 135 куб. метров, не считая занятых под захоронение песочного карьера, противотанкового рва, бомбовых воронок на Богословском кладбище и волчьих ям на Серафимовском.

По данным кладбищ города, далеко не точным, возможно завышенным, ими за период с 1 июля 1941 г. по 1 июля 1942 г. захоронено 1 093 695 покойников»[41].

И если человек в страданьях нем,
Мне Бог дает поведать, как я стражду.

И. В. Гёте. Торквато Тассо.
Перевод С. Соловьева

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ЛЮДИ

Глава первая

Облик

«Что “они” с тобой сделали» — таковы были первые слова Александра Прокофьева, когда он увидел одну из своих знакомых весной 1942 года. В начале декабря 1941 года О. Ф. Берггольц еще не прочь была поиронизировать над своей «типично ленинградской внешностью», но спустя несколько недель неулыбчивость, угрюмость, немота блокадных лиц отмечались повсеместно. «Вмятины» войны обнаружились на облике людей еще до наступления голода. «У большинства измятые лица, какой-то зеленовато-серый цвет кожи», — записывала в дневнике 5 октября 1941 года М. С. Коноплева, объясняя это усталостью людей от многочисленных дежурств в пожарных и спасательных командах[1].

Через несколько недель «цветовая» гамма лиц обозначилась четко. Она менялась быстро: «Лица сначала бледнели, потом становились желтыми. Затем окраска кожи принимала сиренево-землистый оттенок»[2]. Первое, что бросалось в глаза, — это мертвенная бледность, «серобетонность» и желтизна лиц. О женщине с «налитым желтой водой лицом» И. Д. Зеленская сообщала в дневнике 18 декабря 1941 года; есть и другие свидетельства[3]. Нередко отмечался землистый цвет лица. «Это была болезненная пигментация, вызванная голоданием, но к ней примешивалась несмываемая маска черной

копоти от керосиновых и масляных фитилей», — рассказывал военврач А. Коровин[4]. «Закопченные» лица — клеймо блокадного Ленинграда. Их по привычке называли еще и грязными, но отмыть их не только от копоти светильников, но главным образом от копоти буржуек удавалось далеко не всем.

Н. П. Осипова, наверное, не без признательности занесла в дневник 1 февраля 1942 года реплику проходивших мимо матросов о том, что «первую встретили с чистым лицом», но таковыми могли оставаться в «смертное время» лишь немногие. Р. И. Бушель рассказывала, как по дороге на Смоленское кладбище они занялись с директором фабрики несколько странным делом — «решили следить, сколько... увидим женщин с накрашенными губами». Вывод был неутешительным: «Встретили только одну. Она была худая, страшная, но вымытая и с подмазанными губами». Неумытость лиц стала особенно часто наблюдаться с конца декабря 1941 года, когда кончились дрова, а грянувшие лютые морозы сделали буржуйки самым популярным средством отопления. Воду берегли, довезти и согреть ее было трудно, в комнатах стало холодно, а многие обессилели и утратили силу воли в такой степени, что перестали следить за собой. «Неотмываемые, закопченные лица» сестер и нянь наблюдал А. Коровин и в госпитале[5].

Повсеместно отмечались худоба и отечность лиц. Говоря о них, как правило, добавляли всегда слово «страшная». «Все исхудали страшно», — сообщала в дневнике 14 октября 1941 года Л. В. Шапорина, а ведь это было еще преддверие голода. В начале декабря 1941 года «осунутость» стала общей приметой ленинградцев. Некогда полные здоровые лица из-за голода «обвисали». Необратимо нарушались их пропорции — иногда часть лица «текла» вниз, его очерчивали глубокие складки и морщины. «Складки от носа, вокруг рта к подбородку... на щеках обвисшая складками кожа» — таким был автопортрет, нарисованный Л. В. Шапориной[6]. Лица приобретали «старческий» вид. Убогость носимой горожанами «старческой» одежды приводила порой к тому, что тридцатилетней женщине уступали место в трамвае и даже к девочке-подростку обращались словом «бабушка».

На многих лицах резко проступали скулы, они становились «костлявыми», губы, обнажая зубы, придавали им «страшный оскал». Некоторые лица выглядели как черепа, обтянутые грязной кожей. Отмечали и их «носатость», особенно у женщин, — «костяные лица, провалы щек — необычайно выдававшиеся, увеличенные носы»[7]. У носов, казалось, провалилась переносица — это видно по рисункам того времени.

Глаза с покрасневшими веками поражали своим «глубоким западанием», широкой открытостью. «Огромные глаза, как двери», — скажет воспитательница детского дома Е. Г. Бронникова о взятых под опеку двух малолетних голодных сиротах[8]. Под глазами имелись белесоватые мешки, их оттеняли синева и кровоподтеки. Вследствие гормональных нарушений у многих женщин стали расти усы и борода. В. В. Бианки увидел весной 1942 года «поражающее количество женщин, даже девиц с усами», он же отметил и исчезновение волосатости у мужчин.

Наиболее распространенным последствием голода являлось опухание. Первые его признаки стали наблюдаться с начала ноября 1941 года. «Заметно опух», — скажет М. В. Машкова о своем друге в письме 5 ноября 1941 года. Разговоры об опухании часто стали слышать в городе в середине ноября. «Я пока еще хожу, но чувствую, что если ничем не подкрепиться, то тоже опухну», — записывает в дневнике 15 ноября 1941 года А. Ф. Евдокимов; 30 ноября он обнаружил у себя опухание ног. А. Н. Болдырев в дневниковой записи 16 ноября 1941 года описывал внешний вид своей знакомой, которая, даже получая карточку I категории, «почему-то до неузнаваемости опухла»[9].

К началу декабря у блокадников начали опухать не только ноги, но и лица. Некоторые лица опухли так, что глаза были еле видны. 20 декабря В. Ф. Чекризов отметил в дневнике: «Распухшие люди... не редкость, а заурядное явление», а в записи 1 января 1942 года признал, что большинство голодающих именно пухнут, а не худеют. Опухали обычно лица и ноги, но нередко и руки, а иногда даже половые органы у мужчин. Ноги становились «слоновыми» — их с трудом поднимали и

двигались «по вершку». Следствием опухания являлась невероятная слабость[10].

Причиной опухания блокадники обычно считали неумеренное потребление воды с солью, горячего кипятка. Любая жидкость — а к ней относятся и многообразные «пустые» супы (соевый, дрожжевой) — помогала немного утолить чувство голода. Эти супы выдавали часто без зачета продовольственных талонов, их можно было брать в столовых не один раз. Знали немало случаев, когда истощенные посетители заводских, ведомственных, учрежденческих и «привилегированных» столовых выпивали по 4—5 тарелок супа и к тому же брали их еще и на дом. Все сухие продукты (хлеб, крупа), как правило, размачивались в воде — считалось, что так получается сытнее. Тарелка супа с размоченным хлебом представлялась куда более огромной, чем крохотный 200-граммовый брикет. Остановиться было трудно. Голод выворачивал людей наизнанку, никакими уговорами предостеречь их не удавалось.

Голод ощутимо сказывался и на телах блокадников. «Не узнали себя», «один скелет», «кожа да кости» — плача, рассказывали люди, впервые за несколько месяцев увидевшие себя обнаженными в бане. «Ягодиц нет, есть только тазобедренные кости. Мяса нет, животы сморщились» — так выглядели женщины после многодневной голодовки. Этих свидетельств много — сошлемся и на записи О. Ф. Берггольц: «Темные, обтянутые кожей тела женщин... Груди у них исчезли, животы ввалились... У некоторых же животы были безобразно вспучены». З. С. Травкина обратила внимание на то, что все женщины в бане ходили «с хвостами». Имелись в виду копчики — на скелетах, обтянутых кожей, они выступали особенно резко[11].

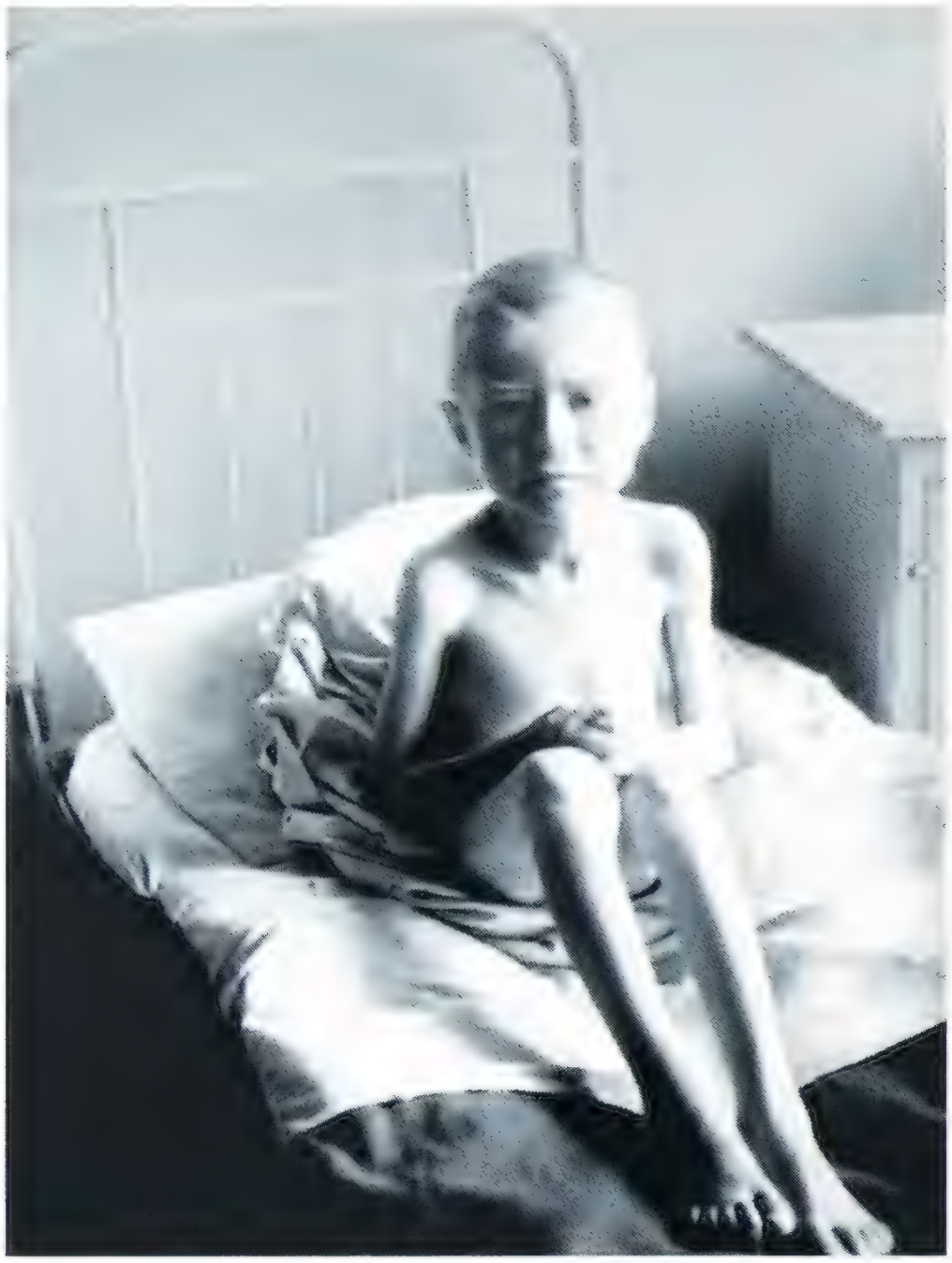
Организм, лишенный подпитки, «съедал» внутренние органы, ткани, чаще всего сердце, печень, селезенку. «Голодая, человек занимается самопоеданием. Прежде всего, исчезают, поглощаются жиры. Потом наступает очередь других тканей, уходят мышцы», — рассказывал А. И. Пантелеев, заметив, что голод съел у него бородавку. «Мышцы, как тряпки» — наблюдалось и такое в блокадном Ленинграде. Делавшая впрыскивание в боль-

Ребенок возле плаката. *1942 г.*

В бомбоубежище

Дети
из детского сада
№ 237

Истощенная
от голода девочка
в ленинградской
больнице



Палата
детской больницы
с новогодней елкой
в блокадном
Ленинграде.
Зима 1941/42 г.

Жители
блокадного
Ленинграда
у ларька с товарами

Толкучка
у Кузнечного
рынка.
Зима 1941/42 г.

Обмен товарами на рынке

«Тихий ход! Опасно! Неразорвавшаяся бомба». *1942 г.*

Эвакуация по ледовой Дороге жизни. *Зима 1941/42 г.*

Трупы ленинградцев, пытавшихся пройти пешком через Ладожское озеро. *Зима 1941/42 г.*

Посадка на трамваи эвакуирующихся жителей Кировского района, подвергавшегося наиболее сильным немецким артобстрелам. *1942 г.*

Эвакуируемые из города везут свои вещи на Финляндский вокзал. *Март 1942 г.*

Жители Ленинграда вскапывают землю возле Исаакиевского собора под посадку овощей.
Весна 1942 г.

Женщины на заводе льют металл.
1942 г.

Девушки
из бригады
местной
противовоздушной
обороны (МПВО)
снимают урожай
капусты
на Исаакиевской
площади.
Август 1942 г.

Ремонт крыла
советского
самолета-
истребителя Як-1Б
из состава 21-го
истребительного
авиаполка ВВС
Балтийского флота
в одной
из авиамастерских
Ленинграда.
1942 г.

Выгрузка продовольствия для блокадного Ленинграда из транспортного самолета Ли-2. *Зима 1941/42 г.*

Продовольствие в Ленинград везут по льду Ладожского озера. *Зима 1941/42 г.*

Паровоз с мукой в Ленинграде на трамвайных рельсах. *1942 г.*

Доставка продуктов для столовой. *1942 г.*

Исполнение Седьмой (Ленинградской) симфонии Дмитрия Шостаковича, написанной в осажденном городе. Дирижирует оркестром Карл Элиасберг. *1942 г.*

Читальный зал Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в годы блокады

Вид на двор
из разбитого окна
ленинградского
Театра юных зрителей
на Моховой улице

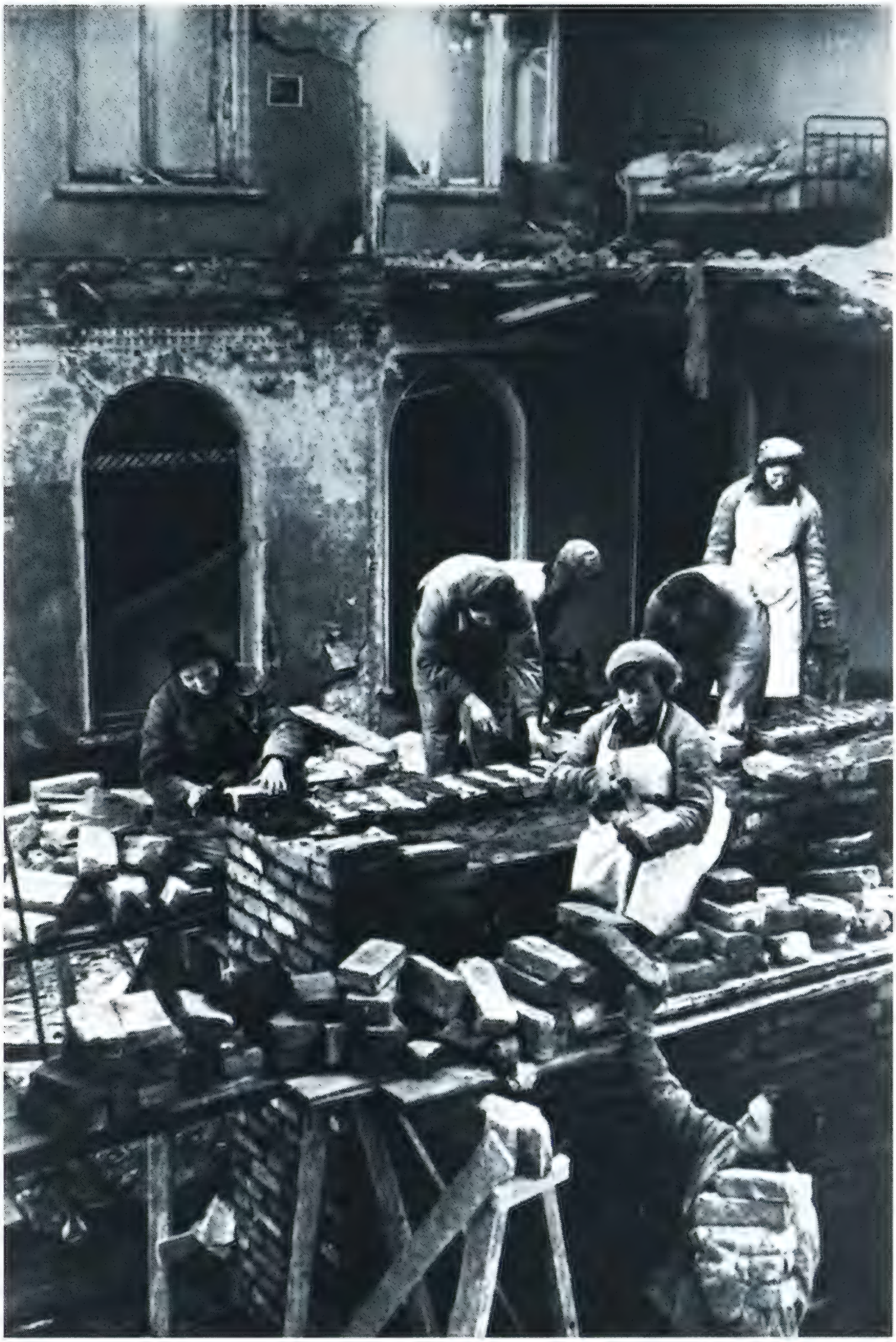
Театр
музыкальной комедии
действовал
всю блокаду.
1942 г.

Навстречу ленинградцам. Волховский фронт. *Январь 1943 г.*

Прорыв блокады Ленинграда.
Встреча войск Ленинградского и Волховского фронтов у Ропши.
Январь 1943 г.

Дождались! Ленинградцы и красноармейцы у приказа войскам Ленинградского фронта о снятии блокады города. *Январь 1943 г.*

Ленинградцы закрашивают на стене дома надпись, предупреждающую об артобстрелах. *Февраль 1944 г.*



Первые восстановительные работы в Ленинграде. *Май 1944 г.*

нице Л. В. Шапорина была поражена худобой рук как мужчин, так и женщин: «Одни мышцы и висячая дряблая кожа». У детей снижался вес, уменьшался рост, обнаруживался рахит[12]. Иногда у них нарушались и пропорции тела — голова выглядела чрезмерно большой по отношению к туловищу. Истощенные дети со сморщенной кожей напоминали маленьких старичков.

В начале 1942 года отчетливо проявились признаки и другой болезни — цинги. Особенно много людей страдало от нее в марте 1942 года. Один из первых симптомов цинги — распухание и кровоточивость десен, выпадение зубов. На теле появлялись багровые и фиолетовые пятна. Они «ползли» по коже, увеличиваясь в размерах. Ноги «остекленевали», плохо сгибались, возникали боли в костях пяток и в суставах, ходить было трудно. Кислая пища казалась горькой, сладкая — кислой. Лицо, тело, губы покрывались «болячками», язвами, фурункулами. «У меня были фурункулы на руках, на попе. В 1942-м всё было покрыто фурункулами», — рассказывала одна из блокадниц. Появлялись гнойные, цинготные нарывы на теле[13].

От цинги пытались спасаться весной 1942 года настоем из хвои. Его выдавали бесплатно и даже в принудительном порядке в столовых и лечебницах. Вкус его отталкивал («довольно противный», как скажет один из блокадников), и не все были убеждены в его полезности: быстрого эффекта он не давал. «Свежие пятнышки» цинги обнаруживали у себя и те, кто не раз использовал витаминный напиток. После употребления настоя иногда расстраивался желудок, а у тех, кто был уверен в его чудодейственных свойствах и пил без меры, опухали лицо, руки и ноги[14]. Самым лучшим средством считался лук, но многим он был недоступен.

Опухание, дистрофия, цинга делали некоторые лица неузнаваемыми. Об этом не раз говорили ленинградцы. Публикуемый здесь фрагмент дневника директора детского дома Н. Г. Горбуновой, как в капле воды, отразил нескончаемую боль людей, оказавшихся в блокадном аду:

«Один боец приехал с фронта и зашел, чтобы навестить своего ребенка, в д/дом. Ребенок его лежал в изо-

ляторе с дистрофией III степени и цингой. Ребенок был настолько исхудавший, что трудно передать. Его к нам принесли на носилках. Я пошла с отцом в изолятор и показываю отцу его ребенка. Отец не узнает ребенка и говорит: "Нет, это не мой ребенок". Ребенок же узнал отца и говорит: "Папа!" Отец наклоняется к нему и говорит: "Неужели ты, Валя?! Какая ты стала?! Нет, нет, это не моя дочь". Ребенок заплакал и говорит: "Папа, нет, это я!" (Девочке было семь лет.) Я стою рядом и чувствую прямо, что сердце перестает биться. Ребенок начал рассказывать отцу, что мама пропала... "тетя чужая взяла меня к себе, мы почти ничего не ели, голодали, меня принесли в д/дом". Отец все же не мог удостовериться, был очень бледный, весь дрожал. Наконец, вынул из бокового кармана фотографию и показывает Вале и спрашивает: "Кто это?" Девочка сразу ответила: "Это мама, дядя Миша, это ты, папа!" Отец удостоверился, но я смотрю, что ему не по себе, что он чуть-чуть сдерживает себя. Он посидел с ребенком, пришел в себя и молчал... Молчание продолжалось минут 5. Потом он встал, крепко ее поцеловал и мы с ним вышли. Придя ко мне в кабинет, силы его оставили, он заплакал. Я ничего ему не говорила...»[15]

В «смертное время» изменялись походка и движения людей. Людей «качало», ноги путались, волочились, «не держали». Падали от незначительного толчка. «У людей была особая походка, — вспоминал директор ГИПХ П. П. Трофимов. — Народ стал ходить тише и тише — так ходили старики, взрослые и дети. Никто не торопится. Редко кто кого обгонял». Горожане, казалось, не шли, а «ползли», движения являлись замедленными и осторожными. Некоторые, в том числе и дети, чтобы не упасть, ходили с палочками или костылями. «Нужно выходить из дома с таким расчетом, чтобы посидеть — раза четыре... иначе не дойти», — рассказывал врач В. Гаршин[16].

Уставшие, обессиленные, опустошенные, даже утратившие волю к жизни люди переставали следить за собой, за своей внешностью и гигиеной. Исчезновение цивилизованного быта, закрытие бань, прачечных и парикмахерских являлись одними из главных, но не единственными причинами этого. Иначе и не могло

быть в то время, когда нередко перестали оглядываться друг на друга, опасаясь встретить предосудительный взгляд, поскольку многие вели себя так же. Даже имея хорошую одежду, иногда облачались в самую плохую, в «тряпье» — не коптить же буржуйками яркие, эффектные одеяния, не облачаться же шатающейся, падающей от истощения женщине, с обезображенным нарывами и фурункулами лицом, в красивое пальто — кого оно теперь сделает привлекательным? Так становилось привычкой пренебрежение к цивилизованным обычаям, даже если их, хотя бы отчасти, еще можно было соблюдать. «Поражает, как все-таки народ опускается... При встрече я... наблюдал, как некоторые неделями не умываются, с грязными лицами, носами, ушами, в грязных рубашках, воротничках, многие не бриты», — возмущался в феврале 1942 года заведующий райпромкомбинатом А. П. Никулин, тут же, однако, оговорившись, что «большинство все же бодрые и подвижные, опрятные и уверенные в своих силах». Этим оптимизмом, заметим, пропитан весь его дневник[17]. Можно было бы возразить ему, что стирать нечем и негде, что теплой воды мало, что лица покрывались копотью буржуек каждый день, — и услышать в ответ истории о тех, кто чистил и стирал одежду и в холодной воде, кто отскабливал от черноты лицо как мог, кто брился каждый день.

Небритость примечалась особо — считалось, что с этого и начинается «сдача» человека. Возник даже термин «моральная дистрофия». Помимо прочего, он служил и средством порицания тех, кто занимался, по словам Э. Г. Левиной, «спекуляцией на обстановке» и использовал дистрофию как «ширму для оправдания грязи и лени». Совсем уж «опустившихся» людей стыдили, не щадя их чувств, — этим, правда, чаще занимались руководители разных рангов, а не сослуживцы. Но на упреки мало кто обращал внимание, «размораживание» блокадного человека происходило постепенно и естественно, по мере того как стирался «смертный» налет с облика города. «...Раньше была женщина как женщина, а тут страшилище прямо! Грязные руки, как у трубочиста, лицо грязное, волосы трепаные», — рассказывал о том, что видел зимой 1941/42 года заведующий культ-

пропом завода им. Молотова И. М. Турков. Уговоры не действовали: «Наконец, публично отстегал, только это помогло»[18].

Испытания, пережитые ленинградцами зимой 1941/42 года, в значительной мере отразились на их одежде. Люди постоянно мерзли — дома плохо отапливались, все были истощены: никакие «жиры» тело не согревали. Использовалась, как выразился один из блокадников, «сборная» одежда. Каждый вынимал из своего гардероба всё, что имелось, иногда и замызганное и засаленное тряпье. Не до приличий было, главное — чтобы оно грело. В. Саянову встретился на Аничковом мосту художник с мольбертом, «на нем были валенки с галошами, обернутые в какие-то тряпки. Поверх шубы дамская кофта»[19]. В стеганых штанах, ватниках, платках ходили и мужчины, и женщины. Надевали на себя несколько слоев теплых вещей, не заботясь о том, делает ли это фигуру уродливой: человек казался облаченным в сарафан. Е. В. Гуменюк вспоминала, как ее семья выезжала из Ленинграда в 42-градусный мороз: «На папе (а он был болен) — два костюма, пальто и сверху ватное одеяло». Горожан с накинутым поверх пальто покрывалом видели не раз — чаще среди них встречались люди с «дистрофической» внешностью. Поскольку многие являлись исхудавшими, шубы подвязывались веревками. Обычно носили зимнее пальто, причем иногда надевали одно на другое и затягивали ремнем — так было теплее. Холод ощущался столь сильно, что зимнюю одежду — шубы, валенки, пальто — носили и в мае—июне 1942 года[20].

Валенки имелись не у всех — горько говорить, но именно их быстрее всего снимали с мертвых на улицах и во дворах. Носили и рваные боты — чинить их зимой было некому, а купить невозможно. «У меня не было теплой одежды, только короткие суконные боты. Чтобы не замерзнуть, я обертывала ноги какими-то старыми кофтами и влезала в валенки 45-го размера, то есть на десять номеров больше» — случалось и такое. Очень тяжело читать описания того, как были обуты дети, найденные у тел мертвых матерей и забранные в детдом. Старались увезти их быстрее, не прикасаясь к одежде

и обуви, покрытой вшами и нечистотами. «У кого ноги обмотаны тряпками, у кого ботинки рваные, у кого валенки, чулок не было ни у кого» — так выглядели двух-трехлетние сироты, привезенные зимой в распределитель на Подольской улице[21].

Дополняли картину «блокадной» одежды многочисленные мешочки, металлические коробки, склянки, даже жестяные консервные банки. Все это дребезжало, лязгало, стучало, когда складывалось в сумку или большой мешок. Несли их, по свидетельству А. Коровина, «все ленинградцы от детей до глубоких стариков». В них приносили в столовую хлеб, обычно съедавшийся вместе с супом, еще какие-нибудь «приправы», казалось, делавшие пищу вкуснее. Из них ели, потому что в столовых не хватало тарелок. В них уносили из тех же столовых домой несколько порций «бескарточных» супов, компоты, «комки овсяной каши, завернутые в заскорузлую мокрую тряпку... бутылки с пенистым супом из мороженой черной муки». Позднее, с лета 1942 года, к тем, кто носил с собой многочисленные склянки, стали относиться даже брезгливо — но обычаи зимы преодолевались с трудом[22].

И все-таки люди, когда это становилось возможным, старались выглядеть хотя бы чуть красивее — особенно женщины. Многие еще пытались «держаться» и в конце 1941 года — не сразу исчезали у блокадников привычки и манеры прошлых лет. «На бабку посмотришь, так делается жутко, а она еще претендует приобрести ей галоши, платье и т. д.», — с удивлением отмечал в дневниковой записи 15 декабря 1941 года П. М. Самарин, не преминув сказать, что отданной под его опеку «старухе-покойнице» было 82 года. Это редкий случай, но видели и людей (не только из артистического мира), которые ходили подтянутыми, в выглаженных костюмах. И это были разные люди. Трудившаяся на фабрике «Рабочий» М. А. Бочавер перекраивала платье и блузку, чтобы «не добавлять страха людям», искусствовед Ф. Ф. Нотгафт, работавший в Эрмитаже, сразу обращал на себя внимание безукоризненным видом, а художник И. Я. Билибин, «одетый в ватник, неизменно был при галстуке»[23].

Весна 1942 года, сколь бы холодной она ни была,

своеобразно «раскрепощала» горожан. О «моде» речи не шло, но начали замечать и короткие юбки, и цветастые джемперы. Словно сталкивались два потока людей на улицах — тех, чей облик и одежда еще хранили отпечаток холодной и голодной зимы, и тех, кто порой нетерпеливо стремился скинуть «блокадную» чешую. «Очень много женщин на улицах в штанах, чаще в лыжных, в комбинезоне шахтеров, в военных брюках, заправленных в русские сапоги. Иногда пройдет... дамочка в дорогом пальто, а ниже — в мужниных или брата брюках, заботливо выглаженных, со складочкой», — рассказывал о том, что увидел в марте 1942 года В. В. Бианки[24].

В апреле стали меньше видеть «женщин, похожих на мужчин». «Встретилась девушка, обутая не в валенки, а в туфли. На девушке легкое демисезонное пальто. Похудевшие ноги обтянуты шелковыми чулками», — отметил в дневнике 10 апреля 1942 года Г. Кулагин. О появившихся на улицах хорошо одетых молодых женщинах и даже мужчинах сообщал в начале мая в письме В. С. Люблинский. Мартовские и майские праздники 1942 года также отчасти «расковывали» людей — женщины, следуя традиции, украшали лентами прически, «прихорашивались», надевали шляпки. «Многие на работу пришли при галстуках и свежих сорочках, в новых костюмчиках», — описывал день 1 мая 1942 года В. Ф. Чекризов[25].

Стремящихся выглядеть «модными» женщин было, конечно, весной 1942 года очень мало, но на них всегда оглядывались, о них чаще рассказывали и, говоря прямо, иногда задавали себе и вопрос о том, чем они занимались в блокадную зиму. Но к этому скоро стали привыкать. Питание улучшалось, лица у многих (особенно в 1943 году) стали приобретать здоровый цвет, люди окрепли, меньше встречалось почерневших, «закоптелых» блокадников. «Остродистрофические женщины, которые еле передвигали ноги, в начале лета исчезли, их больше на улице не видно. У женщин средних лет вид нездоровый, кости черепа обтянуты кожей. Среди молодых женщин очень много цветущих, все блондинки, очень светлые при явном участии перекиси и причесаны все одинаково... Спереди надо лбом два локона положены, а сзади грива до плеч. У всех этих девиц

очень хорошие, новенькие туфельки и такие же чулочки. Ходят очень быстро и очень весело», — вспоминала Л. В. Шапорина.

Различие между молодыми и не очень молодыми, наверное, проведено ею не случайно: у кого-то, в силу возраста, имелось больше шансов сделать жизнь лучше и уютнее, даже не пятная репутацию. В то же время, осенью 1942 года, когда Л. В. Шапорина описывала порхающих юных девушек, А. Н. Болдырев стал свидетелем другой сцены: двое «толстых, сытых» служащих оскорбляли уборщицу-дистрофика за то, что она не успела убрать комнату. «Была она слаба и сутулилась, а лицо всё в обвисших складках пустой кожи, покрытое страшной темной желтизной дистрофии... больные глаза с больным блеском и голодом в них»[26].

Попыткам придать цивилизованный облик горожанам после зимы в значительной мере препятствовало отсутствие необходимого количества прачечных, парикмахерских, обувных и пошивочных мастерских. Прачечные зимой почти не работали. Обессиленным блокадникам надо было, стоя в очереди, набрать воду, с огромными усилиями довезти ее до дома, согреть в тазу, тратя на это драгоценные поленья, полоскать и высушивать одежду в промерзших комнатах — и у многих опускались руки. Часто стирали только то, что считалось самым необходимым; о грудах грязного белья, сваленного на полу, не раз писали те, кто побывал в «выморочных» квартирах. Некоторые просили постирать других людей, знакомых или совсем незнакомых, но в любом случае требовалось их отблагодарить. Кто-то пытался полоскать вещи у колодцев и колонок, но возвращаться с намокшим и отяжелевшим бельем было еще труднее, чем везти воду на санках.

Весной 1942 года, когда положение в Ленинграде стабилизировалось, властям стало ясно, что город не может быть населен лишь обросшими, немытыми людьми в ветхой, грязной одежде и разваливающейся обуви. Работа по восстановлению пунктов бытового обслуживания проводилась, как часто бывало, в спешном порядке со всеми присущими ему недостатками. К 1 марта 1942 года действовало 67 парикмахерских и свыше 180 пун-

ктов по починке обуви и одежды. Для такого города, как Ленинград, это было мало, и заметим, о работе парикмахерских и обувных мастерских мы почти не найдем сведений в дневниках этого времени. Даже в одном из отчетов горкому ВКП(б) обращалось внимание на низкую дисциплину и квалификацию трудившихся в этих пунктах (речь, вероятнее всего, шла о невыходах на работу) и их малом числе (два-три человека), из-за чего мастерские не успевали даже в минимальной степени выполнять заказы[27].

Свидетельств о том, как работали парикмахерские во время блокады, мало. Описание того, как пытались восстановить работу парикмахерских в крупнейшем городском районе — Фрунзенском, мы находим в стенограмме сообщения одного из его руководителей: «Парикмахеры тогда получали вторую категорию (продовольств. карточки), большое количество парикмахеров... умерли или лежали больные, часть их эвакуировалась... За счет закрытия некоторых парикмахерских мы сконцентрировали мастеров и открыли парикмахерские на главных магистралях района, поближе к заводам. Электроэнергии не было, парикмахерские также работали с коптилками... Были созданы парикмахерские непосредственно на предприятиях. Работа парикмахерских контролировалась. Такой контроль осуществлял исполнительный комитет... чтобы не было спекуляции. В некоторых местах парикмахерские заставляли приносить трудящихся свой керосин. Например, чтобы сделать завивку...»[28] Добавим к этому, что керосин просили у посетителей и в булочных — наградой служило внеочередное обслуживание тех, кто им поделился. Особого вымогательства здесь не было. Без света и булочные, и парикмахерские должны были закрываться — но легче было обличить стяжателей-заведующих, чем выдать им необходимое количество керосина.

Беспокоила руководителей города не только (и не столько) неумытость лиц. Куда большей опасностью считался педикулез, первые симптомы которого обнаружились в начале декабря 1941 года. Чаще всего вшей находили у детей, особенно у тех из них, кто остался без помощи в «выморочных» квартирах. «Завшивленными»

оказывались и многие из полуодичавших подростков-«ремесленников», а также обессилевшие лежачие блокадники. Обнаруживались вши и у больных в госпитале, и у рабочих фабрик и заводов. Даже в ленинградской конторе Госбанка СССР, где трудились сто человек, «по одежде сплошь и рядом ползали вши». Известен случай, когда пытались выдворить из очереди в булочную женщину, покрытую вшами. Ее, правда, сумели защитить, но в стационары, где пытались подкормить ленинградцев, таких обычно не пускали. Санпропускников, где одежда подвергалась парообработке, было мало и находились они в основном на вокзалах. На предприятиях с вшивостью стали особенно настойчиво бороться с конца весны 1942 года. Была даже установлена «норма» обнаруженных на одежде и теле вшей, превышение которой вело к запрету работать, а с осени 1942 года заболевших педикулезом и вовсе не пускали на порог проходных[29].

Бани зимой 1941/42 года почти все закрылись. Перерывы в работе бань стали очень заметными в декабре 1941 года. Одной из основных причин стала нехватка топлива. Все блокадники, побывавшие в бане в это время, отмечали, что там было холодно. В помещениях ощущалась теснота, иногда выключался свет, прекращалась подача воды, огромные очереди старались не пропускать вперед себя «чужаков», какие бы аргументы те ни приводили. В январе 1942 года закрылись все бани города, за исключением двух. 10 декабря 1941 года И. Д. Зеленская отмечала, что бани становятся роскошью, помещения их промерзли, вода чуть теплая, а чтобы пройти в них, нужно стоять в «страшных очередях»[30]. «Бани не работают. Те, которые работают, полны народа... Как говорят, моются так: выливают воду на трубы в парилке, распариваются и размазывают на себе грязь. В остальных помещениях бани холодно», — записывал в дневнике 15 января 1942 года В. Ф. Чекризов[31]. Многие блокадники, не стесняясь, рассказывали о том, что не мылись два-три месяца. Обратим внимание, как были потрясены и плакали, увидев себя раздетыми в бане, горожане — даже не зная, сколь часто они ходили мыться, можно предположить, что за неделю так сильно измениться их тела не могли.

Бани начали вновь открываться со второй половины февраля 1942 года. К 15 марта их число достигло, согласно официальным отчетам, двадцати пяти, но в блокадных записях называется лишь несколько из них, которые действовали в это время: возможно, другие из них работали с длинными перерывами. И. Я. Богданов, приведя официальные данные о количестве бань в городе (май — 34, июнь — 42, зима 1942/43 года — 28), счел их сомнительными, ссылаясь не только на дневники блокадников, но и на личные беседы с ними. По его мнению, имелось немало бань, которые работали всего несколько дней и закрывались из-за нехватки воды и топлива — но они также отражались как действующие в официальной статистике. Слово «работали» в данном случае оказывалось весьма двусмысленным — оно отмечало лишь самый факт без сопутствующих подробностей.

Открывались бани и на предприятиях, куда рабочим разрешалось приводить свои семьи, а одна из них размещалась даже в Публичной библиотеке. В первой половине 1942 года обычно приходили в бани по талонам, выданным предприятиями и учреждениями. Нередко бойцы МПВО и санитарных отрядов отвозили в баню обессиленных людей и там же мыли. Попасть в баню в марте 1943 года удавалось не всем, этим пользовались банщики, вымогая мзду у тех, кто желал помыться, но не имел на это прав. Как отмечал секретарь Фрунзенского РК ВКП(б) А. Я. Тихонов, «начинали помывку не за ту сумму денег, которая положена, а производили помывку за хлеб». Кого-то удавалось поймать за руку, но, скажем прямо, так же поступали и все оказавшиеся на «хлебных» местах. А. Я. Тихонов решил самолично найти нечестных банщиков:

«Я вхожу и спрашиваю: “Как бы у вас помыться?” Сидят женщины около печки... Одна из них говорит:

— А вы один?

— Да нет, со мной товарищ.

— А вы откуда?

— Из воинской части приехал, три месяца не мылся, хочу помыться!

— Хорошо, принесите хлебушка, помоем.

— Да я получаю небольшой паек, все равно уступлю... Сейчас мне дороже всего помыться.

Женщина ничего не сказала»[32].

Такие сцены весной 1942 года, скорее всего, не были редкими, но здесь и не знаешь, кого упрекать — банщиц, видимо только что принятых на работу и пытавшихся подкормиться, «внеочередников», не стеснявшихся обойти других, лишь бы помыться самим, или контролеров, беспощадных и способных надеть на себя любую личину, чтобы выявить вымогателей, обирающих голодных людей.

В бане обычно имелись мужские и женские отделения, а если одно из них было закрыто, то устанавливались «мужские» и «женские» дни. Рассказы о том, что вместе мылись обессиленные и не обращавшие друг на друга внимание люди, возникли, по преимуществу, значительно позднее описываемых событий. В дневниках, письмах и официальных отчетах, датированных 1941—1943 годами, об этом почти ничего не говорится. Каким бы тяжелым ни являлось время, люди старались все-таки не переходить границ приличий, хотя они и стали к весне 1942 года весьма условными. Любой такой случай вызывал ругань посетительниц, а банщикам приходилось оправдываться. Конечно, бывали и исключения. Очереди в женские отделения были намного длиннее, чем в мужские (приходилось ждать один-два часа), и если в городских общественных банях еще соблюдался порядок, то в заводских иногда и не стеснялись. «Расписание, которое было сделано в банях для мужчин и женщин, выдерживалось еще мужчинами, а женщины не выдерживали, начинали мыться», — сетовал заместитель секретаря парткома завода им. С. Орджоникидзе, назвав таких женщин «опустившимися»[33].

Если в марте 1942 года в банях еще было холодно, то с апреля положение изменилось — как повсеместно отмечали блокадники, стало теплее, чище и светлее, а помывка являлась «великолепной». Не везде работали только парилки, но довольствовались и малым. С конца весны открывались при банях киоски, где можно было купить небольшой кусочек мыла.

Бани, где впервые за несколько месяцев удалось по-

мыться блокадникам, иногда именовали «дистрофическими». Об «особой вежливости» и «болезненной усталости» их посетителей, способных поднять лишь тазики, заполненные наполовину, сообщает в своих воспоминаниях Т. Д. Ригина[34]. Очень ярко описана такая баня в записках О. Ф. Берггольц: «Было тихо. И глаза у женщин были тихие, не выражавшие ни горя, ни отчаяния, а какую-то застывшую мысль, тяжкую и безнадежную, выражающие долгий-долгий безмолвный упрек, но и упрек этот был не кричащим, не страстным, а застывшим, постоянным. Знаменитые глаза ленинградок — пустые, тяжелые и сосредоточенные, взглянул человек на что-то ужасное, так оно у него там и осталось. Они тихо передвигались по бане — усталость чувствовалась во всех их движениях... Они наливали тазики менее чем до половины — больше никто не мог приподнять. Потихоньку, движениями, похожими на движения в замедленном немом кино, терли друг другу спины. Какая-то особая вежливость царила в бане, никто не лаялся, уступали друг другу место, делились мылом, — и было в этой вежливости нечто болезненное и опять же усталое»[35].

Глава вторая
Эвакуация

Ленинград в 1941—1943 годах пережил несколько волн эвакуаций. В город стекались беженцы из оккупированных или обстреливаемых противником территорий, которых позднее надеялись переправить в тыл. Появились внутригородские беженцы — жители разбомбленных домов, преимущественно из Московско-Нарвского района, переселяемые большей частью в северную часть города. Наиболее массовой являлась эвакуация самих жителей Ленинграда. Она осуществлялась в октябре—декабре 1941 года, в феврале—апреле и в июле—ноябре 1942 года.

Беженцы хлынули в город в конце лета 1941 года. Большую часть их поселили в общежитиях, школах, помещениях эвакопунктов, но некоторым предоставля-

лись и пустовавшие комнаты в жилых домах. Всего в городе оказалось около 55 тысяч беженцев. Судьба их была трагичной: если ленинградцы в трудную минуту рассчитывали на помощь родных и друзей, то у беженцев не было никого в городе, кто бы их поддержал. В лучшем положении были беженцы из близлежащих районов, из Гатчины и Сестрорецка — они приводили с собой даже коров[1]. Но таких было мало. Германский натиск в августе 1941 года оказался стремительным, уходить надо было быстро, ни подвод, ни иного транспорта не было, а на своих плечах и на тележках унести можно было немного. Пришли они в город без теплой одежды и обуви, с крайне скудными средствами[2], с малыми детьми и престарелыми родителями. Так начался их смертный путь.

«Они потом будут первыми жертвами блокады, и на долю учителей выпадет обязанность выносить трупы», — вспоминала А. И. Воеводская о беженцах, живших в школе на Лиговском проспекте[3]. Помочь им пытались, особенно детям. Открывали интернатские детские сады, где, как говорилось в приглаженном отчете о деятельности гороно за 1941—1943 годы, «благодаря чуткому и заботливому отношению к работе в помещениях был создан уют»; просьба полкового комиссара Ленгорвоенкомата об отпуске для детей беженцев «хотя бы небольшой части питания» выглядит на фоне этого нарочитого оптимизма более откровенной и человечной[4].

Речь шла о крохах — но и их не могли найти в «смертное время». Было не до беженцев — погружался в гибельную пучину весь город. Документы, относящиеся к ноябрю—декабрю 1941 года, рисуют беспросветную картину страданий тех, кто оказался в Ленинграде «транзитом». Из спецсообщения управления НКВД ЛО А. А. Кузнецову, датированного 28 ноября 1941 года, становится ясным, что дело было не в «отдельных недостатках», — дала сбой вся система опеки над попавшими в беду людьми:

«Жилищно-бытовые условия эвакуированного населения неудовлетворительны. Большинство общежитий не отапливается, не обеспечено постельными прина-

длежностями, в общежитии грязь, воды нет, больные не изолируются.

В общежитии эвакуированных по ул. Салтыкова-Щедрина, 10, холодно. На 362 человека имеется только 42 [комплекта] постельных принадлежностей, остальные спят на полу.

Общежитие по Лазаретному переулку, дом 4, отапливается плохо, из-за отсутствия транспорта уголь не завезен. На 474 человека имеется 100 постелей. Детские ясли, рассчитанные на 120 детей, из-за отсутствия отопления и освещения насчитывают только 13 человек»[5].

Донесение было направлено А. А. Кузнецовым ряду лиц «для принятия мер». О том, какую цену имели эти указания, мы поймем, познакомившись с дневником Б. Капранова. 20 декабря 1941 года он побывал в эвакопункте, где в комнате площадью 30 квадратных метров ютилось пять семей (16 человек): «...все время подавленное настроение. Все раздраженные, голодные, едва передвигают ноги»[6].

Он, правда, еще не видел тот эшелон, в котором привезли из Пушкина в Ленинград семьи «начсостава» и красноармейцев-инвалидов. Там они и жили, задержавшись в городе на много дней. В пяти вагонах разместилось 450 человек, в том числе 23 младенца и 86 детей до 12 лет. Согласно обследованию, проведенному 14 декабря 1941 года, «условия жизни населения эшелона неудовлетворительные, на этой почве имеется нездоровое настроение, люди около 4-х месяцев находятся без работы, питание слабое, вода для питья к эшелону не подается, кипятильников нет, топлива железная дорога не дает, в вагонах холод, санитарное состояние неудовлетворительное, большая скученность, имеется вшивость. На почве истощения умерло 9 человек: 5 взрослых... 4 детей. Умершие своевременно из вагонов не выносятся»[7]. Эшелон стоял на путях четыре месяца, но только после проверки было дано указание «расселить в трехдневный срок».

К сожалению, не удалось обнаружить документы сентября—декабря 1941 года о тех общежитиях и эвакопунктах, где поддерживался пусть не образцовый, но хотя бы приемлемый для жильцов порядок. Привлече-

ние другого иллюстративного материала воссоздает, правда, на частных примерах, все ту же картину «мерзости запустения» с еще более тягостными подробностями. Вероятно, мы иных источников и не найдем, зная, что творилось в городе в это время. Спасти беженцев можно было только одним способом — быстро переправить их на Большую землю. Для многих из них это произошло слишком поздно.

Внутригородские эвакуации из-за бомбежек не имели таких трагичных последствий, но и здесь беженцам пришлось не сладко. По решению военного совета Ленинградского фронта 16 октября 1941 года в первую очередь должны переселить больницы, родильные дома и детские сады из жилых районов (Кировский, Московский и др.) в центр и на север города — в Свердловский, Василеостровский и Петроградский районы. Обязаны были эвакуировать и женщин с детьми, но вряд ли это было осуществимо, поскольку привело бы к опустошению целых городских кварталов. Решение «верхов», как это часто и случалось, было вскоре подправлено, исходя из блокадных реалий. Переселяли обычно жильцов из домов разбомбленных и из тех помещений, рядом с которыми лежали неразорвавшиеся снаряды. Им давали ордера на другие комнаты, но они предпочитали, если была возможность, все же перебраться к родным. Мало кто хотел оказаться «подселенцем» в чужой квартире, ожидая встретить (особенно во время «уплотнения») косые взгляды новых соседей, на правах хозяев поучавших, как себя вести. Переправлять имущество было не на чем, перенести его на себе не всегда имелось сил, брали только необходимое из уцелевшего домашнего скарба, чаще всего одеяла, посуду. В то время, когда обезвреживали неразорвавшуюся бомбу, в дома тоже не впускали. Расселяли и в этом случае, но иногда горожане предпочитали переждать где-нибудь в надежде, что опасность скоро минует, — это было легче, чем устраиваться на «подселение». «Я пошла в детсад и попросила взять ребенка на круглые сутки на несколько дней, и сама спала у них в коридоре на полу», — вспоминала Э. Соловьева[8].

К сожалению, и в этом деле отмечались нередко без-

различие властей к судьбам людей, формализм и боязнь ответственности. В. Ф. Чекризов, дом которого во время бомбежки рухнул, а вещи «ночевали на улице», пошел 11 октября 1941 года в эвакуационный пункт просить помещение: «...отказали. Ждите до 13/X. Интересно. Знаю, что в том же окрестрайоне, который отказался принимать, есть помещения... Во главе эвак[уационного] пункта поставили бюрократа. Ему бы в архиве работать, а его поставили с живыми людьми разговаривать. Да еще с такими, нервы которых от разрушений и т. д. напряжены. Интересен разговор, свидетелем которого был. "Вы должны были прийти вчера, вам дали бы направление на площадь". — "Вчера я не могла прийти потому, что ездила в больницу и хоронила мужа (погибшего во время бомбежки. — *С.Я.*)". — "Ну, а сегодня у нас ничего нет. Нужно приходить вовремя"»[9].

Это были те люди, которые позднее, в «смертное время», поучали потерявших карточки обессилевших блокадников, как надо быть аккуратными, которые в ответ на униженные просьбы помочь советовали «умирать стоя, а не жить на коленях», те, кому лень было найти ключ от более просторного помещения, где бы согрелись окоченевшие на морозе блокадники, стоявшие в очереди. В любой великой народной драме всегда находится место для таких людей, чьи поступки, казалось, опоясаны броней законности, но которые получают несмываемое клеймо — «бессердечные».

Те, кто давал ордера, возможно, и сами не очень хорошо знали, каковы условия проживания в комнатах, которые по канцелярским книгам значились как «освободившиеся». Когда мы читаем свидетельства о том, что беженцам соседи предлагали вселиться в свою комнату, где теплее и безопаснее, то понимаем, что это произошло не случайно, и только милосердие людей, а не бесполезные жалобы «наверх», могло сделать жизнь «пришельцев» уютнее. «Нашу квартиру разбомбили, и я жила у чужой женщины. Она взяла к себе, хотя имела четырех детей... Женщину, у которой я жила, я в конце войны называла мамой»[10].

Особая тема — поведение эвакуированных в квартирах, где были оставлены ценности, где убранство было

далеко от обстановки «пролетарских» жилищ. Горожане переселялись в хаосе и спешке, никто сразу не проводил описи имущества в тех комнатах, которые им предоставлялись, не было дано «жесткой директивной установки» о том, как вести себя в чужих домах. В этих случаях многое зависело от культуры людей, прочности их нравственных заповедей и, скажем это прямо, от уровня их материального достатка. Где-то люди вели себя в пустующих квартирах как в музеях, уча детей даже не прикасаться к чужим вещам. Где-то бывало иначе. Заместитель председателя Приморского райисполкома Ю. П. Маругина жаловалась на то, что некоторые эвакуированные «стали чувствовать себя как дома». Так, беженцы, вселенные в квартиру одного из профессоров, прежде всего начали открывать шкафы с книгами. «Интересовались его научными трудами, хотя они были им совершенно недоступны... И по возможности всё использовали» — последние строки отчасти приоткрывают завесу над тем, для каких целей служили книги[11].

Первый этап массовой эвакуации продолжался с октября 1941 года по январь 1942-го. Осуществлялась она разными способами: на самолетах, поездах, машинах, лошадях и пешим порядком. Авиация в основном вывозила людей из Ленинграда до конца декабря 1941 года. Наиболее многочисленную группу людей, эвакуированных этим путем, составляли рабочие Кировского и Ижорского заводов (18 тысяч человек) — выпуск военной продукции на перевезенных в тыл оборонных заводах должен был начаться немедленно. В конце октября 1941 года был установлен лимит (1100 человек) на эвакуацию наиболее крупных ученых и членов их семей — контингент их, правда, расширился за счет артистов, писателей, художников, музыкантов. Всего самолетами до открытия Дороги жизни вывезли 33 479 человек[12] — это немного, учитывая масштабы будущих эвакуаций.

Главные надежды возлагались на ледовую трассу через Ладогу. Предполагалось, что люди пройдут по ней пешком, — не хватало машин, бензина и не было уверенности, что ладожский лед выдержит тяжесть автомобилей[13]. Озеро долго не замерзало, и назначенные

сроки начала эвакуации (10 и 12 декабря 1941 года) были пересмотрены. Вместе с тем уже 3 декабря 1941 года на станцию Борисова Грива прибыли первые партии эвакуированных в поездах. Схема перевозок предполагала, что освободившиеся от грузов машины, приехавшие в Ленинград, не будут возвращаться порожняком, а возьмут на борт людей. О том, что произошло в действительности, мы узнаем из отчета о работе эвакопункта Борисова Грива: «...с 3/XII стали поступать эвакопоезда с ленинградцами (рабочие с семьями с оборонных заводов, спецшколы и школы ФЗО) в составе 15—17 вагонов, имеющие до 1500—1700 чел[овек] в эшелоне. Поступление эвакуированных было по одному, по два эшелона в день. Помещений для принятия такого количества людей подготовлено не было, эвакуируемые размещались по 30—40 чел[овек] в комнату к местным жителям. Столовая, где обслуживались эвакуируемые, находилась далеко от места прибытия эшелонов... Качество обедов было низкое из-за отсутствия ассортимента продуктов и плохой местной воды, причем подвозку воды с Ладожского озера в то время эвакопункт организовать не мог из-за отсутствия транспорта. Кипяток для эвакуированных отсутствовал. Кроме того, транспорт военно-автомобильной дороги, призванной помимо груза для Ленинграда перевозить через лед также и эвакуируемых, весьма неохотно выполнял эту работу. Это обстоятельство вызывало задержку в отправке эвакуированных, доходящую иногда до 4—5 дней... Для получения добавочных помещений в деревне 2 раза организована эвакуация местного населения, но это мероприятие в большинстве случаев не дало положительных результатов ввиду того, что при освобождении помещений от местных жителей, воинские части... самовольно их занимали»[14].

Этот краткий отчет охватывает период со 2 декабря 1941 года по 21 января 1942 года и представляет собой опыт позднейшей сводки материалов, отражающих первый этап эвакуации. Тем интереснее его сравнить с письмом военного прокурора Октябрьской железной дороги, датированным 11 декабря 1941 года. В обоих документах, как отчетливо видно, отражена одна и

та же картина, и потому доказать ее тенденциозность весьма трудно:

«Проверкой установлено, — сообщал военный прокурор, — что составы поездов подготовлены и продвижение эвакопоездов происходит нормально. Наряду с этим выявлено, и это требует немедленного вмешательства для устранения, следующее:

Так, 4 декабря 1941 г. в 21 час. 40 мин. на ст. Борисова Грива прибыл первый эвакопоезд с 84 чел., которые затем должны быть пересажены в автотранспорт для дальнейшей перевозки. Достаточного количества машин, обеспечивающих своевременность перевозки, нет, и в связи с этим указанная группа людей находилась частью в поселке у станции, а частью в вагонах до 6/XII-41 г., когда в 2 часа ночи прибыл второй состав с 1000 чел. населения.

Благодаря плохой организации этой работы со стороны эвакокомиссии, эвакуированное население накапливается во все нарастающем количестве. Помещение для эвакуированных, ожидающих выезда, не обеспечено, не отапливается. Достаточной медпомощи нет. В поселке нет медпункта. Питание не организовано. Отправленный с Финляндского вокзала 4/XII-41 г. поезд, предназначенный для эвакуации 45-го ремесленного училища, был отправлен с 45 чел. вместо 400 чел. и с опозданием на 1,5 часа ввиду неявки эвакуируемых. 5/XII-41 г. эвакопоезд с населением 1400 чел. был сорван отправлением на 3 час. 25 мин. вследствие нераспорядительности эвакоорганизаций и ж. д. милиции, не организовавших посадку.

Аналогичное положение с эвакуируемыми и прибывшими с гор. Ленинграда и на ст. Ладожское Озеро.

5 декабря было подано всего 5 автомашин вместо 60, причем каждая машина принимает только 8 пассажиров с вещами»[15].

Документы, даже весьма откровенные, лишь отчасти передают трагедию людей, оказавшихся, словно в ловушке, на берегу Ладоги. Идти вперед им не разрешалось (озеро еще не замерзло), возвращаться самим в город не имелось сил: все были истощены, все тащили за собой немалую поклажу. Тяжелее всего пришлось «ре-

месленникам» — работник эвакопункта потом вспоминал, как они, не получая хлеба, варили в котлах кости сгнивших лошадей, собирали отбросы...[16] Те эвакуированные, чьи дети «таяли на глазах» и умирали, пытались сами дойти до противоположного берега без всякого разрешения. Не всех из них сумели перехватить заградительные кордоны, и обычно они замерзали в пути.

12 декабря военсовет Ленинградского фронта приостановил эвакуацию. Отправка поездов с эвакуированными из Ленинграда была прекращена «до особого распоряжения». Часть прибывших отправили назад, а другую их часть все-таки попытались переправить пешим порядком по льду на другую сторону озера. К сожалению, не была продумана хотя бы не в деталях, но в общих чертах организация обогревательных пунктов по пути следования колонн. На льду они не создавались, разжигать же костры было опасно — это могло демаскировать трассу. «Счастливцы устраивались на попутных грузовиках», — отмечал А. Коровин[17], но кто сейчас скажет, чего им это стоило? Л. В. Шапорина занесла 18 декабря 1941 года в дневник рассказ военного, который приехал с Ладоги, «насмотревшись на пешую эвакуацию». Впечатление было тягостное: «Люди замерзали. Матери теряли детей, возвращались и находили их мертвыми. Толпы бросались на проезжающие машины, хватались за колеса, бросались под автомобили, которые ехали, катились и дальше с окровавленными колесами»[18]. Всего же по льду озера «неорганизованным» автотранспортом до 22 января 1942 года и пешком смогли эвакуироваться 36 118 человек[19].

Налаживание работы ледовой трассы по замерзшему озеру в январе 1942 года, появление здесь сотен складов и машин, везущих грузы в город и имевших возможность взять на борт истощенных блокадников, обеспечение их большим количеством бензина и горюче-смазочных материалов позволили начать новую, более масштабную эвакуацию жителей Ленинграда. По решению ГКО 22 января 1942 года предполагалось вывезти из города 500 тысяч человек. Эвакуация продолжалась до апреля 1942 года, пока не растаяла ледовая трасса. Первоначальные планы оказались «перевыполненными» — из

Ленинграда уехало 554 186 человек. Цифры опровергают распространившиеся в городе слухи о том, что уезжают в основном «блатники», «ответственные работники» или иные привилегированные лица. Больше всего было вывезено рабочих, служащих и членов их семей — 260 426 человек. Наиболее многочисленные группы эвакуированных составляли учащиеся ремесленных училищ, оказавшиеся в самом бедственном положении, — 92 419 человек, студенты, преподаватели, научные работники с семьями — 37 877 человек, инвалиды войны, раненые красноармейцы и командиры РККА — 43 056 человек, детдомовские дети — 12 639 человек. Были переправлены из городских эвакуационных пунктов в тыл и многострадальные беженцы из районов области — 8135 человек[20].

Знакомство с этими цифрами позволяет понять, каким целям служила «разгрузка» города. Эвакуировались в первую очередь те, чье пребывание в Ленинграде считалось помехой для превращения его в «город-крепость». Прямо о «лишних едоках», конечно, не говорилось, выражались значительно мягче (во всяком случае, публично), но истинные критерии отбора именно этих, а не других групп ни для кого не составляли тайны.

Последней массовой эвакуацией стал вывоз людей из города летом 1942 года. Решение о ней было принято военным советом Ленинградского фронта 18 мая 1942 года. Предполагалось удалить из Ленинграда еще 300 тысяч человек. Тогда и не церемонились — у тех, кто отказывался уезжать, отбирали карточки[21]. Это не являлось только блефом. «Когда началась эвакуация, мама никак не хотела уезжать из Ленинграда: трогаться в дальнюю дорогу с тремя детьми было опасно. Но в октябре 1942 года нам просто не дали карточек и заставили эвакуироваться», — рассказывала Н. А. Булатова[22].

Обязательной эвакуации подлежали женщины, имевшие более двух детей, пенсионеры, иждивенцы, члены семей рабочих и служащих предприятий, вывезенных в тыл. Продолжилась и эвакуация детей из детдомов, инвалидов и раненых. Схема перевозок несколько изменилась. Блокадников, прибывших поездами из Ленинграда в Борисову Гриву, перевозили на машинах до

пристани, где осуществлялась их посадка на малотоннажные самоходные суда. Число перевезенных во время навигации 1942 года (27 мая — 1 декабря) также существенно превысило первоначальные «контрольные цифры» — таковых оказалось 448 тысяч человек[23]. В 1943 году эвакуация продолжилась, но в меньших масштабах — в городе на 1 мая 1942 года оставалось всего 639 тысяч человек. Критерии отбора групп эвакуированных не изменились, но число их составило всего 14 362 человека[24]. Всего же из города за время войны были вывезены 1 миллион 783 тысячи человек, причем из них 1 миллион 360 тысяч человек проживали ранее в Ленинграде[25].

Эвакуационный аппарат имел весьма разветвленную структуру. Ленинградская эвакуационная комиссия была создана 27 июня 1941 года и распущена 4 декабря 1943 года, поскольку к этому времени эвакуация из города прекратилась. Комиссия занималась всем: составляла образцы карточек, выдаваемых эвакуированным, устанавливала перечень продуктов и нормы питания для рабочих эвакопунктов, шоферов, командиров поездов, вагонных бригад. Ею отмечались конечные пункты эвакуации, организовывались ревизии эвакопунктов, проверка их смет, она следила за тем, чтобы никто не мог получать паек дважды. Ею четко регламентировался порядок перевозки эвакуированных, она должна была следить за своевременностью отправки поездов, снабжением их продовольствием и медикаментами. За любую оплошность ее руководителей могли и жестко наказать. Но их исполнительность обусловливалась не только этим: они и сами понимали, что речь идет не об отправке грузов, а о спасении людей. Искренность и самоотверженность многих служащих эвакокомиссии неоспоримы, то, как они остро переживали горе и боль беженцев, видно по многим блокадным документам.

Но надо иметь в виду и другое. У руководителей эвакопунктов имелся четкий и детальный план по обеспечению быстроты перевозок из Ленинграда — а им приходилось иметь дело с истощенными, полуобморочными людьми, которые даже не могли в обозначенные сроки дойти до вокзала. У каждого имелись особые

обстоятельства, но принять во внимание их начальники эвакопунктов не могли — потому и награждали их часто эпитетами «бюрократы», «чинуши». Все детали эвакуации предусмотреть было нельзя. В ней можно обнаружить немало просчетов: какие-то являлись неизбежными, какие-то обусловливались алчностью, безразличием к умиравшим людям. Трагичной являлась судьба детей, вывезенных с детдомами и интернатами в 1941—1943 годах. Составлялись списки, причем особенно тщательно, поскольку многие из малолетних детей даже не могли назвать своего имени. Вывезли 235 256 детей, и, как отмечала Л. Л. Газиева, «проверки выявили в эвакуации от 76 161 до 107 688 человек, то есть пропало от 159 095 до 127 568»[26]. Что стало с детьми — умерли ли они в пути, перепутали ли их фамилии или не внесли в списки — мы никогда и не узнаем. Осталась боль матерей и отцов, которым до самой смерти не суждено было увидеть вновь своих детей.

Перечень лиц, подлежащих эвакуации, регламентировался инструкциями, но нередко допускались и импровизации. Самолеты и поезда всех вместить не могли. Неизбежно надо было делать выбор. Многое зависело от «связей», обусловливалось родством и дружбой, имело значение и желание помочь самым истощенным людям. Иногда стремились решать при этом практические задачи: вывезти малополезных для предприятий и учреждений людей.

Каждый в первую очередь хотел спасти свою семью. Быстрее всего это удавалось сделать эвакуированным работникам детских учреждений. В том случае, если возраст их родственников был далеко не младенческим, последние могли быть зачислены в штат обслуживающего персонала. А. Н. Миронова писала в дневнике о том, как директор одного из детдомов поехал в эвакуацию «со всеми своими домочадцами: жена, сестра жены, племянницы»; всего таковых насчитывалось десять человек. В другом дневнике директора детдома также отмечалось, что «все служащие выезжали со своими детьми и родственниками»[27]. Часто родных и друзей удавалось вывезти и во время эвакуации предприятий и учреждений под разными предлогами; детали того, как

это происходило, в блокадных документах нередко отсутствуют.

Импровизацией в целом можно счесть отбор «ремесленников» и детдомовских детей. Выявляли тех, кто способен был пережить длительную поездку, — других отправляли во вторую очередь. Приемы отбора малолетних детей удивляли тех, кто видел их впервые: воспитатели определяли, сможет ли ребенок дойти от стены до стены, не упав. «Защитительные» аргументы следивших за испытаниями могли быть многословными и эмоциональными. Не все из них являлись надуманными. Но люди, объясняя свой поступок желанием уберечь детей во время эвакуации, не были столь многоречивы, если требовалось объяснить, как можно было столь же надежно уберечь детей от голода, цинги и осколков в блокированном городе. Куда более правдивой представляется картина, описанная Э. М. Юкельсоном. Директору спецшколы предстояло решить, кто поедет в эвакуацию: «Он находился в одной из комнат, где лежали тяжелобольные ребята... Мальчишки плакали и просили директора взять их. Об этом же просили и некоторые родители, оказавшиеся здесь же». Но всё было тщетно. Никаких слов о «подкреплении» до следующего этапа эвакуации мы здесь не найдем: директор «видел, что эти ребята умрут. Спасти их было... невозможно»[28].

Никто за тем, чтобы люди подкормились до отъезда и смогли бы доехать до мест назначения, обычно не следил. Едва ли буханкой хлеба, выдаваемой перед посадкой в вагон, можно было подкормить людей, голодавших не один месяц. В лучшем положении оказались инвалиды войны. До эвакуации, как сообщалось в отчете военного отдела ГК ВКП(б) с 1 января по 1 июля 1942 года, они переводились в специально организованные дома, где был обеспечен «уход за ними дружинниц Красного Креста и налажено котловое питание»[29]. Заметим уклончивость этой фразы, которая позволяла не уточнять, сколь обильным являлось «котловое питание» в страшные месяцы «смертного времени».

После письма А. Н. Косыгина А. А. Жданову 10 февраля 1942 года были установлены и повышенные нормы питания для эвакуированных «ремесленников». Им

должны были выдавать в сутки за три дня до отъезда «хлеб черный (400 г), хлеб пшеничный (100 г), крупу (130 г), мясо (100 г), масло (40 г), сахар (50 г)»[30]. Трудно сказать, все ли продукты они получили и насколько ощутимо это помогло им подкрепиться. Часть их умерли в дороге, наблюдались и случаи, когда «ремесленники» буквально терроризировали вагоны, отнимая еду у женщин и детей, — пришлось их отделить от других пассажиров. Отметим, что иногда и детдомовцам, отобранным в первые группы отъезжающих, «полагалось усиленное питание» в течение какого-то времени перед эвакуацией.

Если в июле—сентябре 1941 года выезд из Ленинграда оценивался многими его жителями как трусость, то в декабре 1941 года от патетических обличений стали воздерживаться. Примечательно, что заслоны на станции Борисова Грива задержали только за сутки (7 декабря 1941 года) 36 человек, прибывших без разрешений, — все они были отправлены назад, в город[31].

В феврале—марте 1942 года многие хотели уехать из Ленинграда любой ценой. Отправляли письма в тыл, чтобы их вызывали из Ленинграда как ценных специалистов, просили «похлопотать» за них в Москве, писали прошения «наверх», отмечая в них свои былые заслуги. «На Среднем проспекте... Ляля видела и списала объявление: “За эвакуацию из Ленинграда одного человека любым способом даю рояль Шредера”» — эта запись появилась в дневнике сотрудника музея города А. А. Черновского 5 марта 1942 года[32].

Были также и группы населения, которые вывозились из Ленинграда только в принудительном порядке. Это прежде всего заключенные — с 22 января по 15 апреля 1942 года эвакуировали 1150 человек. 17—18 марта 1942 года из города было отправлено пять эшелонов, в которых находилось 6888 финнов и немцев[33]. Везли их в основном в Омскую область и Красноярский край. Такие переселения тогда не были в новинку. Оправдывали их условиями войны и недопустимостью формирования «пятой колонны» рядом с театром боевых действий. В дороге такие переселенцы должны были питаться по нормам, установленным военным советом Ленинград-

ского фронта для одного человека в день: 150 граммов хлеба, 30 граммов мяса, 35 граммов крупы, 20 граммов муки[34] — это было меньше даже норм «иждивенцев».

Высылали всех без разбора, и лояльных, и «подозрительных». Среди них оказался и отец Ольги Берггольц, заведовавший больницей на окраине города Федор Христофорович Берггольц, много сделавший для спасения ленинградцев в «смертное время». Опасаясь, что немцы и финны «разбегутся», операцию провели в кратчайшее время. Эвакуированным пришлось бросать свое имущество или, в лучшем случае, продавать его за бесценок, и, конечно, нашлись люди, которые не постеснялись воспользоваться этим.

Была установлена норма (30 килограммов из расчета на одного человека) перевозимой в поездах и машинах домашней поклажи, но ее мало кто соблюдал. Обычно брали с собой самые необходимые или ценные вещи. А. П. Бондаренко рассказывала, что ее семья, жившая бедно, взяла с собой только швейную машинку — она их спасла от голода в чужих местах, поскольку мать умела хорошо шить[35]. Везти вещи во время второй эвакуации (январь—апрель 1942 года) приходилось чаще всего на санках, и их было тяжело тащить изможденному человеку. В кадрах кинохроники, запечатлевшей осажденный Ленинград, хорошо видны эти поставленные друг на друга мешки, коробки и чемоданы, способные опрокинуться на каждом крутом ухабе.

Вместе с имуществом приходилось нередко везти на санках до вокзала и лежачих родных, следя поминутно за тем, чтобы они не выпали из санок. Машинами до вокзала разрешалось довозить только детдомовских детей, «ремесленников» и тех, ко причислялся к научной и художественной элите города. Таковых оказалось 62 500 человек[36]. Все остальные должны были идти пешком. Конечно, многое обусловливалось конкретной ситуацией, наличием связей или средств. Журналист А. Я. Блатин, боясь опоздать на самолет в декабре 1941 года, смог выхлопотать для себя в обкоме комсомола даже отдельный автомобиль — но это можно рассматривать и как плату за яркие и оптимистические статьи о том, как преодолевали трудности простые ленинградцы, опубликованные

в редактируемой им газете. Артист Ф. А. Грязнов рассказывал, как за перевозку через Литейный мост домашнего скарба «наняли за 500 грамм проезжавшего мимо ломового, сели сами, а сани приторочили к его саням»[37]. Но едва ли мог последовать его примеру голодный ленинградец, который точно бы поскупился отдать 0,5 килограмма хлеба за переезд моста.

Распродажа вещей эвакуируемыми осуществлялась разными способами: через друзей и знакомых на рынках, посредством объявлений. «На улицах (панелях) разложенная домашняя утварь для продажи. На стенах домов опять запестрели объявления о продаже мебели и дом[ашних] вещей. Есть такие: "Продается мебель на дрова", "Продается мебель (такая-то) за бесценок"», — рассказывал об эвакуации в июле 1942 года В. Ф. Чекризов[38]. Покупатели старались выбирать самое лучшее, вещи отдавались если не за бесценок, то в любом случае не за достойное вознаграждение. Покупателями являлись не только «хищники» и «спекулянты», но нередко и люди со скромными средствами, не способные устоять перед соблазном.

Главным центром эвакуации с зимы 1942 года стал Финляндский вокзал. Традиционно отсюда направлялись поезда Ладожского направления, и, кроме того, он имел еще важное преимущество — это был, как признавалось и самим противником, единственный вокзал, который «находится вне действенного огня немецкой артиллерии». В период зимней эвакуации условия на вокзале были плохими — это признавали и сами власти. На вокзале были открыты медпункт и даже промтоварный магазин. Там можно было купить теплые вещи: лыжные костюмы, рейтузы, варежки, одеяла, свитера. Сумма выручки составила 600 тысяч рублей — ее, правда, необходимо разделить на 480 тысяч (число эвакуированных до середины апреля 1942 года), учитывая при этом, что на одного человека из «спецконтингента» расходовалось тогда 6 рублей в день. Кипяток на вокзале, однако, достать было трудно — есть сведения, что его пытались получить у друзей, если они жили недалеко. Как отмечалось в отчете городской эвакуационной комиссии за 22 января — 15 апреля 1942 года, «помещения для эваконаселения были грязные, не отоплен-

ные и плохо освещенные. Питательные блоки были явно не подготовлены и не благоустроены»[39]. Надо отметить еще одну деталь, о которой составители отчета постеснялись сказать. Происходило это в феврале 1942 года: «Площадь перед вокзалом. Уборные на вокзале не действуют и, представьте себе... и мужчины, и женщины здесь же на улице, не стесняясь друг друга, выполняют... естественные свои потребности. Никто не обращает на это внимание. Это в порядке вещей»[40].

О нравах на Финляндском вокзале во время зимней эвакуации ярко и подробно рассказано в стенограмме сообщения начальника отдела завода «Большевик» А. Л. Плоткина. Вместе с группой рабочих он должен был уехать в район Ладоги для починки машин. Вот что он увидел на вокзале:

«Мы направились в зал ожидания. Когда я открыл дверь, то увидал, что зал полон пассажирами. Пришлось временно собрать всех людей на перроне. Я лично пошел выяснять время отправления поезда и организацию посадки. Когда я подошел к окошку справочного бюро на Финляндском вокзале, то увидал, что оно закрыто. В помещении виден был маленький огонек. На первый мой стук сидевшая там девушка не ответила. После настойчивого требования, наконец, она открыла форточку и на вопрос — когда же будет отправлен поезд на Борисову Гриву, ответила: “Поезд не отправляется уже третий день и когда он будет отправлен, я не знаю. Это зависит от того, когда отогреют паровоз”.

После такого ответа я приступил к устройству личного состава. С большим натиском мы начали вклиниваться в толпу ожидавших в зале. Пассажиров было очень много. Я, с поднятым над головой личным багажом, был втиснут с остальными товарищами в середину зала. Рядом стоявшие люди стали кричать на меня. Я хотел бросить мой багаж. Я клал его на головы стоявшим, но бросить его не мог, т. к. положить его на пол не представлялось возможности.

Что было бы с нами, трудно себе представить, если бы не одно обстоятельство, которое помогло нам. Как мы потом убедились, это практиковалось в зале ожидания неоднократно. Спустя несколько минут после того,

как мы вклинились в публику зала ожидания, раздался зычный голос: "Граждане! Отправляется поезд по Приморской линии!" Часть доверчивой публики хлынула из зала, а мы тем временем заняли их места. Обманутая публика, как в этот раз, так же и в последующие, обычно, стремилась возвратиться, но было уже поздно. Все же части публики удавалось войти в зал и создавались невыносимые условия ожидания. На улице был сильный мороз около тридцати градусов, а поэтому было понятно стремление публики войти в зал ожидания.

Таким образом нам пришлось простоять всю ночь, причем публика в наполненном зале от времени до времени, как нива в бурю, склонялась то в одну сторону, то в другую. Каждый из ожидавших стремился опереться на рядом стоявшего, и, видимо, отдельные силы складывались в одну равнодействующую и публика склонялась в одну сторону. После этого раздавались душу раздирающие крики: "Спасите, задавили!" Жертвы давления, видимо, напрягали все свои последние силы. Эти силы складывались в равнодействующую в обратную сторону, и таким образом происходило качание то в одну, то в другую сторону. Среди публики под ногами нередко были мертвецы. Также были случаи смерти на глазах.

От времени до времени всю ночь я пытался узнать что-нибудь новое об отправлении поезда, но все мои попытки оказались тщетными. Единственный дежурный по вокзалу, которого мне удалось разыскать, также был закутан в несколько одежд, и он мог ответить только, что он не знает, когда депо подаст паровоз.

Видя, что выезд железной дорогой может задержаться на долгое время, что может окончательно подорвать силы, я сделал попытку связаться с заводом, для чего мне пришлось потратить много трудов. В то время ни один телефон на Финляндском вокзале и поблизости к нему не работал. После долгих поисков в одном из магазинов был найден телефон, и директор этого магазина любезно позволил нам им пользоваться. Я установил непосредственную связь с главным инженером завода т. Чикулевским. Я требовал организации выезда на ледяную трассу на автомашинах, а также просил помочь и через Управление железными дорогами узнать пер-

спективы с отправлением поезда. Т. к. отправка задерживалась, то пришлось ставить вопрос об организации хотя бы скудного питания рабочих.

День прошел в выяснении вопроса с Управлением железной дороги. В результате было принято решение выехать на автомашинах.

К вечеру с большими трудностями на вокзал было привезено питание в нескольких термосах, состоявшее из дрожжевого супа. Причем столовая супа не давала. Чикулевский взял на себя смелость предложить свою карточку с тем, чтобы только отправить на вокзал суп, чтобы люди не умерли с голода.

Мне пришлось потратить много усилий, чтобы создать в зале ожидания барьер для выдачи своим рабочим этого супа»[41].

Работу вокзала, согласно официальным отчетам, удалось «резко улучшить» только с середины февраля 1942 года, но и эти утверждения нуждаются в оговорках. Вот описание вокзала, сделанное В. Ф. Чекризовым в его дневнике 28 марта 1942 года: «2 зала ожидания. Некоторые ждут 2 суток... столовая, приличный обед и 1 кг хлеба. Очередь за кипятком. Уборные в товарном вагоне и в конце вокзала — загородка из досок. Эшелон тронулся без предупреждения, рванулись из очереди за кипятком. Бегут, догоняют, но где там. Соседние эшелоны погружены. Узлы и чемоданы в тамбурах, на площадках между вагонами»[42].

Задержка отправления поездов стала обычной во время зимней эвакуации. Больше, чем двое суток, люди не находились на вокзалах, но ведь надо было где-то спать, питаться, доставать кипяток. На сохранившихся фотографиях видно, как ели блокадники, сидя на поклаже перед входом в вокзал, — окоченевшие на морозе и стерегущие свой багаж, протиснуться с которым внутрь не могли. Вокзал не общежитие, он не предназначен для ночевок людей. Пытались собрать детей в одну комнату, но и здесь места не хватало.

При посадке наблюдалась «страшная давка». Все свободные места, тамбуры и проходы были загромождены ящиками и чемоданами. Тем, кто пришел позднее, иногда не удавалось даже пробиться к «своим» полкам. Инже-

нер В. Кулябко, которого не пропустили в тот вагон, где он должен был ехать, пошел искать другое место. Везде он встречал отказ. Выхода не было: «Влез в тамбур вагона № 4, так как в вагон тоже не пустили, решил остаться во внутреннем тамбуре. Холодно. Подождал с полчаса, вновь решил втиснуться в глубь вагона, что мне после большой перебранки удалось. С трудом, частью с просьбами, частью с руганью, но запихнул свою корзину на верхнюю полку»[43].

Едва ли эти эпизоды являлись единичными — они наблюдались не только в феврале 1942 года, но и позднее. «На нас все стали кричать, что и так в вагоне много народа», — вспоминал А. Чепарухин о том, как эвакуировался с Финляндского вокзала[44].

Давка, неразбериха во время посадки облегчали действия воров. Пока с криками протаскивали в вагон чемоданы, за прочим имуществом следить было некому. Самой тяжелой по своим последствиям являлась пропажа продуктов. Одной из жертв преступников оказалась семья И. Ильина. Читать его описание трудно: «От расстройства у мамы случился сердечный приступ и она потеряла сознание. Все вокруг ели, а я ухаживал за больной мамой и умирающим братом». Никто с ними не делился и не хотел знакомиться — видимо, ожидали, что попросят... «Мама была без сознания, и я пошел договариваться с соседями, чтобы они помогли мне вынести ее из вагона, когда она умрет». Может быть, надеялся, что пожалеют и обратят внимание, поддержат. Нет, никто им не помог. «Когда мы познакомились с соседями по вагону, изголодавшиеся ленинградцы... съели все свои продукты и поделиться с нами было нечем»[45].

И никого мы не видим на перроне в этот зимний день, ни носильщиков, ни милиционеров, ни проводников — все приметы голодного времени выявились здесь очень ярко. На это обращаешь внимание, читая и другие личные документы блокадников. Составители официальных отчетов избегают детально говорить об этом, приводя нередко лишь сведения о числе эвакуированных. Да, они готовы признать, что помещения эвакопунктов были грязными, плохо отапливались и освещались, но о давке, ругани, количестве стульев, не говоря уже о ту-

алетах, предпочитают молчать. На первый план выдвигается промтоварный магазин со скрупулезным перечислением «особо нужных» товаров, на приобретение которых каждый уезжавший блокадник потратил почему-то чуть больше 1 рубля.

Известно, что с 22 января по 15 апреля 1942 года из Ленинграда к Ладоге было перевезено «попутным транспортом» 62 218 человек[46]. Подробности того, как это происходило, обнаружить крайне трудно. В официальных отчетах об этом говорится очень скупо, буквально одной строкой. Нам доступно лишь одно, личное, свидетельство — рассказ вдовы писателя Даниила Хармса Марины Дурново. Цитируя его, мы надеемся, что со временем найдутся и другие документы, где эвакуация в открытых машинах в ледяную стужу голодных и истощенных людей будет освещена с той долей оптимизма, которая не позволит обвинить их авторов в «очернительстве» блокадной истории. В воспоминаниях же М. Дурново, записанных позднее писателем В. Глоцером, эта эвакуация выглядит так: «Люди залезали в кузов, а многих втаскивали, у кого... не было сил залезть. В кузове людей укладывали друг на друга... В несколько рядов. Самые слабые и самые больные — внизу, чтобы к ним поступало тепло. А сверху — те, кто помоложе и поздоровее. Человек лежал под грудой тел. Он умирал, кричал — ничего не помогало»[47].

В январе—феврале 1942 года поезд с эвакуированными шел до станции Борисова Грива чуть более 30 часов, в марте—апреле время движения сократилось почти вдвое. В это время каждый, прибывший на Финляндский вокзал, должен был получить обед из расчета: мясо — 75 граммов, крупа — 70 граммов, жиры — 40 граммов, мука подболточная (суповая) — 20 граммов, сухие овощи — 20 граммов, хлеб — 150 граммов. Опыт прежних месяцев был учтен: так, во время эвакуации в декабре 1941 года у отъезжавших при выдаче эвакоудостоверений изымались продовольственные карточки, однако продукты им не выдавались. Правда, трудно сказать, всегда ли строго придерживались «суповой» раскладки и в 1942 году, не заменяли ли одни продукты на другие — время являлось тяжелым, всего предусмотреть было нельзя. «На вокза-

ле... уезжающим выдали талоны в столовую. Они получили по большой порции пшенной каши, по сардельке и по кило хлеба. Остались очень довольны», — записывала в дневнике 1 марта 1942 года Л. В. Шапорина[48].

Эта буханка хлеба запомнилась всем ленинградцам, уезжавшим в тыл. После стольких месяцев голодания, после бесчисленных разговоров о том, как будут есть в мирное время, — вот оно, долгожданное чудо. Обычно полагалось выдавать буханку весом 800 граммов, но все горожане, как правило, говорили о килограмме. Получив хлеб, люди не могли вытерпеть, начинали есть его сразу, целиком, чего делать было нельзя, — и погибали здесь же, на эвакопункте или в вагонах, погибали в муках, в кровавых нечистотах.

Не только этом, конечно, обусловливалась смертность среди ленинградцев, ехавших к Ладоге. На станциях Борисова Грива и Ладожское озеро были похоронены 2863 человека, и их гибель во многих случаях вызывалась общим истощением, болезнями, цингой. Ф. А. Грязнов так описывал поезд, в котором он ехал к Ладоге: «Весь путь от Ленинграда до Борисовой Гривы сплошной кошмар. Расстояние, покрываемое в нормальное время в несколько часов, мы поедем двое суток. Но какие... эти сутки. В первую ночь умирает в вагоне мать нашего худ[ожественного] руководителя Гершгорна. Не дотянула. Труп ее до сл[едующего] дня лежит здесь же в вагоне. Днем на сл[едующий] день умирает сидящий сзади меня мечтавший доехать и отдохнуть на юге. Чувствую, что Гершгорн стоит также на грани смерти. Смотрю... бросают взгляды на меня, следующего кандидата. Стараются они это делать незаметно, но я ловлю выражение их глаз»[49].

Эвакуация Ленинграда — великое и благородное дело, она позволила спасти и тех, кто уехал, и тех, кто остался. В том, что она сопровождалась страданиями и жертвами, трудно винить только городские службы. Да, хотелось бы увидеть иные сцены на вокзале — но вокзал — это зеркало голодного и разрушенного Ленинграда, в котором отразилось всё: и человеческие страсти, и блокадный быт, и стремление выжить во что бы то ни стало. Опыт переселения такой массы людей —

свыше 1,5 миллиона человек — не мог быть приобретен сразу, всего предусмотреть не умели. Некоторые документы читать нелегко. Меняют ли они существенно наши представления об облике ленинградцев? Нет, они остались такими, какими и были, с неутраченной человечностью. Обратим внимание, как много на фотографиях детей среди эвакуированных, — их же не бросали, не подкидывали, их закутывали как можно теплее, берегли, опекали. И стариков тащили на себе, и родителей кормили с ложечки, и давали порой лучшее место в вагоне лежачим больным — всё было.

Да, в толпе людей, пытавшихся скорее уехать, вспыхивали конфликты быстрее, всем хотелось устроиться получше. Имеем ли мы право предъявлять упреки тем, кто нередко потом до самой смерти не хотел говорить о пережитом? Нет! Но мы должны знать всю правду о блокаде, и всё случившееся в это страшное время принимать целиком, а не отделять светлое от темного. Мы должны понимать, что у каждого имелись свои резоны, доводы, объяснения. На лицах оголодавших, замерзших, шатающихся людей, уезжающих в неизвестность, нет печати оптимизма — зачем же подрисовывать их ретушью? И не только их. Люди, спасавшие ленинградцев, с притупленными к чужим страданиям нервами, грубые, ругающиеся, подчас небескорыстные — и они старались хоть что-то сделать для людей, и они брали в теплую кабину обессилевших ленинградцев, и они смотрели, как укутаны дети, и они спасали, спасали, спасали.

Глава третья
Карточки

Главным документом, который давал право приобретать продукты по низким государственным ценам, являлась карточка. Она представляла собой лист бумаги, на который типографским способом была нанесена сетка талонов с указанием, сколько граммов продуктов можно получить по ним. Когда происходила покупка, то талоны из карточки вырывались в строгом соответствии с весом тех товаров, которые выдавались горожанам.

Ограниченная продажа основных продуктов питания по установленным нормам была объявлена в июле 1941 года, но это не вызвало тогда ни паники, ни голода. Хлеб по норме иногда даже не выкупался полностью. Согласно июльским нормам, крупы отпускалось в месяц: рабочим — 2 килограмма, служащим и инженерно-техническим работникам (ИТР) — 1,5 килограмма, иждивенцам — 1 килограмм, детям до 12 лет — 1,2 килограмма. Нормы выдачи мяса тогда составляли в месяц для рабочих — 2,2 килограмма, служащих и ИТР — 1,2 килограмма, иждивенцев и детей до 12 лет — 600 граммов[1]. Все это можно было получить свободно и без километровых очередей. Работали столовые, где допускался безлимитный отпуск продуктов, продавались кондитерские изделия.

Положение резко изменилось после двукратного за 10 дней понижения нормы выдачи продуктов в сентябре. Без карточки выжить было невозможно. Установленная для иждивенцев, служащих и детей до 12 лет 20 ноября 1941 года норма выдачи хлеба в день — 125 граммов — стала символом Ленинградской блокады.

Нормы выдачи хлеба населению в граммах в день с июля 1941-го по февраль 1943 года[2]

Дата установления нормы	Категория снабжаемого населения				
	Рабочие горячих цехов	Рабочие и ИТР	Служащие	Иждивенцы	Дети до 12 лет
16 июля 1941 г.	1000	800	600	400	400
2 сентября 1941 г.	800	600	400	300	300
11 сентября 1941 г.	700	500	300	250	300
1 октября 1941 г.	600	400	200	200	200
13 ноября 1941 г.	450	300	150	150	150
20 ноября 1941 г.	375	250	125	125	125
25 декабря 1941 г.	500	350	200	200	200
24 января 1942 г.	575	400	300	250	250
11 февраля 1942 г.	700	500	400	300	300
23 февраля 1943 г.	700	600	500	400	400

По нормам, с сентября 1941 года по февраль 1942 года, рабочие ИТР должны были получать в месяц 1,5 килограмма мяса, служащие — 1 килограмм, иждивенцы — 600 граммов, дети до 12 лет — 1,6 килограмма. С ноября 1941 года по январь 1942 года норма выдачи жиров составляла для рабочих и ИТР — 600 граммов, для служащих — 250 граммов, иждивенцев — 200 граммов. Сахара и кондитерских изделий полагалось выдавать с ноября до января 1942 года 1,5 килограмма, служащим — 1 килограмм, иждивенцам — 800 граммов, детям до 12 лет — 1,2 килограмма[3].

Когда была возможность, объявлялось о дополнительных выдачах продуктов, обычно не основных: сухофруктов, клюквы, грибов, крахмала, кофе. Система льгот для различных слоев населения была громоздкой, но нельзя не отметить, что чаще всего старались помочь детям. Устанавливались повышенные нормы питания для беременных и рожениц, но, скажем прямо, в «смертное время» речь шла о крохах. Положение улучшилось лишь во второй половине 1942 года. Беременным полагалось выдавать каждый день 0,5 литра молока или кефира, 87 граммов крупы, 60 граммов мяса, 600 граммов хлеба[4]. Трудно сказать, получали ли они все из перечисленных продуктов, но именно тогда начала уменьшаться детская смертность.

Задержки выдачи продуктов по карточкам начались в первой декаде октября 1941 года: не все смогли получить сахар и масло. Именно тогда в домохозяйствах и начались импровизированные обыски опустевших квартир эвакуированных: искали оставленные там продовольственные запасы. Политорганизатор одного из домов М. Разина рассказывала об итогах такого рейда: «Нашли несколько пачек кофе и чая, большую пачку толокна, немного круп». Передавать их городским продовольственным складам постеснялись: «Всё забрали в домохозяйство по акту». В «верхах», похоже, к этой инициативе отнеслись сдержанно, в масштабах города проводить обыски едва ли могли в силу разных причин. Имеются сведения и о том, что вскрывались на почте посылки с целью изъятия продуктов, — но и эта мера едва ли могла спасти ленинградцев от голода.

Перед снижением карточных норм 13 ноября 1941 года нехлебные продукты почти не выдавались. Позднее положение еще более осложнилось. Н. П. Осипова вспоминала, как 16 ноября стояла в очереди в магазин всю ночь. В конце ноября началась паника — в магазинах нельзя было купить ни жиров, ни мяса. Поскольку с 1 декабря талоны за предыдущий месяц считались недействительными, то, как отмечал Ф. М. Никитин, люди «хватали, что попало: на масло брали какой-то джем из непонятных ингредиентов, за мясо почему-то конфеты... за сахар — искусственный мед (даже не знал, что есть такой)». Когда продукты были таким образом раскуплены, срок действия карточек продлили на пять дней. В магазине оказалось «полно настоящего сливочного масла», но дело было сделано — о возврате или обмене продуктов и речи не могло идти. В декабре 1941 года «отоваривание» нехлебных продовольственных талонов еще более затормозилось: в третьей декаде декабря были аннулированы без всякой компенсации «карточки» на масло и крупу[5].

Январь 1942 года стал временем повсеместных задержек выдач продуктов. В начале января возникли даже перебои в продаже хлеба. «Половина месяца прошла, в магазинах еще ничего не выдано за январь», — записывал в дневнике 15 января 1942 года В. Ф. Чекризов. Нехлебные талоны обычно шли в зачет обедов, таких скудных, что многие предпочитали ждать и надеяться, что не сегодня завтра продукты завезут в магазины. На 27 января 1942 года было «не отоварено» 832 тонны крупы, 1399 тонн мяса, 2400 тонн сахара, 1290 тонн жиров. Почти все эти продукты, однако, имелись на складе, но не могли быть доставлены в магазины, потому что вагоны от Ладоги двигались 4—6 дней[6].

Первые выдачи за январь (50 граммов масла и 100 граммов сахарного песка или конфет) начались в третьей декаде месяца, но тогда же из-за отсутствия воды прекратили работать хлебозаводы. Очереди стояли на морозе несколько суток. «Скорей бы хлебушка привезли»; «Мы три дня ничего не ели», — просили люди «ответственных работников», пришедших их успокаивать. Хлеб выдали мукой. Секретарь Фрунзенского РК ВКП(б)

А. Я. Тихонов рассказывал, какие картины ему пришлось увидеть в эти дни: «Получает человек муку, садится, потому что от усталости идти... не может и хватает из мешочка эту муку и прямо ее ест... Сидит одна старушка и с такой жадностью хватает эту муку из мешочка, что ей не оторваться никак, и ест, ест эту муку». О. Гречина видела, как блокадники падали в булочной, съев сухую муку: «Начинались корчи и судороги, и человек умирал»[7].

В феврале 1942 года положение улучшилось, и в последующие месяцы ощутимых задержек выдач по карточкам не наблюдалось. «Ежедневно погашаются долги по сахару, маслу, крупе и мясу... Очереди ничтожные, терпимые, всё проходит гладко. Меньше раздражения, нелепой ругани», — отмечала в дневнике 29 марта 1942 года М. В. Машкова[8]. Заметно улучшилось качество «пайковых» продуктов. Все признавали, что хлеб выпекался без опилок и стал вкуснее. Чаще объявлялись и дополнительные выдачи по карточкам сверх объявленных ранее норм, да и сами нормы заметно возросли. Голод, однако, чувствовали и весной, и летом, и осенью 1942 года — утолялся он медленно и мучительно.

Особенностью «карточной» системы были постоянные замены одних продуктов на другие. Начались они в октябре 1941 года. Как правило, равноценными они не являлись, хотя часто их вообще было трудно сравнивать. На «сахарные» талоны можно было получить конфеты и повидло (это случалось чаще всего), но иногда — курагу и какао. Вместо масла давали жир, варенье, сыр, селедку, вместо мяса — яичный порошок, селедку, вместо крупы — маисовую муку и сушеную картошку. Заменяли даже хлеб печеньем и пряниками, правда, в основном осенью 1941 года[9].

Не очень ясно, как устанавливались пропорции заменяемых продуктов, хотя, скорее всего, давали то, что имелось на складах. Даже трудно представить, как при таких порядках отчитывались перед «верхами» об отпуске пайков, сроках и масштабах «отоваривания» талонов. Стройность «карточной» системы в самые трудные месяцы блокады, которой так гордились люди, ответственные за снабжение Ленинграда, на поверку оказывалась бутафорией. За исключением хлеба, блокадник

часто получал не то, что ему полагалось, он должен был выбирать из скудного набора продуктов, завезенных в данное время в магазин. И выхода у него не было — если он не выкупал их в течение десяти дней, талоны «пропадали». Неприятным здесь было то, что за день-два до истечения срока действия карточек и мясо, и масло привозили в магазины, но купить его не могли: все талоны были израсходованы.

В самое голодное время блокады рабочие карточки, обеспечивавшие потребности организма в еде, получали только 35 процентов горожан. Нормы продуктов, выдаваемых другим категориям — служащим, иждивенцам и детям, означали последовательное истощение человека, обычно кончавшееся смертью, если не было других источников питания. Труднее всего пришлось иждивенцам, среди них преобладали люди пожилые, беспомощные, иногда уволенные из предприятий и учреждений из-за инвалидности. «На иждивенческую норму можно было прожить дня два-три в декаду — не больше», — отмечала И. Д. Зеленская. Чтобы выжить, иждивенцы не брезговали и случайными приработками, нередко тяжелыми, сдавали кровь, продавали вещи и, скажем прямо, обращались к милосердным людям — детей, просящих хлеба, видели у булочных. В их стойкости было что-то нечеловеческое. Надеяться многим из них было не на что, требовалось сжать себя в кулак и каждый день отвоевывать у смерти — методично, не допуская послаблений. В. Ф. Чекризов так описывал в феврале 1942 года повседневную жизнь блокадников, имевших иждивенческие и детские карточки:

«Живут на кухне (большинство так, в особенности в домах с паровым отоплением) мать, двое детей: девочка лет 13 и мальчик лет 4—5. Она нестарая женщина лет 36. С ними сестра Игнатюка (друг В. Ф. Чекризова. — *С.Я.*). У первой муж и сын на фронте, где-то под Ленинградом, но сведения от него редки. Денежные ресурсы первой — пособие, второй — помощь брата, но главные продовольственные ресурсы: 2 карточки иждивенцев и 2 детских. Спрашиваю: “Как же вы живете?” — “Живем так, на эту кастрюлю (литров 4—5) кладем 100 грамм крупы, варим суп. Суп и получаемый хлеб (по 250 грамм) делим на 2 части и съедаем их 2 раза в день”.

Иногда Игнатюк кое-что приносит им (банку консервов, пачку печенья, несколько кусков сахара или что-нибудь другое, но это бывает редко). Супу и хлеба невероятно мало. Питательность их ничтожна. Режим, говорит, держим строго. Хлеб вперед не берем».

Это люди железной хватки — «только мальчик всё вспоминает, что и как он раньше кушал, и мечтает покушать хотя бы десятую долю того, что ел раньше»[10].

Карточки I категории получали блокадники, выполнявшие наиболее трудную, но жизненно необходимую для города и страны работу — врачи, медсестры, бойцы МПВО, пожарники, рабочие предприятий и, конечно, могильщики. С весны 1942 года стали выдавать рабочие карточки преподавателям школ, чтобы они смогли окрепнуть к началу нового учебного года. Снабжались ими отчасти и те, кто принадлежал к художественной, научной и политической элите города, — академики, директора институтов, музеев и архивов, доктора наук, музыканты и, разумеется, работники райкомов и горкома партии. Просьбы расширить списки тех, кто имел право на получение рабочих карточек, нередко отклонялись в «верхах», но зато попытки ограничить число «льготников» являлись более успешными и предпринимались не раз. Наиболее удобным предлогом было сокращение штатов. Оно проводилось и в «смертное время». Все понимали, что понижение категории карточки обрекало больных, обессиленных, истощенных людей на верную гибель. Надо отдать должное руководителям предприятий, которые, как отмечал начальник Ленгоруправления по учету и выдаче продкарточек И. Стожилов, решались на этот шаг «очень робко и неуверенно». Им необходимо было учитывать и еще одно обстоятельство. Все работавшие должны были получать карточку I категории и отобрать ее можно было, лишь уволив их, — а это не удавалось быстро, в обход трудового законодательства. Самостоятельно редактировать советские законы ни в Смольном, ни тем более на заводах никто не мог, в различные инстанции шел поток жалоб, а иметь дело с прокуратурой не все желали. Чистки поэтому коснулись тех, кто получал инвалидность разной степени,

кто опаздывал на работу или даже месяцами не бывал на предприятиях и в учреждениях[11].

Карточки обычно выдавали по месту работы или жительства, в жакте. Чтобы получить их, необходимо было предъявить паспорт, где обязательно должны были содержаться отметки о прописке, — без этого на паек не могли рассчитывать. Некоторые пользовались неразберихой и получали карточки дважды — и на предприятии, и в домоуправлении, но это случалось редко. Получали карточки на фабриках и заводах и родственники умерших рабочих, не сообщавшие о их смерти. Сам этот обычай первой блокадной зимы — получать карточки за родных, которые являлись лежачими или не имели сил из-за истощения дойти до места работы, — был широко распространен, и с этим, конечно, мирились, поскольку иного выхода не было. Карточки должны были сдавать во время эвакуации, помещения в стационары, детские сады и больницы, при переводе на котловое довольствие, но пользовались любыми способами, чтобы избежать этого. Должны были сдавать и карточки умерших жильцов (без этого не выдавали справки о смерти). В январе это правило негласно и явочным порядком было отменено. А. Н. Болдырев так описывает 19 января 1942 года свой разговор с участковым милиционером, который должен был подписать акт о смерти: «Началось с препоны. Сдать карточки. Я говорю: у меня их нет. — Достаньте. — Не могу я заниматься розысками... Вдруг: Давайте паспорт... И составляет акт»[12]. 7 февраля 1942 года начальник Управления милиции Ленинграда Е. С. Грушко разрешил оставлять карточки умерших в их семьях — диктовалось это, правда, не столько гуманностью, сколько стремлением быстро очистить дома от трупов[13].

Выдавали продукты по карточкам в разных местах, но чаще всего в магазинах и столовых. Прикрепление горожан по их желанию к определенным магазинам в декабре 1941 года объяснялось необходимостью упорядочить их снабжение, но в тех условиях, когда не хватало продуктов, эта мера должного эффекта не имела. На каждой карточке стоял штемпель «прикрепленного» магазина, но некоторым удавалось преодолеть и это

препятствие и, пользуясь сумраком в помещениях, получать товары не в «своем» магазине, прилавки которого были пустыми, а в соседнем, куда их завезли.

Нередко продукты по карточкам отпускали в столовых, в том числе масло и даже хлеб. В то время, когда у магазинов стояли длинные очереди, этим дорожили. Многие столовые были ведомственными, чужие люди туда не допускались, поэтому талоны удавалось «отоварить» быстрее. Редко кто полностью съедал свою порцию в столовой. Откладывали в мешочки и склянки котлеты, сахар и кашу, даже гущу супа, и несли домой, иногда пряча их под одеждой перед проходной: выносить обеды из фабрично-заводских столовых (как и школьных) нередко запрещалось, хотя за этим мало кто следил. Чаще всего съедали сразу первое и второе (суп и кашу), за которые отдавались крупяные талоны. Порции по мясным талонам (биточки, студни, котлеты, в лучшем случае колбаса и сардельки) приберегали к домашнему ужину. Без преувеличений можно сказать, что именно крупяные обеды, хотя они и не являлись особо питательными, помогли выжить многим ленинградцам. Директора предприятий, их заместители и главные инженеры, деятели науки, литературы и искусства, руководящие работники районных и городских партийных, комсомольских, советских и профсоюзных организаций питались в столовых по так называемым обеденным карточкам — они выдавались дополнительно к получаемым им карточкам I категории[14].

Огромным бедствием для блокадников стала потеря продовольственных карточек. Чаще всего подозревали воров, но, как считала Л. Я. Гинзбург, это явление, приобретшее массовость, было и «следствием истощения и перенапряжения сил». Первые заявления об утере карточек датированы октябрем 1941 года, но и летом 1942 года эта проблема оставалась актуальной. Блокадников, у которых были украдены карточки, встречали тогда «чуть ли не ежедневно в столовых, учреждениях, в трамваях». В октябре 1941 года было «восстановлено» 4800 утраченных карточек, в ноябре — 13 тысяч, в декабре — 24 тысячи. В масштабах города это было не очень много (выдавалось около двух миллионов карточек),

но власти предполагали, и небезосновательно, что число утраченных продовольственных документов будет только возрастать. Мнения руководителей города разделились. А. А. Жданов, А. А. Кузнецов и Д. В. Павлов выступили против выдачи новых карточек, П. С. Попков и секретарь Ленинградского горкома ВКП(б) Я. Ф. Капустин возражали против этого. Точка зрения А. А. Жданова стала определяющей. 12 января 1942 года Ленгорисполком запретил обмен потерянных карточек на действующие. Оговорка о том, что обменивать можно лишь в исключительных случаях, содержавшаяся в директивных документах, превратилась в своеобразную лазейку, призванную смягчить категоричность запретов, а затем и негласно отменить их. Началась эпидемия смертей, и не было возможности скрупулезно оценить, являлся ли случай «исключительным» или нет. Как бы то ни было, но во многих районах города как раз в январе 1942 года подавляющее большинство заявлений об утрате карточек было удовлетворено[15].

Порядок выдачи новых карточек многие блокадники считали чрезмерно бюрократическим. Инспекторы из учетного бюро должны были посещать квартиры заявителей и опрашивать их соседей, чтобы выяснить, в каких условиях они живут. По результатам обследования составлялся акт, который служил основанием при решении вопроса об обмене. Как правило, равноценным он не был: категория карточек на месяц или на декаду обычно понижалась. Вся эта процедура могла занимать несколько дней, что для истощенных людей было слишком долго, и являлась, откровенно говоря, бесцельной. В докладной записке военного прокурора города П. Панфиленко отмечалось, что в Петроградском районе к 22 января 1942 года не было рассмотрено 110 заявлений, поступивших 5—10 января, а в Куйбышевском районе из принятых до 10 января 1006 заявлений рассмотрено только 590[16].

Едва ли, однако, могли послать инспекторов по всем адресам заявителей — для этого не имелось ни сил, ни средств, ни сотрудников. Тем, кто потерял карточки, приходилось самим собирать ворох официальных бумаг, справок и объяснительных записок, неоднократ-

но ходить из одного кабинета в другой и стоять в длинных очередях в помещениях учетных бюро, и, о чем не сказать нельзя, выслушивать оскорбления от служащих. Грубость их отмечалась неоднократно. Издерганные нескончаемым потоком людей, охрипшие от споров с ними, видевшие в посетителях часто мошенников, желавших обмануть других, они чувствовали свою безнаказанность и не стеснялись выказывать неприязнь к людям, которые зависели от них и потому опасались им перечить. «Обе полуинтеллигентные, грубые, — писала о сотруднике учетного бюро 18 января 1942 года Л. В. Шапорина. — С 9-го числа хожу через день, вместо карточки второй категории... мне подсунули третью категорию, иждивенческую. Напутали и теперь глумятся надо мной. "Убирайтесь", — кричит». Она стала свидетелем и другой сцены: «Пожилая, очень милая "дама" просила их перерегистрировать карточки своего зятя не по месту работы, а по месту жительства: "Да идти некому, зять болен, при смерти, внук тоже болен, я не могу так далеко". Все было тщетно. "Везите в гробу", — ответили ей»[17]. Среди работавших в учетных бюро нередко встречались люди милосердные, честные, порядочные, готовые быстро помочь — тем прискорбнее, что находились и те, для кого жизнь чужого человека стоила дешево.

Глава четвертая
Еда

«...Я услышал обрывок разговора между женщиной и мужчиной, догонявшими меня, — ...и это мы пробовали в смертное время», — вспоминал В. В. Бианки, приехавший в Ленинград весной 1942 года[1]. «Пробовать» приходилось почти всем — хотя самая омерзительная «гадость» из пищевых суррогатов доставалась людям, оказавшимся на дне блокады, не имевшим «связей» и знакомств, не желавшим, да и не способным безжалостно отодвигать локтями других.

Быстрое исчезновение «цивилизованных» продуктов из магазинов и столовых началось в сентябре 1941

года, после первых бомбардировок и резкого сокращения подвоза продовольствия в город, с 8 сентября блокированный немецкими войсками. Норма выдачи хлеба в первой половине сентября была понижена дважды — 2 сентября (до 600 граммов рабочим и ИТР, 400 граммов служащим, 300 граммов иждивенцам и детям) и 8 сентября (соответственно 500 и 300 граммов). С 6 сентября увеличились примеси в хлебе (ячмень, овес, солод), а 24 сентября их уровень повысился до 40 процентов[2]. «Молока теперь достать негде, масла нет или, вернее, почти нет», — записывала в дневнике 18 сентября 1941 года Л. В. Шапорина[3]. В ноябре было продано 55,6 тонны натурального молока и 569,71 тонны соевого молока[4].

Все менялось стремительно и неостановимо. Как обычно бывает в таких случаях, началась паника. В магазинах и аптеках стали скупать все продукты и лекарства, причем нередко залежалые, не пользовавшиеся ранее спросом. Мясо перестали продавать в октябре 1941 года. Сокращение привычных норм выдачи сахара и крупы заставило многих ощутить голод еще в начале октября[5]. «Ожидаю того момента, когда можно будет купить рыбки и колбаски (100 и 150 г)», — сообщал в письме матери 5 октября 1941 года подросток В. Мальцев[6]. И в дневнике Ф. А. Грязнова рассказано, как 27 октября он решил употребить клейстер из картофельной муки[7]. «Есть клей! До чего же мы еще доживем», — восклицал он, но то, что случилось позднее, превзошло его худшие опасения. В конце октября стали собирать и покупать пропитанную сахаром и перемешанную с пеплом землю Бадаевских складов — это были, как отмечали блокадники, «обуглившиеся комки» и «шлак». Тщательно заполняли ею ведро, размачивали водой, ждали, когда осядут на дно камешки и грязь, сливали с него воду, несколько раз ее процеживали и кипятили. В сентябре—октябре ездили копать картошку в прифронтовую зону на Ржевке, на полях в Старой Деревне собирали кочерыжки и хряпу — гнилые, почерневшие листья капусты.

«Сейчас все заняты мыслями о пропитании, ищут дуранду, отруби» — эта запись в дневнике сделана Л. В. Шапориной 30 октября[8]. В октябре начали класть хлеб в суп — хотелось сделать его сытнее. Через месяц, как от-

мечал Ф. Никитин, обычной стала «жирная водичка и на завтрак, и на обед, и на ужин»; тогда же перестали выбрасывать и картофельную шелуху[9]. Чтобы «подкормиться», не брезговали никакой работой и соглашались ее делать за самое мизерное вознаграждение. В. Ф. Чекризов рассказывал, что 12 ноября он согласился дежурить на заводе за 125 граммов каши[10]. В ноябре голод почувствовали все — мало кто успел сделать запасы, жили одним днем. И каждый прожитый день был тяжелее предыдущего.

Собственно «цивилизованных» продуктов было мало, и продавались они по государственным ценам только по «карточным» нормам. Главным продуктом являлся хлеб. Белый хлеб прекратили давать по карточкам в сентябре 1941 года. Некоторое время он еще оставался на прилавках коммерческих магазинов (вызывая раздражение у горожан), но потом и они закрылись. Нехватка хлеба заставила с ноября 1941 года добавлять в хлеб примеси. Сначала это была овсяная, ячменная и соевая мука. Затем чаще стали использовать гидроцеллюлозу, которая составляла порой около четверти «хлебной» массы. Хлеб был тяжелым и сырым, с опилками, при его изготовлении использовали и мясокостную муку. Улучшение качества хлеба стали замечать с конца января 1942 года, когда в город завезли американскую муку. «Хлеб настолько дивный, вкусный, прекрасно выпеченный, с отменными корочками, что плакать хочется, почему так мало имеешь права его съесть», — записывал в дневнике И. И. Жилинский 30 января 1942 года[11]. В феврале 1942 года хлеб стал более сухим, а в октябре в ряде булочных продавали даже батоны из пшеничной муки.

Мясо обычно выдавалось мизерными порциями по 100—200 граммов в месяц по карточкам, что никак не могло удовлетворить даже минимальные потребности в белках. Да и отпускали его не всегда, а иногда заменяли другими продуктами. Отдавали в столовых «мясные» талоны для того, чтобы получить тарелку супа, очень неохотно, намного легче было расстаться с «крупяными» талонами. Мясом дорожили и использовали его особенно экономно. Некоторые предпочитали даже есть

его сырым: считалось, что при варке и жарке оно утрачивало ценные пищевые компоненты. Колбасой мясо заменяли редко. Высокой похвалы удостаивалось у блокадников «дивное» американское мясо — «мы такого и в мирное время у себя не ели»[12]; выдачи его, правда, были редкими, но обязательно отмечались в дневниках.

Очень трудно было получить по карточкам и масло. Л. Я. Гинзбург вспоминала о том, что масло, если оно выдавалось по полной норме, оказывалось прогорклым, а если в меньшей — то качественным. Вместо масла иногда выдавался гусалин — кулинарный жир с мукой, обычно предназначавшийся для жарки продуктов, отвратительный на вкус, но сытный. Большой редкостью являлась и рыба. Свежей рыбы не было, небольшой улов, добывавшийся в порту, использовался для нужд портовых рабочих, а некоторая его часть оказывалась на столе у «ответственных работников». Населению выдавалась, как правило, селедка, причем тоже редко. Большим лакомством считался рыбий жир. Припасали его обычно для детей, причем обнаруживали в нем не только калорийность, но и отменные вкусовые качества. «Несколько раз мы позволили себе роскошь — поджарили на рыбьем жире свой хлеб», — читаем в воспоминаниях А. И. Воеводской[13].

С начала января 1942 года почти прекратились выдачи натурального молока. Небольшие порции сгущенного молока можно было еще получить по карточкам и в женских консультациях, а также в детских учреждениях в виде «сухого пайка». Употребляли обычно соевое молоко. В 1942 году его нередко можно было получить на предприятиях и в учреждениях как дополнительное питание, «бесталонное» и бесплатное. Пили его не очень охотно. Оно имело, как деликатно выразился один из блокадников, «специфический запах», к которому он, впрочем, притерпелся: «Хорошо оно, когда прокиснет. Очень вкусное»[14]. В декабре 1942 года для детей отпускали молоко улучшенного качества, как правило, от пол-литра в день — «не соевого, а овсяно-солодового. Оно совсем коричневое и гораздо вкуснее, сладкое»[15].

Стойкое отвращение вызывал у всех блокадников соевый суп, при употреблении которого испытывали

даже тошноту. «И еще что-то соевое. Типа супа такое... Я помню в бидончике. Но я помню, очень неприятное чувство от этой сои... Какой-то специфический вкус был. Тоже давали бесплатно, тоже можно было без карточек взять», — рассказывала А. А. Вострова[16].

Употребляли в городе и алкогольные напитки. Пользовались старыми запасами, вино получали и по карточкам, часто в праздничных наборах. Там, где имелась возможность приобрести спирт (обычно на предприятиях), отмечалось даже пьянство среди «начальства большого и малого»[17]. Если выдавалось «бескарточное» пиво, за ним выстраивались длинные очереди. В 1942 году кое-где стали продавать и квас, что являлось совсем уж неожиданным сюрпризом. О качестве его сведений обнаружить не удалось, но этим мало интересовались:

«Недалеко от угла Невского и Литейного продают хлебный квас. Время нерабочее, мигом появляется небольшая очередь.

— ...Квас?

— И без карточек?

— Без карточек.

— Вот это да, — говорит какой-то человек с портфелем. — Это же, товарищи, идиллия»[18].

Острую нужду испытывали в сахаре. Его и по карточкам выдавали не всегда, нередко заменяли «сладостями» и повидлом. И то и другое часто не оправдывало своего названия. Конфеты в коробках (более дорогие) продавали еще и в октябре 1941 года, но чем дальше, тем в большей степени конфеты содержали примеси, в частности гидроцеллюлозу. Привычные «марки» конфет удивляли своим вкусом. Часто выдавали конфеты «Крокет», какие и прежде считались низкокачественными. В дневниках не раз встречаешь упоминания о леденцах, которыми пытались компенсировать нехватку сахара. «Отвратительная» конфетная масса вызывала сильное раздражение блокадников, которые, конечно, никак не могли признать ее равноценной сахару. Не всегда удовлетворялись и повидлом — главным его недостатком считалась «несладкость»: «Повидло не убедительное, ется почти без всякого усахаряющего эффекта»[19]. Из

многочисленных заменителей сахара предпочтительнее всего был шоколад, но его редко видели на прилавках.

Не брезговали и аптечными продуктами, особенно если они были сладкими на вкус. Самыми популярными являлись таблетки «сен-сена», предназначенные для устранения неприятного запаха, — вероятно, это было то немногое, что еще могли предложить аптекари. Отметим, что попытки утолить голод с помощью лекарств и аптечных средств предпринимались не раз. Особым спросом пользовались гематоген, глюкоза с порошком шиповника, витамин С, но могли найти неожиданное применение и другим продуктам: из детской присыпки иногда делали лепешки. Более доступными для блокадников являлись кофе и какао (последнее, вероятно, низших сортов); иногда это было единственное, чем питались потерявшие карточки люди. Кофе и какао более охотно делились с другими. Пили не только кофе, ели и кофейную гущу — выбросить хоть что-нибудь, что имело питательную основу, вряд ли способны были люди, употреблявшие столярный клей.

Самыми дефицитными были в Ленинграде фрукты и овощи. Свежих фруктов почти никто не видел, выдача по одному мандарину в новогоднем подарке для детей в январе 1942 года запомнилась надолго. «В райкомах лучше было. Там давали консервированные фрукты. Откуда их столько было? Ими мы и питались. Бывало, банку съешь и как бы сыт», — рассказывал председатель Василеостровского райисполкома А. А. Кусков[20]. Простые ленинградцы в первую блокадную зиму о таких деликатесах и не мечтали. Кое-какие фрукты все же перепадали и им — от родных, друзей, знакомых, из подарков, присланных «трудящимся Ленинграда» из восточных районов страны.

Искать тех, для кого фрукты являлись тогда основой рациона, — дело бесполезное. И овощи были доступны не всем. О поездках осенью 1941 года на прифронтовые поля для поиска кочерыжек и верхних сгнивших листьев капусты говорил не один блокадник. Отметим, что заготовка овощей (в основном картофеля и капусты) в пригородных районах в сентябре 1941 года была органи-

зована из рук вон плохо. Отчасти это можно объяснить тем хаосом, который воцарился при стремительном наступлении немецких войск на Ленинград: судьба города висела на волоске, и никто не мог сказать, что случится на следующий день. Главной проблемой стал вывоз овощей. В некоторых районах для этих целей было выделено всего две-три машины в день. Мало кто хотел работать на полях, производительность труда была низкой, а жилищно-бытовые условия мобилизованных горожан (каждому из сельских районов должны помогать в уборке жители «прикрепленных» к ним городских районов) оставляли желать лучшего. Невывезенные овощи разворовывались или, в лучшем случае, передавались находящимся вблизи войсковым частям. Из 10 тонн урожая картофеля, собранного в колхозе «Пахарь» (Слуцкий район) и невывезенного, за три дня украли 6 тонн[21].

В ряде случаев заготовки овощей являлись более организованными и упорядоченными. Так, ввиду нехватки рабочих на картофельных полях в совхозах к уборке привлекали горожан, причем часть собранного урожая разрешалось брать себе. Но это являлось скорее исключением. Картофель оставался недоступным ленинградцам и после окончания «смертного времени». Летом 1942 года, когда Ленинград буквально «пророс» огородами, картофель почти не сеяли — похоже, клубней в голодавшем городе осталось мало.

Лук же во время первой блокадной зимы вообще ценился на вес золота. Он не только спасал от авитаминоза, но и являлся средством, способным смягчить крайне неприятный привкус пищевых суррогатов.

Едва сошел снег и зазеленела трава, опухшие, обезображенные цингой горожане начали всюду, буквально под ногами, искать витамины. Л. А. Ходоркову 28 мая 1942 года пришлось увидеть на дороге труп женщины, а «рядом два мешочка с сорванной травой»[22]. Собирали корни подорожника, ромашку, лопух, не брезговали и водорослями, а то и какой-нибудь «безымянной кудрявой травкой»[23]. Польза от этой травы считалась врачами ничтожной, говорили, что при ее кипячении выпаривается витамин С, — но это никого не остановило, особенно если рядом находился парк.

Большим спросом пользовалась крапива, но в Ленинграде ее обрывали сразу же, едва замечали. Найти ее можно было только за городом. Деликатесом являлись и корни одуванчиков («сваришь — и как картошка получается»), а также щавель — «не успеет вырасти — рвут»[24]. Такие «сборы» не сразу нашли поддержку у властей. То, что в городе стали есть траву, вероятно, не с лучшей стороны характеризовало их «заботу о трудящихся». Розничная продажа дикорастущих съедобных трав была узаконена решением обкома и горкома ВКП(б) только 19 июля 1942 года, когда, пожалуй, каждый блокадник нашел им применение и без указаний «верхов». Ботанический институт срочно выпустил в свет серию брошюр с инструкциями о том, как и что готовить из диких и культурных трав, но обычно приготавливали варево по собственному вкусу и в зависимости от имевшихся продуктов. Неясно, пользовалась ли популярностью брошюра «Чай и кофе из культурных и дикорастущих растений Ленобласти», но, вероятно, число пищевых отравлений такие публикации могли уменьшить.

Разведение же огородов считалось делом государственным. Для этих целей предприятиям и учреждениям было отдано около семи тысяч гектар пустующих земель рядом с городом, но, видимо, не все они были засеяны. Более надежным считали выращивать овощи в черте города, где было легче следить за их сохранностью. Надежды на то, что удастся купить овощи в ленинградских магазинах, быстро, однако, исчезли. Заморозки были неожиданно ранними — 31 августа 1942 года. Сильнее всего они сказались на посевах огурцов и помидоров. По дневнику В. Ф. Чекризова особенно отчетливо видно, как неостановимо иссякал ручеек предназначенных для «бескарточной» продажи овощей, от которой так много ждали. Запись 28 сентября 1942 года: «...Заехал на Смоленский рынок... Ботва свеклы, морковки, турнепса и др. продавалась в ларьках и дешево (1 руб. кг), но очереди большие... народ много покупает ее для засолки». Запись 5 октября 1942 года: «Заехал на Смоленский рынок купить зелени... В 2-х лавках госторговки продают ботву, за которой длинные хвосты. Берут мешками, солят на зиму... Не решился стать, т. к. это было бы на

2—3 часа, если не больше». Запись 19 октября 1942 года: «...пытался купить зелени, но... ничего нет. На Смоленском рынке один продавец на весь рынок продает капусту... по 100 руб. за 1 кг. На Мальцевском рынке капуста 120 руб. за кг, на этом рынке покупателей больше, чем зелени... К окончанию сбора овощей цены не только не снизились, но поднялись»[25]. Ни о каком «сезонном» снижении цен и речи не шло. И. Д. Зеленская особо отметила «устойчивость» цен на рынке во второй половине сентября 1942 года: корнеплоды — 40—50 рублей за килограмм, кочанная капуста — 100 рублей. Картофель считался драгоценностью, его было мало и продавался он по «рыночной» цене буханки хлеба — 350—400 рублей[26].

Получить «цивилизованные» продукты десятки тысяч ленинградцев могли лишь благодаря подаркам друзей, родных, знакомых, а нередко и чужих людей — разумеется, сами эти «дары» обычно являлись мизерными. Три кильки, горсть овсяной муки для киселя, «крошечный кусочек мяса, четыре сушеных белых грибка и четыре мороженые картофелины» — таковыми были подношения, которыми друзья поддерживали художницу Анну Петровну Остроумову-Лебедеву в январе—феврале 1942 года. И стыдилась она этого, и отказаться не могла, поскольку часто питалась только супом из морской капусты[27].

З. А. Милютиной родственник прислал из госпиталя «три ломтика копченой колбасы», З. А. Мойковская получила от подруги «кусочек хлеба с маргарином», а мать Е. Кривободровой — «маленький сухарик и в крохотной баночке земляничное варенье». М. Тихомирову принесли с мельницы «чашку пшеницы». Бабушка С. Магаевой, выменяв на «остатки нашей прежней роскоши» масло, разделила его на три части — себе, внучке и дочери. «Когда вернулась мама... на блюдце лежал маленький ломтик масла, а в записочке было сказано, что это мамина доля, а свою долю мы... съели. Мама тихо заплакала» — вот она, непритязательная, но подлинная картина человеческой доброты, которую не смогли поколебать ни голод, ни холод, ни бомбы[28].

Иные подарки являлись и более щедрыми — мно-

гое зависело от должности людей и их умения налаживать связи. Председатель райпромкомбината А. П. Никулин, побывав 22 января 1942 года в гостях у своего друга, комиссара одной из бригад, так описывал обед: «Давно... я не наедался досыта, а тут тарелка вкусного супа на мясном отваре, пшенная каша (полкотелка — солдатского) с большим куском мяса, полбанки судака (консервов), стакан компоту. Хватило и хлеба к обеду»[29]. Наиболее богатыми, калорийными и сытными, содержавшими давно ставшие недоступными для блокадников яства, были продуктовые подарки от родных и близких из тыловых районов СССР, от творческих и научных сообществ, от наркоматов, от «трудящихся» городов и областей и союзных республик. Отметим и спецпайки (чаще всего одноразовые), которые выдавали по отдельному списку тем, кто имел особые заслуги. Диковинные деликатесы (по блокадным меркам) иногда находили и во фронтовых подарках, присылаемых (или передаваемых с оказией) солдатами для своих семей. Перечень таких даров можно обнаружить почти во всех дневниках и воспоминаниях. Это были консервы, крупа, свиной жир, сухари, шоколад, галеты, сухофрукты, печенье, пряники, масло, мед, колбаса. Подарки обычно адресовались «героическим ленинградцам» и «защитникам Ленинграда». Труднее всего их было поделить между нуждающимися блокадниками. Четких критериев «дележки» не было, на предприятиях и в учреждениях нередко самостоятельно решали, кого и в какой мере поощрять. В Союзе писателей все, кому выдавали военный паек, получили лишь половину «подарочного» набора, а при распределении посылок Президиума АН СССР в январе 1943 года придерживались другого правила: больше всего продуктов давали тем, кто имел рабочую карточку[30]. Недовольство быстро прорывалось наружу: жаловались, требовали объяснений, подозревали в нечестности, считали себя обделенными. Дело дошло до того, что А. А. Жданов обратился в Москву с просьбой не отправлять подарки, поскольку это вызывало «нездоровые» настроения.

Подарки посылались редко и лишь ненадолго помогали смягчить голод. Особенно остро чувствовалась не-

хватка белков. Переход от употребления обычных сортов мяса (свинины и говядины) к конине произошел очень быстро. Котлеты из конины стали продавать в столовых еще в начале октября 1941 года. Сначала это вызвало шок, но вскоре привыкли. «Они неплохие, и питательность, по-видимому, хорошая», — отмечал в дневнике 12 ноября 1941 года В. Ф. Чекризов[31]. Кониной не брезговали питаться даже литераторы, жившие лучше других, — пришлось ее попробовать и руководителю ЛО ССП Вере Казимировне Кетлинской[32]. Для многих блокадников, однако, и конина являлась лакомством. Мужу Э. Соловьевой, инвалиду войны, удалось получить ее в зоопарке лишь по особой записке из конторы «Заготскот». Как о «маленькой радости» писала о блюдах из конины работавшая на ГЭС С. Д. Мухина: «Выяснилось, что в близлежащем совхозе сохранилось несколько лошадок. По случаю одного из праздничных дней нам сделали из них котлетки — каждому по одной. Гарниром же был оставшийся от них кормовой овес, в обычное время — вещь совершенно несъедобная. Но какое это было счастье»[33].

Употребление в пищу мяса собак и кошек стало обыкновением в «смертное время». Собаки исчезли быстрее всего — их было не так много и они не могли, как люди, долго голодать. В дневнике Вс. Иванова приведен такой рассказ художника Власова: «Хозяева, вначале, сами собак не ели, а дарили их трупы друзьям, позже стали есть»[34]. Обычно их мясо засаливали и его хватало на несколько месяцев. «Говорят, очень вкусно», — отмечал в дневнике 10 декабря 1941 года[35] А. Н. Болдырев, увидев 28 ноября 1942 года «живую собаку», записал в дневнике: «Это поразительно»[36].

Чаще всего ели кошек. Употреблять их мясо стали еще в начале октября 1941 года, хотя недоедание еще не ощущалось столь сильно, как позднее. Голодных кошек, подбегавших к людям, поймать было легко. Во второй половине ноября 1941 года кошки исчезли с ленинградских улиц, в помойках начали находить их шкурки. В ноябре кошка стоила 40—60 рублей, а в декабре — 125 рублей[37]. Д. Н. Лазарев в январе 1942 года прочел однажды прикрепленное к столбу и такое объявление: «Отдам золотые часы за кошку»[38].

Кошатина с января 1942 года стала деликатесом. Прося у кого-нибудь кошку, часто ссылались на голодных детей — видимо, ценность подарка была такова, что требовался самый неотразимый аргумент. На первых порах людей, употреблявших мясо кошек, даже подташнивало, но потом попривыкли. «Прекрасное белое мясо» — так оценивали его в декабре 1941 года. И не брезговали лакомиться им позднее, когда значительно повысили нормы пайков. «Опять слышал мечтания о кошатине, как о высшем деликатесе. Она лучше псины, хотя псина тоже очень хороша. В частности, хорош суп из собачьих кишок» — эта запись занесена в дневник А. Н. Болдырева 17 августа 1942 года[39].

Некоторые блокадники употребляли в пищу и крыс. Не удерживались и интеллигентные люди. В одном из дневников рассказывается об актрисе, собиравшей раздавленных машинами крыс у продовольственных складов. Старший кассир ленинградской конторы Госбанка, как отмечалось в воспоминаниях его сослуживца, «ел крыс, мышей, всякую падаль»[40]. Кто-то питался и отбросами с помоек, причем не брезговал ничем — ни картофельными очистками, ни селедочными головами, ни дохлой кошкой.

Из растительных продуктов-суррогатов самым «цивилизованным» был жмых, остававшийся после выжимки масел из льняных, конопляных, подсолнечных, соевых, хлопковых и других растений, в просторечии именуемый дурандой. Спрессованная дуранда иногда была настолько твердой, что приходилось разбивать ее молотком. Из дуранды делали кашу, лепешки, суп, оладьи. Некоторые ее сорта (особенно подсолнечный) считались вкусными и ценились на импровизированных городских рынках. В ряде случаев дуранда выдавалась как пайковый продукт, она использовалась и при выпечке хлеба, а также для изготовления конфет. Биточки, студни и оладьи из жмыха нередко видели и в столовых.

Самыми отвратительными считались выжимки из соевых бобов, так называемый соевый шрот. «Фу, гадость», — скажет одна из блокадниц, попробовав их, и ее слова едва ли не буквально повторит А. Н. Болдырев:

«Я ел в первый раз — такая гадость, что слов нет, но сытна, подлюга... Даже немного не доел, отвращаясь»[41]. Этот шрот можно было получить без карточек, отсюда его популярность, достигшая своего пика к середине 1942 года. Соевый шрот — «сырые, мокрые жмыхи», как отмечала Л. В. Шапорина, — пробовали и летом 1943 года, за несколько месяцев до полного снятия блокады.

Не брезговали и низкокачественными суррогатными продуктами, иными словами, промышленными отходами. Художник И. Быльев вспоминал, как он поджаривал хлеб на сделанной из ворвани сапожной мази: «Запах рыбный и отдает дегтем... Ворвань — это самый низший сорт рыбьего жира или сала тюленей, китов, оставшийся после вытапливания высших сортов. Он загрязнен мелкими кусочками печени, желчью... Ежедневно теперь я ем поджаренный хлеб. В нашем положении такую дивную мазь куда полезней съедать, чем смазывать ею сапоги. Между прочим, чувствуется все же, что она предназначена для кожи... Моя кожа на теле становится чуть-чуть мягче, чуть-чуть менее пергаментной»[42].

Использовались отруби, картофельные очистки — из них обычно пеклись лепешки. Из хряпы — гнилых верхних капустных листьев — варился суп. Картофельной мукой, предназначенной для изготовления клейстера, также заправлялись супы. В Институте растениеводства разрешили употреблять в пищу отсевки (семена, не дающие всходов) из знаменитых коллекций. «Кукурузу мы дома размачивали, мололи и варили», — вспоминала работавшая в институте З. В. Янушевич[43]. Из дрожжей производили патоку, прибавляя к ней опилки (она ценилась как лечебное средство), но чаще всего их использовали в супах. Этот дрожжевой суп, «белесоватую жидкость неопределенного вкуса, ничем не заправленную»[44], пробовал, наверное, каждый блокадник — нередко его выдавали, не требуя «карточных» талонов. Делался он, согласно свидетельству Д. С. Лихачева, довольно просто: «Заставляли бродить массу воды с опилками»[45]. «Раскладка» тарелки супа в районной фабрике-кухне была такой: 15 граммов дрожжей, 3 грамма соли. В том случае, если в суп добавляли немного жира, из карточки отрывали талон на жиры.

По мере усиления голода люди были готовы есть всё, невзирая на стыд, брезгливость и отвращение. История блокадной еды — это не только история распада человеческой цивилизации, но и свидетельство стойкости человека, его стремления выжить несмотря ни на что. В «смертное время» на вкус не обращали внимания — лишь бы нашлось то, что хотя бы на миг утолило этот страшный, выворачивающий наизнанку голод.

Как только начались на предприятиях выдачи промышленного сырья для употребления в пищу, люди буквально накинулись на все эти технические жиры и клеи, просили дать им еще, радовались, получая их. Перечень таких суррогатов оказывался бесконечным: столярный и обойный клей, сало и вазелин для спуска кораблей со стапелей, олифа, спирт для протирки стекол, патока для литья снарядов, целлюлоза, костная мука из отходов производства пуговиц (предназначалась для отжига металлов), сыромятные ремни, подметки, сапожная кожа, казеин, используемый для изготовления красок, пластмасс и клей-цементов, гуталин.

Выдача «заменителей» еды на фабриках и заводах была запрещена в июне 1942 года, но отметим, что и они доставались далеко не всем. На судостроительном заводе им. С. Орджоникидзе «составляли списки наиболее ценных рабочих», в Государственном институте прикладной химии (ГИПХ) сначала суррогаты раздавали тем, кто просил, но, когда поняли, что их не хватит на всех, стали «со всей жесткостью обсуждать вопрос, кто нам нужен и кого надо спасти»[46]. Так поступали, конечно, не везде, и нередко помощь отдельным остронуждающимся рабочим предваряла массовые выдачи промышленного сырья.

Иногда (это отмечалось, правда, редко) съедали свечи и цветы комнатных растений, опилки — из них делали лепешки и оладьи. Особенно осторожными были, когда изготавливали студень из сапожной кожи. Ее требовалось тщательно вымачивать, несколько раз сливать воду — иначе можно было отравиться. Правда, голодные люди, употреблявшие кожу в пищу, зачастую и не знали о «кулинарных» тайнах. Главным было насытиться, терпеть они не могли. Как вспоминал А. И. Пантелеев,

не брезговали и «куском жареной подошвенной кожи», ему же рассказывали маленькие брат и сестра — дистрофики, помещенные после смерти матери в пансионат: «Мы так голодовали, что папины кожаные перчатки сварили и съели»[47]. Ели и землю, когда она казалась питательной. «Мы собирали землю у Политехнического института, там было место, где до войны то ли продукты испорченные закапывали, то ли еще что ...но земля там вкусная, жирная, как творог: она не хрустела. Мы делали из нее оладьи», — вспоминала К. Е. Говорова[48].

Часто пили один лишь кипяток — заполняя желудок, он на время утолял чувство голода. Обычно употребляли его с солью (считалось, что тем самым усваиваются ценные витаминные минералы). Кипяченую воду разбавляли и соевым молоком.

Для использования суррогатов в пище, разумеется, необходимы были навыки их приготовления. Трудно сказать, как передавался «кулинарный» опыт в этом случае, насколько изможденные, стонавшие от голода блокадники могли точно соблюдать переданные им инструкции. О пищевых отравлениях имеется больше косвенных, чем прямых свидетельств, но отрицать их нельзя. Никаких пособий о том, как использовать в пище клей-цемент, конечно, не выпускалось. Советы обычно бывали устными, услышать, понять и правильно использовать их было дано не всякому обессиленному человеку. В дневнике Ф. А. Грязнова очень детально описан этот метод «проб», когда он пытался выяснить, съедобны ли найденные им неизвестные семена, которыми раньше кормили белку. «Решили спечь лепешку. Мыли эти семена в десяти водах, но вода каждый раз была черной... Чего я туда не положил, чтобы как-нибудь эту массу сделать съедобной. Мятное масло, но после пробной лепешки горечь стала еще сильнее... Пересолил(?) Горчит... Нашел нашатырно-ананасовые капли. Накапал. Нашатырь ударяет в нос весьма ощутительно... Положил ложку муки, немного сахару, кофейной гущи... Наконец, тесто готово. Катаю лепешки, руки черные и тесто не отстает. ...Кладу черные как смоль лепешки на сковороду... Готово — спеклись. Даю попробовать, у всех гримаса»[49].

Блокадная пища обычно приготавливалась в виде супов, лепешек, паштетов, студней. Супы порой представляли самые необычные комбинации «цивилизованных» и суррогатных продуктов. В. Ф. Чекризов как-то заправил шпиком суп, приготовленный из цветной капусты и моркови, а щи сварил из свеклы и турнепса с добавкой гречневой каши. Таким был «приличный» суп (правда, не всегда и не у всех) осенью 1941 года. В «смертное время» приходилось использовать другие «продукты». Вот состав «супа», сваренного в семье Е. Козловой в декабре 1941 года: «Кофейная гуща (...использованная), дуранда и 1 чайная ложка масла от смазки самолетов, и все это в микроскопических порциях»[50]. Суп в это время готовили самым простым способом — из воды, размоченного хлеба, картофельных очисток, пшена, макарон; если была возможность, добавляли в него и лавровый лист. Впрочем, чаще употребляли супы «попроще» — один из блокадников сравнил их с водой, в которой помыли жирную посуду. Чтобы повысить питательность супов, клали в них, ввиду отсутствия мяса, и шкурки животных, предварительно их соскоблив. Пищевых отходов в блокадных домах не было — из остатков блюд (накипи, оставшейся при варке костей гущи) пытались приготовить путем перемалывания, жарки и варки котлеты, паштеты или лепешки. Деликатесом считались блюда из дуранды. «Если сдобрить ее ложечкой сахарного песка, предварительно нагрев конопляную или подсолнечную дуранду на плите, — никакой халвы не надо. Шикарнее тортов», — писал А. И. Пантелеев[51]. Охотно готовили и супы из крапивы, щавеля и ботвы. Постные щи были не очень вкусными и густыми — добавляли в них иногда кусочек мяса, соль, касторовое масло, соевое молоко.

Как это ни покажется странным, еще большим спросом пользовались плитки столярного клея. Он изготовлялся из костных отходов скотобойни, из копыт и рогов. Плитки размачивали в воде, кипятили и обычно добавляли к ним специи, чаще всего уксус, иногда перец, корицу, лавровый лист. Застывал он долго, несколько часов. «Прекрасное блюдо», — отмечал в дневнике А. Т. Кедров, а другая блокадница, школьница Е. Мухина, пишет о нем едва ли не в состоянии эйфории: «Он очень

понравился. Мне лично очень. А когда мы прибавили немного уксуса, это было замечательно. Вкус мясного студня, так и кажется, что вот сейчас тебе в рот попадет кусочек мяса. И совсем не пахнет столярным клеем»[52]. Другие, правда, примечали запах сапожной или столярной мастерской, но и он «не помешал наслаждению», с каким ели этот «чайно-коричневый, аппетитно возбуждающий студень»[53].

Способы приготовления блокадных блюд отчасти можно узнать из текста, приложенного З. А. Игнатович к своим воспоминаниям «Очерки о блокаде Ленинграда». Здесь он публикуется полностью и не требует комментариев — это больше, чем поваренная книга, это памятник человеческой стойкости:

«Некоторые блюда из времен блокады
(рецептура)

Оладьи по-ладожски

Употребляют картофель, выловленный с потопленных немцами барж на Ладожском озере, который предназначался для ленинградцев. Выдают картофель по учреждениям по 100 грамм на человека и не за счет карточек. Картофель черно-бурого цвета, по возможности его растирают в однообразную массу и пекут лепешки на раскаленной сковороде или просто железе. Есть рекомендуется, не разжевывая, чтобы не поломать зубы о песок и маленькие камешки.

Селедочный паштет

Селедочные головы, хвост и плавники, оставшиеся от пайка (не надо пренебрегать и найденными в отбросах), хорошо промывают и не меньше 5—6 раз пропускают через мясорубку. Последний раз перед промолкой можно добавить небольшой кусочек хлеба и паштет готов!

Заливное

Плитку (100 грамм) столярного клея замачивают холодной водой. Через несколько часов, когда клей набухнет, добавляют воды до пятикратного размера и кипя-

тят на медленном огне. По вкусу добавляют соль и для отдушки тухлого запаха можно добавить перец, лавровый лист и пр. После получасового кипячения жидкость выливают в плоскую посуду и ставят в холодное место. Через 3—4 часа заливное готово. Если есть уксус — полейте им, но и так вкусно.

Картофельная запеканка

Шелуху от картофеля (иногда ее удается приобрести в рынке) промойте, положите в кастрюлю, налейте третью часть воды, варите до мягкости, после тщательно растолките, если есть соль, посолите. Полученную массу запекайте на горячей сковороде. Для картофельной похлебки к растолченной массе добавьте тройное количество воды. После лучше еще раз скипятить, если достаточно топлива.

Похлебка из кожаных ремней

Лучше брать не окрашенные ремни. Залейте их с вечера водой (предварительно ремни нарежьте мелкими кусочками и промойте) и в этой же воде кипятите, желательно не менее 2—3 часов, если есть топливо. После кипячения заправьте крапивой, лебедой, купырем, мокрицей или другими травами. Хорошо прибавить немного уксуса. В зимнее время заправьте сухой травой или любой крупой.

Лепешки из горчицы

Взять сухую горчицу и залить ее холодной водой, с которой тщательно перемешать. Когда горчица осядет на дно, осторожно слейте воду и налейте свежей, так повторите раза 3—4, чтобы вымыть из горчицы эфирные масла, которыми можно отравиться. Промытую горчицу заварите кипятком и из набухшей массы пеките лепешки. Можно прямо на пустой сковороде, а если есть масло (касторовое, вазелиновое, олифа), предварительно слегка смажьте. Можно к горчичной массе прибавить косметических миндальных отрубей, предварительно хорошо их измельчить. Миндальные отруби рекомендуется прибавлять не больше 10—15%, т. к. они изготовляются из горького миндаля и содержат си-

нильную кислоту. Чистыми косметическими отрубями можно отравиться, даже со смертельным исходом. К горчичной массе можно прибавлять и жмыхи: соевые, хлопковые, льняные и другие.

Весенний салат

Нарвите молодой крапивы, купыря, мокрицы. Лучше купите, пожалуй, на рынке, т. к. в городе моментально срывают, а далеко за город не всякий может добраться. (Небольшая корзиночка травы на рынке стоит 100—120 рублей.) Траву тщательно переберите, хорошенько промойте, полейте уксусом. Салат готов. Он вполне заменяет свежие огурцы, особенно, если много добавлено крапивы.

Котлеты из технического альбумина

(Технический альбумин — кровь, собранная с грязных полов при убое скота и консервированная карболкой. — *Примеч. З. Игнатович.*)

Технический альбумин залейте холодной водой, сменяя ее через 5—6 часов несколько раз, пока запах карболки резко уменьшится. Прибавьте к промытому альбумину небольшое количество воды и поставьте на медленный огонь, пока образуется кашицеобразная масса. Массу берите ложкой и запекайте на сковороде. Для отдушки хорошо прибавить мелко нарезанного лаврового листа, поперчить, но запах полностью не исчезает.

Кровяная колбаса из технического альбумина

Колбасу выдают по месту работы не в счет пайка. Колбасу с оболочкой или, освободив ее от оболочки, запекают в закрытой сковороде или духовке.

Пропечь надо хорошо, так как при приготовлении она очень загрязняется. Если нет никакой отдушки, то лучше колбасу есть холодной, тогда она меньше пахнет дезинфицирующими веществами.

Пирожное из соевого шрота

Соевый шрот тщательно промывают. Отдельно приготовляют клейкую массу для связи из агар-агара. Агар-агар — это морское растение, употребляется для за-

твердения питательных сред, на которых выращивают микробов.

Агар-агар берется из расчета к воде 2%, он сильно набухает, его долго кипятят до растворения. Одну часть этой массы в горячем виде прибавляют в шрот, запекают в форме и остужают.

К другой части агар-агара прибавляют по вкусу сахарин или дульцин (искусственное сладкое вещество), подкрашивают амарантом и этой массой после выпечки пирожных их украшают сверху. Пирожное по внешнему виду никак не отличить от настоящего, но даже голодные не всегда ими соблазнялись.

Щи из хряпы

Блюдо сезонное. Можно готовить только осенью. Купите на рынке нижние зеленые листья, оставшиеся после снятия капусты. На огороде их не найдете, т. к. хозяева снимают не только капусту, но и нижний зеленый лист. Капустный лист очень мелко покрошите и опустите в холодную воду. Посолите. Варить надо очень долго. Если есть какая-нибудь крупа, то заправьте. Даже при длительной варке капустные листья очень жестки и хрустят на зубах, почему и получили название «хряпа».

Мясной суп из домашних и одомашненных животных

Не пренебрегайте мясом. Всякое мясо содержит в себе белковые вещества, которые необходимы человеку. По вкусовым качествам, проведенным в одном научном учреждении в начале блокады, мясо некоторых более доступных животных распределяется следующим образом: мясо собаки, морской свинки, кошки и на последнем месте — мясо крысы.

Тушку освободите от внутренностей (головы животных лучше не употреблять, чтобы избежать психологического воздействия. — *Примеч. З. Игнатович*), хорошенько промойте и опустите в холодную воду, посолите. Варить надо от 1–3 часов в зависимости от величины животного, объема куска. Хорошо для отдушки прибавить лаврового листа, перца, какой-нибудь зелени, а если есть и крупы.

Кофе из корней одуванчика

Весной листья одуванчика можно использовать для салата или просто есть, небольшая горечь не мешает. В конце лета (запомните, где рос) выкопайте корни, хорошенько их промойте, нарежьте на мелкие кусочки. Вначале корни подсушивают на воздухе, а после поджаривают на сковородке до коричневого цвета, мелют в кофейнице или толкут в ступке. Одна чайная ложка порошка на стакан кипятка дает очень вкусный кофе, а если прибавить немножко молока и иметь маленький кусочек сахара, то напиток будете пить с удовольствием и в мирное время»[54].

Глава пятая

Досуг

О культурной жизни осажденного города написано много, но меньше всего — самими блокадниками, не принадлежавшими к литературному и артистическому миру. «Теперь, когда слышишь или читаешь о блокаде Ленинграда, может сложиться впечатление, что главные ее события — непрекращающаяся деятельность Театра музкомедии, Седьмая симфония Шостаковича и стихи Ольги Берггольц. Никто из окружавших меня людей ничего об этом не знал, мы знали только голод, холод и горе», — рассказывал Л. Б. Ратнер. Ему вторит Е. В. Костина, писавшая, что «никаких развлечений в блокадном Ленинграде не было, вопросы выживания — принести воду, отстоять очередь за хлебом, вернуться домой — занимали много времени и отбирали жизненные силы»[1].

Можно было бы говорить о пристрастности этих строк, если бы не та скупость, с которой пишут о досуге авторы сотен других блокадных документов. У каждого времени свои культурные символы. Они имеют сложное происхождение. Они упрочились посредством ярких эмоциональных рассказов художественно одаренных людей, и потому на них чаще обращали внимание. Они соответствовали распространенным представлениям о том, какими должны быть образцы героического поведения. На них основывался канон блокадной истории,

предложенный властями и поддержанный всеми формами идеологического воздействия, — и потому быстрее усвоенный позднее общественным мнением.

Театров в городе во время блокады почти не осталось: большинство их вывезли из Ленинграда к августу 1941 года. Некоторые театры (им. Ленсовета, им. Ленинского комсомола) пытались давать спектакли еще и осенью 1941 года, но вскоре и они закрылись, как и работавшие в городе два кукольных театра. Чаще прочих давал спектакли Театр музыкальной комедии — его нередко (и не совсем точно) называют единственным театром, существовавшим во время блокады. В ноябре 1941-го — январе 1942 года театр представлял собой скорбное зрелище. В зале было холодно и не очень светло, публика сидела в пальто, спектакли часто прерывались обстрелами, во время которых зрители обязаны были идти в бомбоубежище. «Честно говоря, артисты не в лучшем виде», — вспоминал посетивший театр в ноябре 1941 года А. Гордин. Похоже, власти не очень-то заботились о них: во время антрактов актеры иногда падали в голодный обморок, а чтобы доиграть спектакль, выбрасывали из оперетт «второстепенные арии». Д. В. Павлов рассказывал, как они вымаливали у посетивших театр руководителей города тарелку пустого дрожжевого супа, — заметим, что не одну порцию такого варева могли получить рабочие в заводских столовых и без всяких карточек[2].

23 декабря 1941 года здание театра было разбомблено и его перевели в помещение Театра им. А. С. Пушкина, ранее эвакуированного из города. На новом месте театр прижился не сразу, а в январе—феврале 1942 года он работать не мог: не имелось ни света, ни отопления. Когда он вновь открылся в марте 1942 года, многие почувствовали, что посещавшая его публика стала другой. Истощенные, еле передвигавшие ноги блокадники редко стали бывать в театре — да и трудно сказать, какое веселье здесь могли ощутить люди, недавно потерявшие родных и близких. В театре зато появилось много военных и вызывавших особое раздражение их подруг в золотых украшениях и с лицами, не отмеченными клеймом блокады. У входа стояла толпа, в которой быстро

углядели спекулянтов, — здесь иногда готовы были отдать за билет суточную порцию хлеба.

Значение Театра музыкальной комедии выявлялось не в его патриотических постановках (их было немного) и не в том, что он пробуждал высокие чувства у людей: жанр оперетты специфичен. Имелись разные мнения и об игре артистов, но главным было то, что он поддерживал (как и другие немногочисленные культурные учреждения) в какой-то мере уровень цивилизованности горожан. Культурные потребности, пусть даже и примитивные, вырывали человека из рутины животного существования — а кто знает, где начинается порог одичания. И сама возможность побыть с другими людьми, сопереживать с ними, следя за фабулой спектакля, ощутить себя «театралом», способным думать не только о еде, — разве это не делало людей лучше, разве это не помогало сохранить у них, хотя и не у всех и не надолго, отзывчивость и человечность.

Судьбу театров в первую блокадную зиму разделила и филармония. Побывавшая 26 октября 1941 года здесь В. М. Инбер отметила, что «зал концертный не так наряден, как прежде, нетоплен»; в начале декабря люстры зала горели в четверть. В верхней одежде здесь находились не только зрители, но и оркестранты — «кто в валенках, кто в полушубках». Многие из них и умерли в «смертное время» — из музыкантов, служивших в оркестрах Кировского театра, филармонии и радиокомитета, к апрелю насчитывалось в Ленинграде только 20 человек. В апреле 1942 года удалось воссоздать Большой симфонический оркестр — музыкантов искали всюду, их работа была вознаграждена карточками I категории. Согласно наиболее распространенной версии, формированию оркестра во многом способствовал А. А. Жданов, возмутившийся тем, что на радио «разводят уныние». Передавать веселые концерты в «смертное время» казалось кощунством. А. А. Фадеев, уезжая из Ленинграда, все время напевал фокстрот, и ехавший с ним А. И. Пантелеев удивился: в каком из ленинградских домов он мог услышать его? Радиопередачи, среди которых преобладали литературные, но отсутствовали музыкальные, стали приметой первой блокадной

зимы. Наиболее значительными событиями музыкальной жизни 1942 года стали исполнение 14 июня Шестой симфонии П. И. Чайковского и 9 августа Седьмой симфонии Д. Д. Шостаковича. Последнему событию был придан официальный статус — на концерте присутствовали все руководители города за исключением А. А. Жданова. Существуют разные мнения и об уровне исполнения симфонии, и о том, какая публика собралась в этот день в зале филармонии, — но и сам этот концерт, как и произведение Д. Д. Шостаковича, многими было оценено (в значительной степени и позднее) как особое признание стойкости ленинградцев.

Кинотеатры осенью 1941 года становились все более безлюдными. В блокадную зиму 1941/42 года почти все они закрылись: нечем было отапливать, прекратилась подача тока. Первым 4 марта 1942 года открылся кинотеатр «Молодежный», здесь демонстрировался фильм «Разгром немецких войск под Москвой». Когда читаешь блокадные дневники, то становится ясным, что выбор фильмов в 1942—1943 годах во многом являлся случайным — смотрели то, что предлагали кинотеатры, а многого они предложить не могли. Мало задумывались над тем, стоит ли их смотреть, хотели прежде всего «развеяться». И среди увиденных кинокартин выделяли в первую очередь те, которые помогали хоть на миг уйти из блокадного ада. По впечатлениям блокадников видно, что из фильмов зачастую извлекались, словно красивые «видовые» открытки, именно картины уюта, безмятежности и сытости, соединенные с прошлой жизнью. «Не могу сказать, что мне очень хотелось в кино, но я как будто заставляю себя воссоздавать по мере возможности образ жизни, свойственный довоенному времени, чтобы чувствовать себя живым, не раздавленным человеком, сохраняющим свой внутренний склад», — записывала в дневнике 10 августа 1942 года И. Д. Зеленская[3].

Осенью 1942 года в городе работал 21 кинотеатр, но прежнего ажиотажа среди кинозрителей не наблюдалось — купить билет было легко и в воскресенье. Кинорепертуар в основном состоял из развлекательных картин, в том числе американских, и, разумеется, новинок отечественного кино. Таковых, правда, было мало. При-

мечательна реакция горожан на фильм «Ленинград в борьбе». Фильм был принят, вероятнее всего, сдержанно — оценки его в блокадных документах найти трудно. «Трагизм внешних переживаний Ленинграда передан не достаточно сильно — “разбавлен и подсахарен”, как выразился один знакомый», — записывала в дневнике 25 июля 1942 года М. С. Коноплева[4].

Как правило, посмотреть фильмы от начала до конца удавалось редко. Иногда сеанс прерывался несколько раз, зрители уходили из кинотеатра, не дожидаясь конца показа. Именно из-за того, чтобы уменьшить жертвы во время обстрелов, часть кинотеатров в центре города была закрыта с 1943 года.

Чтение книг, может быть, и не занимало большого места в блокадном досуге, но оно тоже должно быть отмечено. Оцепенение и усталость, охватившие людей в «смертное время», нежелание тратить драгоценный керосин, повседневный быт, требовавший много времени, — всё способствовало тому, чтобы погасить интерес к книге. Обслуживала читателей тогда Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина — фотографии ее посетителей и сотрудников, истощенных, сидевших в пальто и шапках, стали частью блокадной символики. Менее известна работа районных библиотек. Число их сокращалось, мало кто хотел в них работать, поскольку здесь не имелось шансов получить карточку I категории. Библиотекари умирали от голода. Свидетельств о работе районных библиотек мало, тем драгоценнее записи, оставленные сотрудником Детской библиотеки Дома пионеров Свердловского района Л. А. Афанасьевой: «Работали в течение светового дня (ни отопления, ни освещения не было), в десять утра... открывали висячий замок и мы заходили в библиотеку. Хотя... был март (1942 года. — *С.Я.*), стояли еще морозы, чернила замерзли и записи в формулярах делались карандашом, но приходили дети и подростки, брали читать книги. Девочка лет четырнадцати спрашивала “что-нибудь про любовь” и Евдокия Иосифовна (сотрудница библиотеки. — *С.Я.*) дала ей Тургенева... Весной 1942 г. поговаривали о розыске невозвращенных книг, но сил было мало, чтобы ходить по квартирам».

Зимой 1941/42 года действовали профсоюзные библиотеки на предприятиях и в учреждениях, их число достигало 115. Данные официальной статистики надо, конечно, принимать с осторожностью — на законсервированные заводы в блокадную зиму люди приходили не за книгами, а за обедом. Нельзя не сказать и о школьных библиотеках, хотя их число уменьшилось в 1941—1942 годах с 451 до 84[5]. Начало нового учебного года предохранило их от полного упадка. Никакого существенного пополнения библиотечного фонда в 1941—1943 годах не производилось, обходились ранее собранными книжными коллекциями.

Книги пользовались спросом в осадном городе. У букинистических лавок (особенно это было заметно весной и летом 1942 года) толпилось немало людей. Искали, прежде всего, «переводные» и приключенческие романы, но устойчивый спрос был и на книги русских классиков. Чаще всего разборы прочитанных книг с привкусом школьной дидактики можно встретить в дневниках школьников-подростков. Приведем один из них, принадлежащий Ольге Носовой, — он может показаться наивным, но обратим внимание на то, когда он составлен — 21 ноября 1941 года: «Тургенев “Рудин”... Нравится только Лежнев Михайло Михайлович, Рудин что-то мне не ясен.

“Дворянское гнездо”. Нравится Марфа Тимофеевна. Очень. Лаврецкий тоже. С Паншиным у меня очень много общего: тоже люблю поговорить о себе. Лиза Калитина не совсем.

“Дым”. Ничего не поняла. Почему Литвинов м[ог] вернуться к Тане, если он любил Ирину Павловну.

Гонкур “Братья Земгано”. Пожалуй, я с ними согласна, но и в обратную сторону тоже».

19 декабря 1941 года она продолжила свои разборы. Они теперь более подробны, вдумчивы, в них есть тяготение к правильному, нормативному, «красивому» языку — вероятно, представилась возможность излагать их менее конспективным языком:

«...“Робинзон Крузо”. Первая часть мне гораздо больше нравится. В ней... очарование спокойствия, плавной речи и даже, не знаю, можно ли так сказать, какой-то

домовитости... Вторая часть совсем в другом духе. Посещение острова и обращение туземцев немного скучноваты. Но зато поездка вокруг света и путешествие по Сибири чрезвычайно любопытны.

Макаренко "Педагогическая поэма". Вот это именно книга в моем вкусе. Книга, от которой не оторвешься, после которой хочется действовать, жить, работать.

Я вполне согласна с Макаренко, что словами ничего не сделаешь. Это нужно хорошо изучить человека, чтобы найти ту струнку, которую можно заставить звучать по-своему»[6].

Мать ее была библиотекарем, и, вероятно, выбор литературы был осуществлен не без ее подсказки; можно говорить и о привитом ею дочери навыке чтения. Но когда мы задумываемся над тем, почему блокадник не утрачивал человеческие черты, то лучше было бы говорить не о числе театров, а вот об этом, порой интимном, разговоре с книгой, об этом воспрошании и радости единения с привлекательными героями романов, о том светлом, что тянуло к ним читателя.

Это светлое пытались найти и в семейных, и в общественных праздниках. Самым популярным было празднование Нового года. О том, как встречали 1942 год, очевидцы блокады вспоминали не раз. Праздник был поводом для того, чтобы собраться вместе с родственниками, знакомыми, друзьями и ощутить приметы, хотя и иллюзорные, довоенного уюта. Собирали вскладчину продукты, старались, чтобы на столе обязательно были бутылка вина и конфеты — символ праздника. Чтобы купить конфеты в конце декабря 1941 года (их выдавали по 800 граммов), приходилось отстаивать длинные очереди и брать то, что давали: «Конфеты из дуранды на конфеты не похожи, какие-то кубики, пахнут мылом и тяжелые»[7]. Е. Мухина отмечала в дневнике 30 декабря 1941 года, что «это такой суррогат, нельзя понять, из чего он сделан... Одним словом, замазка. На вкус совсем несладкая»[8].

К Новому году приберегали «цивилизованные» продукты, или, как говорили, «шикарные вещи», стол покрывался белой скатертью. Вот перечень блюд, которые стояли на новогоднем столе З. В. Янушевич: кваше-

ная белая капуста, жареные лепешки из картофельных очисток, колбаса, «распаренные чудные сухари», горячая кукурузная каша из отсевков, выданных ей как служащей Института растениеводства, чай. Подготовке к Новому году посвящено несколько страниц в дневнике школьницы О. Носовой. Гости принесли салат, банку крабов, кисель и вино, а хозяева — бутылку портвейна и «торт», изготовленный из белого хлеба. Когда пришло время дарить подарки (а этот ритуал соблюдался во многих семьях блокадников), то О. Носова получила «аварийную» плитку шоколада. «Тут же разделили, хотя тетя крестная и убирала ее, и говорила, что надо отдать мне, и пр., но мама настояла, т. к. ей ее, видно, очень хотелось»[9].

Скажем прямо, не у всех стол был таким, и не всегда здесь было весело. «И вдруг все заплакали. Первая мама», — вспоминал И. С. Глазунов о новогодней встрече родственников, ставших неузнаваемыми[10]. Собравшиеся голодные люди приносили с собой лишь крупицы съестного, хотя, может быть, и надеялись подкормиться во время праздника. Но шли не только за этим, шли к человеческому теплу, шли к участливым людям, которые пожалеют, выслушают и не оттолкнут. Для многих Новый год — это пересчет вех, потерь, это сравнение прошлого с настоящим. Именно здесь чувствовали «размораживание» человека, ушедшего на краткий миг в прошлое из воронки блокадного ада. Он словно становился другим, не отягощенным повседневным бытом, вырванным из нескончаемой вереницы очередей, из суеты, из слухов, из лютого холода, из нестерпимых голодных мук. «Мы же вдвоем... попировали: на этот раз у нас был свет, было тепло (последний раз в этот день истопили кабинет), мы сварили кофе, выпили по рюмочке вина, а на ужин у нас были такие деликатесы как по большой, крупной картошке на брата... Кофе мы пили на этот раз не только с сахаром, но даже с белыми сухариками. А после читали стихи любимых поэтов» — так встретили Новый год Марк Константинович Азадовский и его жена Лидия Владимировна[11].

Одним из главных событий новогодних празднеств 1942 года стало проведение «елок» для детей. Билет на

«елку» стоил 5 рублей, но детям из семей военнослужащих и пенсионеров, а также остронуждающихся они отдавались бесплатно, правда, «не свыше 30% от общего количества». Устраивались «елки» в помещениях Малого оперного театра, Театра им. А. С. Пушкина, Большого драматического театра, в Доме ученых и в Доме Красной армии, но нередко и в школах. В театрах и Домах «елки» проводились наиболее пышно, если здесь уместно это слово. «Стояла красавица-елка, богато разукрашенная, сверкающая разноцветными лампочками. Музыка играла, вокруг елки кружились танцующие, сверху елку освещал цветной луч прожектора. Хлопали выстрелы хлопушек, обсыпая танцующих дождем конфетти, шуршали разноцветные ленты серпантина... Народу было так много, что я едва протолкалась», — описывала Е. Мухина новогодний праздник в Большом драматическом театре 6 января 1942 года[12]. Это рассказ школьницы, стремящейся с помощью знакомых ей «красивых» слов литературно оформить свои впечатления, — многие «елки» выглядели победнее. Та же Е. Мухина ожидала, что ей подарят во время праздника конфету, но так и не получила ее.

Некоторых обессиленных детей привозили на «елку» поодиночке, на санках — если нужно назвать подлинные, а не придуманные позднее символы блокады, то, несомненно, это один из них. Праздник начинался с концерта или театрального представления, но трудно сказать, все ли внимательно следили за ними — дети больше поглядывали на обеденный стол. Затем начиналось угощение. Перечень блюд блокадники помнили и десятилетия спустя после окончания войны. В. Петерсон получила на елке дрожжевой суп, мясную котлету с вермишелью и компот из сухофруктов, Ю. Байков — суп из чечевицы, две котлеты с макаронами и желе, О. Соловьева — тарелку супа, котлетку с макаронами и конфету, М. Тихомиров — «крошечный горшочек супа», 50 граммов хлеба, котлету с гарниром из пшена и желе, Е. Мухина — суп-рассольник, заправленный гречневой кашей, большую мясную котлету с небольшой порцией («две столовых ложки») гречки, приправленной соусом, желе из соевого молока[13]. Как видим, на разных «елках» меню

было довольно однообразным, и не случайно — острая нехватка «карточных» продуктов именно в первой декаде января 1942 года ощущалась повсеместно.

Предполагалось, что угощение дети съедят здесь же, на «елке», но многие из них тайком уносили часть обеда домой. Несли то, что оказывалось наименее жидким: гущу супа, хлеб, котлеты, желе. Никто из их родных от новогодних подарков не отказывался — не такое было время.

Новый, 1943 год встречали во многом иначе. В. Ф. Чекризов сравнивал новогодние дни этого и прошлого годов и обнаруживал разительные перемены. Тогда — голод, холод, сугробы, занесенные снегом трамваи и троллейбусы и, главное, санки с мертвыми, «которые никогда ни один ленинградец не забудет». Теперь — улицы полны людей, в кино не протолкнуться к билетной кассе, в Александринском театре от людей тесно, устраиваются танцы. Он услышал в трамвае разговор отца с сыном, горевавших, что не смогли добыть елку, — «думали ли они о елке в прошлом году?». Помимо угощения на «елках» 1943 года детям давались и подарки. Одной девочке повезло — ей удалось побывать на праздниках и в радиокомитете, и в Доме ученых. На первом из них она получила кулек с грецкими орехами, печеньем, пятью шоколадными конфетами, сухими яблоками, на втором — «хорошего мягкого зайца», пакетик с конфетами, три галетки[14].

В праздниках 1941—1943 годов, как в капле воды, отразились все вехи драматической истории осады города. Ноябрьские праздники 1941 года впервые за много лет прошли без парада и демонстрации, но люди вечером вышли на улицы, заполнив, тротуары и мостовые. По радио передавали военные марши и песни, на зданиях висели красные флаги и кое-где портреты вождей — их, правда, было мало. На предприятиях состоялись митинги, детям и школьникам раздавали билеты в театры, причем перед началом спектаклей давали угощение — кашу, котлету и компот. Приметой праздника стали очереди в магазинах — надеялись, что в этот день их скудный ассортимент расширится[15]. Праздничные выдачи по карточкам не были щедрыми. Набор продуктов обыч-

но включал в себя пряник и шоколадную плитку, вино, но, как отметили очевидцы, пьянства в городе не было.

В ноябрьские праздники 1942 года город был оформлен лучше, на ряде зданий появились панно и лозунги. 7 ноября многие не работали, а среди праздничных выдач были водка, красное вино, селедка, сухофрукты и даже белый хлеб. Неприятно удивили, однако, государственные цены на праздничные продукты. Пол-литра водки стоили 60 рублей, в то время, когда средний заработок составлял 600—800 рублей. Обращала на себя внимание и малолюдность улиц. От бутафорских витрин, где 1 мая 1942 года демонстрировались сделанные из пластмассы овощи, фрукты и гастрономические яства, похоже, отказались — учли, с каким раздражением это было воспринято горожанами.

Обыкновением стало и проведение с весны 1942 года «товарищеских ужинов», продукты для которых собирали вскладчину. В 1943 году чаще проводились вечера молодежи, как правило, они заканчивались танцами. Популярными являлись вечера в Клубе им. Первой пятилетки, правда, имевшие сомнительную репутацию. С удивлением встречали на улицах с весны 1942 года, обычно во время праздников, и горожан, распевавших песни.

Конечно, у подавляющего большинства блокадников были тогда другие заботы. Нельзя не видеть, что праздники служили некоей отметкой, по которой ленинградцы оценивали, как менялся их «достаток», — недаром в их записях так много свидетельств о пайках. И все же город оживал и постепенно стирал с себя черты «смертного времени». Люди не могли жить одним лишь горем, им хотелось и веселья, их тянуло к театрам и книгам, они старались надеть на себя все лучшее, что имели, они стремились выглядеть привлекательнее и красивее.

Глава шестая
Спасение

Наиболее значимыми формами спасения людей в самые трудные дни блокады считались прежде всего стационары, детские дома и больницы. Имелось несколько

видов стационаров. Лучшим из них считался городской, где получали очень хорошее питание, было тепло и уютно. Калорийную, качественную еду выдавали в районных стационарах, хотя и не столь щедро, как в городском. Низшим звеном в этой системе являлись стационары предприятий и учреждений. Здесь тоже подкармливали горожан, но возможности предоставить им приличное питание даже по блокадным меркам имелись не всегда. Решение об открытии стационаров было принято Ленгорисполкомом 29 декабря 1941 года и, скажем прямо, являлось запоздалым и декларативным. Кормить здесь ослабевших людей в первой половине января 1942 года было нечем: не хватало даже продуктов для того, чтобы выдать их своевременно по карточкам.

Правильнее было бы сказать, что первые стационары возникали своеобразным явочным порядком. Так, «очаги приюта тяжелых больных» появились стихийно в ряде домовых контор, куда обычно ходили за кипятком: «Поставили койки, загородили ширмы»[1]. На заводе им. А. А. Жданова наиболее ослабевших работников помещали в изолятор, где-то создавали «пункты первой помощи» — некое подобие стационара на 10—15 коек — на основе наиболее крупных санитарных постов. Дать «усиленное» питание здесь не могли из-за отсутствия средств, но получить кипяток и оказаться в более теплой комнате для истощенных горожан, лишенных ухода, тоже значило немало.

Все это, однако, было способно решить проблему лишь в малой степени. Предпринимались попытки устроить «стационары» в квартирах: бойцы комсомольских и санитарно-бытовых отрядов разносили лежачим больным горячую пищу, топили печь полученными по ордерам дровами, убирали комнаты, помогали устроить детей в детдома. Это обязательно должно быть отмечено как пример благородства и стойкости ленинградцев, но и тут многого достичь не удалось. Отряды были малочисленными, увеличить их число не могли из-за нехватки пайков I категории, даваемых за выполнение особой тяжелой работы. Секретарь Октябрьского РК ВКП(б), посвятившая работе комсомольских

отрядов патетический очерк «В дни блокады», в стенограмме сообщения, не предназначенной для публикации, была куда более откровенной: «А что и мы-то могли сделать?! Помочь почти ничего не могли! Ну, пошлешь супцу, прикрепишь к столовой. Наши... работники истопят печь, выкупят и принесут хлеба. Такая помощь оказывалась, но ведь этого было мало!»[2]

Наиболее известный из городских стационаров находился в гостинице «Астория». Он был предназначен для элиты города — советской, хозяйственной, научной, художественной. Из рядовых посетителей там видели только стахановцев. Стационар для «ответственных работников» находился за чертой города в поселке Мельничий Ручей, где не только получали изысканные (даже по довоенным меркам) продукты, но и были защищены от бомбежек.

Стационары на предприятиях и в учреждениях были попроще. Всего здесь имелось 19 тысяч коек, хотя условия в каждом из них нередко сильно отличались. Создавались они в основном на крупных предприятиях и учреждениях с января 1942 года, когда появилась возможность дать наиболее обессиленным людям сверх того, что им полагалось по карточкам.

Никаких особых «диетических» рецептов здесь не предлагали. Люди, находившиеся в стационаре, обязаны были сдавать свои продовольственные талоны, но объемы выдачи им продуктов, в том числе и в виде блюд, были несколько выше «карточных». Из карточек полностью вырывали лишь талоны на хлеб, а талоны на мясо, жиры, крупу и сахар — только наполовину. Трудно сказать, отпускалось ли им в виде блюд все 100 процентов «карточных» продуктов. Проверить это было сложно, и нередко посетители жаловались на то, что их обкрадывали. «Давали масло, так просили, чтобы эти 10 гр масла давали кусочком на хлеб, а не клали бы в кашу, а то обворовывают» — вряд ли эта сцена, описанная А. Я. Тихоновым, была единичной — выслушивали обиды и в других стационарах[3].

Питались здесь три раза в день, но чем сытнее являлась еда, тем мучительнее становилось ожидание обеда или ужина. «Кормят очень отменно, но мало, и все ста-

ционарники между тремя своими приемами пищи корчатся от голода», — рассказывал А. Н. Болдырев в начале февраля 1942 года[4].

Питание в стационарах в январе и первой декаде февраля 1942 года являлось скудным, иногда в общий котел попадали и продукты, полученные по карточкам умерших здесь же блокадников, лежачих больных сюда старались не принимать. Здесь не лечили, а кормили, и впоследствии А. А. Кузнецов был вынужден признать, что «там без всякого врачебного осмотра дело поставлено было»[5]. Положение стало улучшаться со второй половины февраля 1942 года, и весной 1942 года могли даже без ущерба для себя откладывать продукты для родных. Как правило, горожане, отмечая «несытость» стационаров, признавали, что многие из них являлись чистыми и теплыми. Стационары, правда, могли внезапно и закрыться, если их переставали снабжать продуктами, — случалось это даже в апреле 1942 года.

Им выделяли, как правило, большие комнаты, даже учебные аудитории и бомбоубежища. Численность горожан, находящихся в стационарах, редко превышала 50 человек, причем нередко в одной комнате спали и мужчины, и женщины. Здесь находились обычно 10—15 дней, но, если требовалось, иногда продлевали срок пребывания либо направляли в них повторно. Учитывая быстроту организации стационаров и их массовость, неизбежной стала нехватка на первых порах самых необходимых для них предметов — от кроватей до посуды. Разумеется, речь идет, прежде всего, об обычных, «низовых» стационарах. В районных стационарах «для актива» условия могли и отличаться. «Там было тепло, был электрический свет, был он устроен вроде санатория: хорошие кровати, пуховые одеяла, на стенах картины, везде ковры... светло», — сообщала секретарь райкома партии З. В. Виноградова о стационаре Дзержинского района. Рассказала она и о тех, кто там кормился: «...большие группы писателей... районных работников, депутатов райсовета»[6]. Находились, впрочем, там и обычные ленинградцы из числа «нужных» людей, которых требовалось срочно поставить на ноги: преподаватели средних школ (намечалось открытие ново-

го учебного года), речники (от их усилия зависел успех летней навигации, поскольку ледовая трасса прекратила работать), врачи (опасались, что в городе, заполненном трупами, начнутся эпидемии). Вопрос о том, кого были призваны в первую очередь спасать стационары, весьма болезненный, его обычно обходят стороной. Об этом говорить неловко, но слишком много осталось от блокадного времени документов, где контингент «столующихся» в стационарах очерчен очень недвусмысленно. Не «ценным» работникам там места не предусматривалось[7].

Это не домысел. Говоря об открытии стационара на заводе № 224, заместитель его директора А. Т. Кедров отмечал, что «таким образом целая серия *особенно ценных людей* (курсив наш. — *С.Я.*) была спасена»[8]. В стационар завода помещались «лучшие люди», а на фабрике «Большевичка» — «наиболее ценные для фабрики товарищи», причем здесь «через стационар... прошла на 100 процентов наиболее квалифицированная рабочая сила». О том, что в стационар направлялись в первую очередь «старые производственники», то есть самые опытные кадры, сообщал и А. Я. Тихонов, а начальник отдела завода «Большевик» Л. А. Плоткин прямо говорил, что стационар на предприятии «был рассчитан для актива, для особо ценных, квалифицированных рабочих»[9]. Характерен спор, который произошел между председателем профсоюзного комитета одной из фабрик Р. И. Бушель и начальником фабуправления, обвинившим ее в том, что она «кого угодно... посылает в стационар». Р. И. Бушель ответила ему красноречивым жестом: «Я бросила тогда... книгу записей в стационар, чтобы он посмотрел, кого я посылаю»[10].

Конечно, всех поместить в стационар не могли и приходилось делать именно такой, сугубо прагматичный и, скажем прямо, жестокий выбор. В какой-то мере стационары стали средством перераспределения продуктов, которые должны были делить на всех, в пользу лишь нескольких групп, чей труд признавался или действительно являлся крайне важным для города. Другое дело, что это правило нередко нарушалось в силу разных причин, и не в последней степени из-за милосердия и со-

страдания людей, из-за стремления их помочь родным и друзьям. Сколько голодных, несчастных, истощенных блокадников жалостно просили, умоляли направить их в стационар — как им отказать? Да и столь ли безупречными являлись критерии полезности — здесь ведь нередко всё решалось, исходя из личных симпатий и пристрастий.

В конце апреля 1942 года стационары были закрыты. О причинах этого сообщалось глухо. Утверждалось, будто здесь отсутствовал «индивидуальный подход» и кормили всех одинаково, независимо от степени истощенности. Доля истины в этом есть, но нельзя не отметить одну особенность пришедших им на смену столовых «усиленного питания» — сокращение по сравнению со стационарами числа «столующихся». Но отметим не только это. Большинство иждивенцев, не работавших на предприятиях, не служивших в учреждениях, не считавшихся «элитой», — самые голодные люди, получавшие крохотные пайки, — и здесь так же, как и в стационарах, были часто оттеснены даже от тех мизерных благ, которыми одаривались другие блокадники.

Особую роль в спасении ленинградцев сыграли детские дома. До конца осени 1941 года в основном довольствовались теми детдомами, которые были открыты раньше. С организацией новых детдомов, как обычно бывало и в других случаях во время блокады, запаздывали, хотя признаки надвигающейся трагедии тогда обозначились весьма явно. Предпринятое в «смертное время» поспешное открытие новых детских приютов (за первые пять месяцев 1942 года их было создано 85[11]) помогло уберечь от смерти тысячи детей, но число спасенных могло оказаться бы и большим. Детским домам в январе 1942 года передавали иногда неприспособленные помещения, без кроватей, постельных принадлежностей, средств ухода, посуды, теплой одежды. Там было холодно, пеленки примерзали к кроватям.

Здание на улице Правды, отданное для детского дома, пришлось очищать от нечистот учащимся школы. Дети, поступившие в детдом, имели рваную, ветхую одежду, прокопченную, не снимавшуюся несколько месяцев. Тряпки, которыми они окутывали распухшие но-

ги, отдирались с трудом, вызывая сильную боль, — плач детей, впервые переступивших порог приюта, запомнился многим. Почти все дети были покрыты вшами. «Дети приводились грязные, вшивые, почти раздетые и истощенные до того, что жутко было брать ребенка на руки», — рассказывала Н. Г. Горбунова[12]. Несмотря на то, что сироты были предельно истощены, питание в детдоме на первых порах было скудным.

Читать о том, как детей находили рядом с трупами матерей в «выморочных» квартирах, тяжело даже тем, кто знаком с сотнями блокадных документов. «Дети.. в возрасте 2 и 3 лет находились без присмотра несколько суток... Этих детей нашли в кровати вместе с мертвой матерью. У матери были обсосаны щеки. Видимо, один из детей, грудник, искал пищу и сосал щеки матери», — сообщалось в одном из писем Ленинского РК РОКК[13]. И голодные дети обгладывали не только труп матери.: «4 детей... жутких, грязных сидело у котла. Мать арестовали за мясо. Дворники в квартиру со мной не хотели идти. Дети не хотели расстаться с наваренным мясом», — читаем мы в дневнике директора детского дома А. Н. Мироновой[14].

Дети разными путями попадали в детдом. Их приводили родственники и друзья умерших родителей, соседи, бойцы комсомольских бытовых отрядов и РОКК, сослуживцы, преподаватели школ, милиционеры, управхозы, наконец, просто сердобольные люди, откликавшиеся на горе несчастных сирот, поднимавшие замерзавших детей на улицах, делившиеся с ними куском хлеба. Дети приходили и сами, приводя с собой младших сестер и братьев, — услышав о том, что в детдомах тепло и там можно получить тарелку вкусного супа. Эту тарелку некоторым из них так и не удалось попробовать — они умирали по дороге, умирали в райсовете, куда их отдавали для передачи в приют, умирали в приемных детдомов. «Дети, присланные нам РОНО, иногда умирали прямо в канцелярии, во время оформления документов. Так, однажды доставили нам девочку, страшно худую. Начали записывать какие-то сведения о ней, а моя Лена (работница детдома. — *С. Я.*) говорит: “Зря пишем, она сейчас умрет”. И эта девочка действительно умерла минут через пятнадцать»[15].

Сдавали в детдом и беспризорных детей, которые были брошены своими родителями, не желавшими заботиться о них. «Бывали и такие случаи, когда нам сообщали, что мать ребенка живет на его счет, тогда мы забирали... детей к себе», — рассказывала воспитатель детдома М. К. Иванова[16]. Некоторых детей «родители прямо приносили и бросали у детского дома».

Поскольку городских детских домов в декабре 1941-го — январе 1942 года стало не хватать, часть приютов создавали на фабриках и заводах. Туда направлялись как дети погибших или заболевших рабочих самих предприятий, так и сироты, привезенные из других детдомов. Обычно в них находилось 50—70 человек. Средства на их содержание выделялись государственными учреждениями, расселяли, как правило, те городские приюты, где возникала угроза эпидемий, воспитанники спали по несколько человек в одной кровати, уход за «лежачими» был явно недостаточен. Создавались такие детские дома по инициативе райкомов ВКП(б), но при этом рассчитывали не только на партийную дисциплину, но и на милосердие людей. «РК партии вызвал все ведущие предприятия района и сказал, что есть детский дом... где много детей, которым нужно помочь. Кто из предприятий хочет взять на себя спасение этих детей? Директивных указаний по этому поводу не было, было только сказано, что положение детей плохое, что много круглых сирот... и предполагается... в порядке добровольном взять этих детей на воспитание», — вспоминала секретарь парткома фабрики М. Н. Абросимова. Отличие фабричного детдома от распределителя, где обессилевшие от голода дети не могли встать и «ходили под себя», впечатляло: «Для каждого ребенка была кроватка, одеяло... на кухне кухарка специально готовила для них обед из трех-четырех блюд... райздравотдел прикрепил к нам отдельного врача, сестру...»[17] Наверное, так было не везде, но сострадание людей, несших в детдом свою посуду, одежду, радовавшихся, когда дети выздоравливали, и стало тем, что придавало величие и недосягаемую высоту подвигу ленинградцев.

«Сидит на стуле безжизненно, как кукла. Только в запухших глазах слезинки», — описывала И. Д. Зеленская

девочку, приведенную в детдом после смерти матери[18]. Жить в детдоме среди чужих, часто одичавших детей, без матери, без уюта, без ласки, было тяжело. «В столовой вначале вели себя безобразно, выхватывали хлеб с подноса у воспитателей»[19] — а что могли сделать те, кто был слаб, кто не поспевал за другими, кто был приучен вести себя иначе? В декабре 1941-го — феврале 1942 года кормили здесь плохо. Иногда за счет детей питались и работники приютов. Страшным испытанием был холод. О том, как дети «жались у печки», сообщали многие очевидцы. «Все сидят у печки, грязные, злые. Никто не хочет ложиться спать... Все хотели остаться у печи... Дети спят в пальто и сапогах, не желая снять ничего», — отмечала в дневнике 27 декабря 1941 года А. Н. Миронова[20].

Муки детей пытались смягчить. Знаменитый отчет воспитательниц одного из детских домов, едва ли не полностью включенный А. А. Фадеевым в свою книгу и резко выделявшийся на фоне казенщины ее штампов, — свидетельство глубокого сострадания людей, переживавших за судьбу несчастных сирот, всеми силами стремившихся им помочь. Следили за теми детьми, кто был предельно истощен, подкармливали их, подбадривали теплым словом. «Ко мне очень по-доброму относилась заведующая библиотекой Александра Алексеевна, человек высокой культуры», — рассказывала воспитанница детского дома Рита Малкова[21], и отметим, сколь неожиданно кто-то находил здесь своего заступника — кухарку, уборщицу, посудомойку, — от которых перепадал иногда и кусок хлеба. В детдомах работали кружки, организовывались выставки рисунков, пытались увлечь чтением книг, сказок, и делали это интересно, ярко — но, скажем прямо, дети чаще говорили о еде. В «смертное время» это выявлялось с предельной обнаженностью. «Я устроилась в детский дом преподавать... Дети были голодны, им было не до занятий», — вспоминала А. М. Безобразова[22]. Никаких особенных развлечений им предложить не могли, отвлечь их внимание было нелегко, да и нечем.

Поместить в детский дом сирот, найденных рядом с трупом матери, не всегда было легко. М. Разина, нашед-

шая детей в одной из «выморочных» квартир при обходе своего домового участка, «два раза ходила в райсовет и всё без толку: нет мест в детских домах». Установили дежурство активистов, а когда через четыре дня места все-таки нашлись, «там еще пришлось ждать заведующую, иначе не принимают детей»[23]. Это не единичный случай. Сотрудники Ленинского РК РОКК обнаружили двух подростков 12—15 лет, которые прожили рядом с телом умершей в январе 1942 года матери две недели. И их не удалось сразу накормить и обогреть: «Председатель фабкома обещал подыскать временную опеку, определить детей в детский дом, но до сих пор дети находятся без присмотра, голодные, так как утеряли продовольственные карточки». Известен случай, когда «девочка украла сумку в магазине Военторга, чтобы ее определили в детский дом как преступницу. Она оказалась без родителей. Она проела все вещи, какие у нее были»[24]. Об этом горько говорить, но иногда родственники не хотели помогать детям, оказавшимся без родителей, старались вынести из «выморочных» квартир все ценное и даже забирали у сирот карточки, обрекая их на гибель. «Поражает меня дядя девочек... Он интересуется комодом дубовым... а девочек к себе не взял на эти две ночи (перед помещением в детдом. — *С.Я.*)»[25].

Согласно инструкциям, в детдомах нельзя было оставлять детей старше четырнадцати лет. Запрещалось также приводить их немытыми, в грязной одежде, без справки врача и «соответствующих документов»[26]. Ссылаясь на это, служащие гороно даже в начале января 1942 года отказывались направлять сирот и оставшихся без попечения родителей детей в приюты. Справедливости ради скажем, что этим возмущались и сами работники детских учреждений, — выбросить сирот на улицу они не могли, а держать их не имели права. Постановление Ленгорсовета 13 февраля 1942 года, обязавшее принимать в детдома всех детей, потерявших родных, было составлено в соответствии с практикой бюрократических регламентов — во исполнение постановления СНК СССР. Отметим, что оно было принято 23 января 1942 года. С конца декабря 1941 года в городе ежедневно умирали от голода сотни детей, но это не

повлияло на неторопливость и размеренность исполкомовских процедур. В том, что многих детей удалось спасти, заслуга не только властей, но и тысяч простых ленинградцев, искавших, находивших и опекавших сирот. Они не требовали за свой труд пайков и помогали, испытывая чувство сострадания к попавшим в беду людям, не способным выжить в одиночку.

Основную часть детских домов вывезли в тыл во время двух эвакуаций (зимней и летней) 1942 года. В первую очередь эвакуировались наиболее крепкие дети, а самых слабых оставили здесь «укрепляться», как выражались работники детдомов, блокадными продуктами и под непрерывными артобстрелами. Нашлись аргументы, казалось бы, логичные, но самые сцены отбора детей, разделенных на «жизнеспособных» и «безнадежных», иначе как аморальными назвать нельзя. «Жизнеспособность» проверяли «на глазок»: не спотыкается ли обессиленный ребенок, сумеет ли дойти от стенки до стенки... Одна из детдомовских девочек рассказывала, как воспитатели «для проверки, решив схитрить, послали меня за веником»[27]. Хитрить, конечно, приходилось, иначе догадавшийся обо всем ребенок, превозмогая себя, все же пройдет требуемое расстояние, чтобы не умереть так, как умерла его мать.

Оказать посильную помощь жителям города были призваны и медицинские учреждения Ленинграда: поликлиники, больницы и госпитали. Попасть в больницу и госпиталь в 1941—1942 годах удавалось не всем заболевшим. Чаще всего устраивали в них, пользуясь «связями», поддержкой тех, кто работал здесь или имел друзей среди врачей. Как правило, больницы предназначались для лечения, а не для подкармливания дистрофиков (на что часто ссылались при отказах), — но и этим нередко пренебрегали. На первых порах старались обязательно принимать сюда инфекционных больных, но потом (особенно в «смертное время») и для них не находилось места. Среди пациентов встречались и дети, которых «пристраивали» сюда родители с целью спасти их от голода. Чистки в лечебных стационарах обычно случались после усиления боевых действий на фронте, когда госпитали заполняли раненые красноармейцы.

Подбрасывать блокадников в больницы пытались любыми путями. «Один управхоз нашел способ устраивать людей в госпитали: он вытаскивал больных на улицу, звонил в госпиталь, что на улице найден гражданин в бессознательном состоянии, и бойцы санитарного звена относили его на носилках, — устроил 15 человек», — записывала в дневнике 14 февраля 1942 года Э. Г. Левина[28]. Вероятно, управхоз был движим не только альтруизмом: ему приходилось вывозить трупы умерших жильцов, а труд этот был тяжелым. Такой прием не мог, однако, действовать безотказно, и потому чаще подкидывали нуждающихся в помощи людей прямо к дверям больниц[29]. «Целых не берем», — ответила одна из санитарок тем, кто привел в больницу упавшего на снег человека[30]; требовались зримые доказательства, что он пострадал от обстрела. Приходилось хитрить — вот как медсестра и врач ремесленного училища пытались подкормить истощенных подростков: «Мы довозили до больницы на саночках мальчика и оставляли и из-за угла следили, когда возьмут»[31].

Участь таких пациентов была незавидной. Встречали их руганью, устраивали в коридорах (других мест в переполненных больницах не находилось), иногда отправляли домой пешком, оказав первую медицинскую помощь. Мотивы таких действий секретом не были. В случае кончины пациентов приходилось отвечать за повышение уровня смертности, некому было ухаживать за обреченными людьми, не на чем и некому было вывозить трупы. «Больницы были полны трупов. Пришлось нашим дружинницам помогать и в больницах выносить трупы, освобождать после трупов места для живых», — сообщала А. Д. Якунина, заметив при этом, что «больница представляла собой проходной морг»[32]. Л. Шапорина отметила в дневниковой записи 16—17 февраля 1942 года, что от двух трупов, лежащих в помещении клуба месяц, «несмотря на холод, смрад пошел по всей больнице»[33].

Легко и оправданно было сослаться на инструкции, на то, что нельзя обслужить всех, что нет лекарств и еды, — но жизнь поправляла многое, сострадание смягчало неумолимость отказа, брали сюда и дистрофи-

ков. «Что же... вы принесли к нам покойника?» — возмущалась дежурная сестра одной из больниц, когда туда М. Разина пыталась поместить подобранную на улице женщину. Так, «в долгих спорах», сопровождаемых криком медсестры («вы ответите за самоуправство, за безобразие»), подняли ее на третий этаж. У дежурной сестры, конечно, имелись веские возражения и ее можно было понять, но вот как закончился этот эпизод: «Наша больная пришла в себя, заплакала и стала целовать мне руки. Мы тоже заплакали, а дежурная сестра махнула рукой и ушла»[34].

Работа в госпиталях и больницах являлась очень тяжелой не только ввиду бытовых трудностей. Контуженные, испытавшие сильные боли, не оправившиеся от пережитых потрясений, последствий бомбежек и гибели родных люди, оказавшиеся здесь, отличались нервностью, обостренно воспринимали каждую мелочь, способны были в любой оплошности увидеть скрытый умысел. От врачей и сестер требовалось внимание к нуждам пациентов, но как исполнить их просьбы, если всего не хватало. «Как тяжело и обидно! Когда они лежат... тогда “сестренка” и “спасибо”, а чуть легче стало, как “костылем по голове”», — жаловалась в письме родным 23 ноября 1942 года Л. С. Левитан[35]. Больные при переводе в новое лечебное учреждение, как сообщал А. Коровин, «внезапно становились неузнаваемо капризными, требовательными», пришлось ему увидеть и «заплаканных девушек», отказавшихся их обслуживать[36].

Такие случаи были, но надо отметить и другое. Сколько раз в воспоминаниях, дневниках и письмах мы обнаруживаем рассказы о том, как искренне горевали врачи и сестры, не сумев спасти больных, с каким содроганием они говорили о их муках. Пациенты иногда подкармливали своим пайком голодных медсестер и ютившихся рядом их детей — и об этом необходимо упомянуть. Умирающие люди вели доверительные беседы с теми, кто ухаживал за ними, просили писать за них письма, рассказывали семейные истории. Не все становились здесь близкими друзьями, но человеческое неизбежно прорывалось через раздражение из-за тяжелых ведер и

замызганных полов, через перепалки с больными. Одна из женщин рассказывала о «пареньке», которого опекали в больнице. Вот эти люди, простые, бесхитростные в своих признаниях без патетики и прикрас: «Привезли его, он стоять не мог, его внесли... И когда он уходил, мы его нарядили. Одежки-то много всякой оставалось, мы все это перестирали, одели и... от нас ушел — ну просто же я не знаю, принц какой-то»[37].

Состояние больниц на рубеже 1941—1942 годов было плохим. Отсутствовал свет, не хватало топлива и керосина. Главной проблемой стало прекращение подачи воды. Ее нечем было согреть. Больных в холодной воде полностью мыть было нельзя, иногда неделями не проводилась санобработка. «Укладывали на доски, перекинутые через ванны... обмывали прохладной мыльной водой доступные для мочалки незабинтованные части. Раненые дрожали от холода и громко щелкали зубами», — вспоминал А. Коровин[38].

Отсутствие мыла старались восполнить щелочными средствами, которые оборачивали тряпками, но они сильно разъедали руки. Поскольку не хватало бинтов и марли, размачивали в растворах использованные гипсовые материалы, затем они простирывались. Не все нуждавшиеся имели костыли (особенно дефицитными стали детские костыли). Скудным был ассортимент медикаментов. В госпитале на Менделеевской линии раны приходилось коптить дымом. Не все были обеспечены теплой запасной одеждой, обувью, варежками, шерстяными носками[39]. В докладной записке военного отдела ГК ВКП(б) (март 1942 года) отмечалось, что в госпиталях «ухудшилось питание, прекратилась стирка и смена белья, бойцы не обмывались, появилась среди раненых и больных вшивость, упало санитарное состояние... (прекращение работы уборных, умывальников и т. д.)»[40]. А. Н. Болдырев в начале 1942 года видел в одном из госпиталей, считавшемся лучшим в городе, уборную, загаженную «в навал, холодную»[41].

Положение в госпиталях и больницах начало меняться со второй половины весны 1942 года. Связано это было во многом с улучшением питания в городе и ремонтом водопроводов, использованием деревян-

ных заборов и домов в качестве дров для отопления больниц и госпиталей, а также с эвакуацией в тыл тяжелобольных, которых не могли вывезти из города до открытия ледовой трассы. Нельзя не отметить и шефскую помощь предприятий, школ и учреждений. Шефская работа имела свои спады и подъемы, обусловленные положением в городе, но даже и в «смертное время» она не прекращалась. Отдавали или шили теплую одежду для больных, собирали подарки, посуду (ее не хватало в больницах). Пациентам читали книги и газеты, помогали писать письма. Дети порой давали концерты[42]. Их часто видели в госпиталях в сентябре—октябре 1942 года. «Иногда нам дают несложную работу: скручивать бинты, делать тампоны. Один раз мыли посуду», — вспоминала школьница Г. К. Зимницкая[43]. К госпиталям весной 1942 года было «прикреплено» 351 городское предприятие. На них создавались бригады, которые помогали убирать палаты, стирать белье[44]; летом 1942 года обязали предприятия отдавать часть урожая с их огородов лечебным учреждениям. Конечно, при этом не могло не возникнуть трений, — как вспоминала директор фабрики «Светоч» А. П. Алексеева, «когда мы делили урожай, мы даже с госпиталем ссорились... хотели им дать поменьше картофеля»[45]. Это объяснимо, все были голодны и, наверное, делились с другими людьми порой неохотно, — но делились и отдавали продукты, хотя и не без колебаний. И несли из домов свою посуду и, будучи сами истощенными, мыли полы. Особо хочется отметить помощь прихожан и священнослужителей. Никто не принуждал их к оказанию шефской помощи, но и они, движимые чувством милосердия и сострадания, как могли пытались смягчить муки несчастных людей, пытавшихся выжить в больницах и госпиталях. Около ста полотенец, бинты, теплая одежда были собраны приходом Спасо-Преображенского собора и переданы в больницы и госпитали[46].

Помощь шефов была тем нужнее, что больные жили часто впроголодь. Одаривать их щедрыми госпитальными пайками не имелось возможностей, хотя они и рассчитывали на это. «Голодающих ни в какой стадии в больницы не принимают — кормить нечем», — сообщал

В. Кулябко[47]. Часть пациентов подкармливали родные из своих запасов: карточки у заболевших изымались, они переводились на трехразовое ежедневное котловое питание в столовых. Плохо пришлось тем, кто не имел такой поддержки. «Просит меня Христом-Богом прислать ему граммов 200 хлеба и густой каши», — сообщала А. Н. Боровикова об одном из рабочих, помещенных в больницу[48]. Здесь голод ощущался еще сильнее, было меньше возможностей как-то извернуться, приготовить домашние блюда из немыслимых суррогатов, что-то взять в долг. «На кой... мне порошки, мне жрать давай» — так иногда отвечали в больнице медсестрам[49]. Пациентам разрешалось взвешивать свою порцию на весах, но случалось, что и кипяток для них некому было подать. Побывавший в госпитале Л. А. Ходорков описал такую сцену: «Палата. Сестра принесла кипяток, на всех койках зашевелились. Сестра, мне... Сестра, мне. Давно не давали кипяток — дня три»[50].

Кормить больных стали сытнее с лета 1942 года, но «слабое питание» отмечалось и в это время. Л. В. Шапорина, лечившаяся в больнице в августе 1942 года, передавала в дневнике меню столовой в «сытый день»: «на завтрак — 200 гр. гречневой каши и чай, на обед — суп из зеленых листьев капусты с крупицами пшена, 220 гр. не очень густой рисовой каши с изюмом, а также неполный стакан киселя из урюка». Ужинала она 200 граммами жидкой «овсянки»[51]. А вот меню «генеральского» госпиталя в то же лето 1942 года: «водка, шпроты, сардины, сыр, крабы, масло — неограниченно, а затем шашлык на палочке с рисом и салатом»[52].

Для людей, не бывавших в генеральских столовых, посещение родных в госпиталях являлось нередко и способом подкормиться самим. Они несли сюда скудные дары, но рассчитывали, что перепадет что-то и им из больничных продуктовых наборов. «Я приходила к ней каждый день, не только потому, что я хотела ее видеть, но и потому, что она делилась со мной супом, который ей давали», — вспоминала о посещении матери в больнице Н. Е. Гаврилина[53]. Случалось, детей, особенно маленьких, приведенных родителями в больницу, угощали и другие больные, движимые состраданием.

Разговоры о хищениях в госпиталях и больницах были частыми в городе и для этого имелись основания. Работники здесь получали не только карточку I категории, но могли и получать еду, оставшуюся после умерших, еду, которую не успели «разверстать» между теми, кто только недавно прибыл на лечение и не был поставлен на учет. Для медицинских работников оформлялись пропуски в столовые как для больных, на кухне делали более жидкими каши и супы, не выдавали пациентам причитавшихся им дополнительных продуктов, о чем последние могли и не знать, — всё было... Отметим, сколь часто здесь кормили «концертантов», артистов, чтецов, лекторов, — откуда же взялись для этого продукты, если не из общего больничного котла.

Большинство врачей и медсестер, однако, не роскошествовали. Умирали от истощения и они. «Встаю в очередь, а впереди женщина как-то случайно говорит: "...у нас на работе все умирают, мало народу остается". А она, оказывается, санитарка из Максимилиановской больницы. А я думаю, там требуются люди, может, и меня возьмут... Пошла туда в отдел кадров и говорю, что пришла устраиваться к ним на работу, так как знаю, что у них не хватает людей. Меня оформили и взяли в больницу в качестве разнорабочей», — вспоминала Н. И. Быковская[54]. Многие врачи и медсестры поддерживали своих родных, нередко иждивенцев, да и не столь сильно в «смертное время» выдачи по рабочим карточкам превышали нормы служащих. «Кормили больных — протягивали ложку с кашей, и сами рот открывали», — вспоминала А. М. Безобразова[55]. Котловое питание в госпиталях в первый голодный месяц (ноябрь 1941 года) даже по рабочим карточкам являлось скудным: жидкий (то есть пустой) суп, каша-размазня, 50 граммов мяса и 400 граммов хлеба — главное достоинство такой карточки, ради чего и нанимались работать в больницы.

Плохим было и обслуживание в поликлиниках в конце 1941-го — первой половине 1942 года. Врачи работали в отапливаемых «буржуйками» помещениях, где иногда окна даже закладывались матрацами. «Поднимаюсь по темной лестнице. В регистратуре, в кабинетах холодно. Люди в халатах поверх пальто мне делают

огромное одолжение — пускают в туалет для служащих, где стоят соответствующие ведра», — вспоминала А. И. Воеводская[56]. Принимая больных, врачи не снимали пальто.

Многие из них опухали от голода, передвигались с трудом, обессилевали и не могли отвечать на вызовы больных, прикованных голодом к постелям. Врача иногда приходилось ожидать по 2—4 дня, и, понятно, исход болезни за это время мог стать летальным. В отчете о работе отдела здравоохранения Ленгорисполкома (1943 год) отмечалось, что положение поликлиник особенно ухудшилось в декабре 1941-го — марте 1942 года, а в январе—феврале 1942 года они «почти не оказывали квалифицированной медицинской помощи»[57]. Последняя чаще всего выявлялась в примитивных формах.

Ассортимент аптек в «смертное время» был скудным. Лекарства стоили обычно дороже, чем хлеб, и ленинградцы, в поисках пищи, чаще заглядывали в магазины, чем в аптеки, но всё, что было съедобным, оказалось выкупленным в октябре—ноябре 1941 года. Иногда в аптеках и около них находили трупы дистрофиков, надеявшихся, что лекарства дадут хоть какой-то шанс спастись от гибели. «В аптеке умирали двое мужчин и женщина, прося о помощи. Старик аптекарь беспомощно разводил руками», — отмечала в дневнике 16 января 1942 года М. С. Коноплева[58]. Аптеки закрывались не только из-за нехватки товаров. «Некоторые аптеки открыты, но за отсутствием воды и света рецепты не принимают», — сообщал В. А. Заветновский дочери 5 февраля 1942 года[59].

Провести необходимое обследование в промерзших комнатах, без лекарств, без анализов было трудно, средств, которые помогали бы смягчить боль, тоже не хватало. Одна из блокадниц рассказывала о матери, у которой из-за дистрофии выпадала кишка. Вправление ее было мучительным, от нестерпимых страданий мать кричала, ее дочь, ждавшая в коридоре, плакала, слыша стоны[60].

Поликлиники были переполнены: число людей, нуждавшихся в продлении бюллетеней, в «смертное

время» необычайно возросло. «Там такая свалка, такая ревущая, осаждающая толпа до ручки дошедших женщин, что не подступись», — писал в дневнике А. Н. Болдырев[61]. В поликлиники нередко приводили людей, подобранных на улице. Судьба многих из них была трагичной. Д. С. Лихачев, спросив врача о том, что будет с ними, получил прямой ответ: «Они умрут». Доставлять в больницы их было не на чем, и, как пояснил врач, кормить их там все равно нечем[62]. Их считали обреченными. Раздраженным, голодным врачам порою было не до них, требовалось прежде всего спасать живых. «На скамейке около лестницы лежит умирающий или труп. Он доплелся сюда и дальше не может, и к нему никто не подходит, бесполезно», —рассказывала А. И. Воеводская[63]. О том же говорилось и в дневнике М. С. Коноплевой, причем описанная ею сцена относится к концу мая 1942 года, когда за работой врачей власти стали следить пристальнее: «Сегодня на скамейке в коридоре поликлиники лежала и беспрерывно стонала женщина с типичным для дистрофиков лицом — обтянутый... кожей... костяк, потухшие глаза, отечная нижняя часть лица. Женщина, по-видимому, теряла сознание, ее голова все время свешивалась, и она падала, но на это мало обращали внимание. Подошел врач, послушал сердце, послушал пульс, безнадежно махнул рукой, а санитарка сказала: "И зачем они тащатся сюда умирать — лежала бы дома". Кругом пришедшие к врачам больные пререкались и ссорились из-за очередей»[64].

Не лучшим, к сожалению, иногда было здесь отношение к детям и подросткам. Директор детского дома А. Н. Миронова, обнаружив в пустующей квартире двух девочек (отец их погиб на фронте, мать попала в больницу), привела одну из них, Лилю, в детскую поликлинику. Надолго она там не задержалась: «В 5 часов меня потрясла неожиданная встреча. По забору, шатаясь, идет Лиля — после меня дежурный врач сказал ей, что для нее нет места, а санитарка... выгнала Лилю на улицу». Никакие записки, которые писала А. Н. Миронова в райсовет, ей не помогли — девочка умерла через два дня[65].

Скорее всего, это было редкостью, да и во «взрослых» поликлиниках не каждый день лежали трупы в коридо-

рах. Но то, что врачи мало чем могли помочь, сомнению не подлежит. Однако, и эта помощь являлась ценной, когда люди оказывались на дне блокады. Конечно, и здесь, как и везде, какое-либо вознаграждение играло немалую роль — доставались припрятанные лекарства, осмотр проводился более внимательно. Осуждать никого нельзя — многие врачи кормили не только себя, но и других, не имевших источников пропитания, ждавших, что с ними чем-нибудь поделятся. А. Н. Болдырев, попросив сделать ему укол аскорбиновой кислоты, услышал, как врач в ответ «туманно говорил об антисанитарии и трудности сего в условиях поликлиники. — "Вот если бы частным образом"». Приступ негодования охватывает его, он не сдерживается в выражениях: «Грязные хищники! В поликлинике можно купить всё: любой диагноз, бюллетень освобождения от всех видов государственного принуждения, в том числе от военной службы»[66].

Так ли это было в действительности, сказать трудно. Возможно, здесь пересказываются распространенные слухи, в самом болдыревском дневнике, очень подробном, сведений об этом не найти. Врачи поликлиник, как и другие ленинградцы, испытали на себе все ужасы блокады. Кому-то было легче, кому-то труднее, но голодал почти каждый. Не они виновны в том, что не имелось лекарств, — где их взять? И как осуждать их раздражительность и безразличие — где еще можно увидеть такую бездну горя и как при этом оставаться добрым и мягким? Обслуживание в поликлиниках улучшилось с лета—осени 1942 года. Было запрещено ставить на всех бюллетенях единственный диагноз «дистрофия» — это мешало распознавать другие болезни, требовавшие незамедлительного лечения. Перестали видеть умерших в коридорах и на лестницах поликлиник, немного расширился ассортимент лекарств. Все это, разумеется, было мало похоже на идиллию, но ничто не достигается в одночасье.

Блокада была полностью снята в боях 14—27 января 1944 года во время Ленинградско-Новгородской операции. В стратегических планах на 1944 год она не являлась основной, но была важна тем, что могла стать предпосылкой для разгрома немецких войск, занимавших Белоруссию. Группа армий «Север» насчитывала в это время свыше 700 тысяч человек, имела глубоко эшелонированную оборону, причем наиболее укрепленным являлся участок дороги от Новгорода до Чудова. Главной задачей операции, стоявшей перед Волховским фонтом, было не «выдавливание» 18-й армии на заранее подготовленные позиции, а ее расчленение и ликвидация. Полностью выполнить этот план не удалось, но сама армия понесла тяжелые потери. Как вспоминал К. А. Мерецков, «операцию планировалось провести в три этапа. На первом, продолжительностью в шесть дней, надо было продвинуться на 25 километров и освободить Новгород с окрестностями. На втором этапе мы намеревались в течение четырех дней пройти еще 30 километров и дойти до восточного изгиба русла реки Луга. Третий этап (10 дней, 50 километров) завершал операцию: овладев городом Луга, мы должны были развернуть свои главные силы для действий в Юго-Западном направлении, на Псков и Остров, причем одну армию я собирался перебросить по Чудскому озеру для удара в сторону Тарту. Но этим дело

не исчерпывалось. Предусматривался еще четвертый этап наступления, глубиной в 35 километров, рассчитанный на непосредственную подготовку к освобождению прибалтийских республик. Всего на операцию нам отвели месяц»[1].

Наступление должно было проводиться силами трех фронтов — Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского. 14 января 1944 года начались атаки войск Ленинградского фронта с Ораниенбаумского плацдарма. 15 января немцы изгнаны с Пулковских высот, 19 января была взята Воронья гора — важный узел германской обороны. Одновременно 14 января начал операцию Волховский фронт. 19 января был взят Новгород — главная цель фронта на первом этапе сражения. 21 января была освобождена Мга, 24 января — Пушкин, Павловск и еще более сорока населенных пунктов, 26 января — Гатчина и Тосно. 27 января было завершено освобождение Ленинграда от блокады, противника отбросили от города по всему фронту на 65—100 километров. 29 января советские войска захватили Чудов, в конце января удалось вытеснить немцев из Шимска, Луги и пробиться к Приильменью.

Развитие событий под Ленинградом в январе 1944 года показало, правда, в меньших масштабах, тот сценарий краха группы армий, который столь ярко проявился в западной России в конце июня — начале июля 1944 года. Возможность переброски резервов от одной армии к другой была крайне затруднена вследствие ударов с двух сторон. После взятия Новгорода возникла угроза нарушения тыловых коммуникаций группировки фельдмаршала Г. фон Кюхлера, которая рисковала попасть в «котел». Задачей группы армий стал теперь переход на позиции, которые обеспечили бы долговременную оборону. Такими обычно бывают водные артерии, усиленные дотами, дзотами и защищенные несколькими линиями окопов, минными полями и противотанковыми рвами. Поскольку становившееся все более беспорядочным и неконтролируемым отступление группы армий, теснимой фронтами, начало напоминать картины Московской битвы, Гитлер сместил Г. фон Кюхлера с поста командующего группой армий «Север» и 31 ян-

варя назначил на него В. Моделя, считавшегося испытанным мастером обороны. Моделю удалось приостановить продвижение советских дивизий по линии Нарва — Псков — Остров. Примечательно, что ему пришлось заниматься тем же самым в Белоруссии после развала здесь германского фронта.

Снятие блокады не сразу сказалось на повседневной жизни Ленинграда. Весной 1944 года прекратились обстрелы города, но раны его залечивались долго и мучительно. Те, кто приехал из эвакуации и обладал зачастую более острым зрением, чем давно привыкшие к разрухе горожане, обнаруживали приметы войны всюду: неотремонтированные здания, кучи кирпича и щебня, рытвины и ямы, «запущенные» улицы, грязь на мостовых, трава на асфальте, грядки и огороды на центральных улицах, несмытые предупредительные надписи на стенах домов. Ремонт проводился в 1944 году чаще всего там, куда возвращались студенты и рабочие, вывезенные в 1941—1942 годах из Ленинграда, там, где высились здания, ставшие жемчужиной петербургской архитектуры.

Не были засыпаны и рвы, заблаговременно вырытые на Пискаревском кладбище. Миллион погибших, миллион эвакуированных, из которых далеко не все вернулись домой. Они были лишены ленинградской «прописки», не имели средств, чтобы вернуться обратно из далеких сибирских городов, либо прижились на новых местах и не хотели возвращаться туда, где пришлось пережить «смертное время», где погибли все их родные.

Эвакуация из города для многих из них стала не средством спасения, а крестным путем. Ехали ленинградцы не в плодородные долины, богатые хлебосольством. Ехали туда, где царила нищета, где люди тоже недоедали, где негде было жить и работать, где порой неприязненно встречали толпы непрошеных пришельцев. «Чем дальше от Ленинграда, тем меньше чувствуешь заботу о человеке», — горько заметит один из горожан, прибывший из «глубоких тылов»[2]. Не было сил заботиться обо всех в разоренной стране, видели дистрофиков и в не затронутых войной местностях, и не имелось там никаких лечебных стационаров.

Документы об эвакуации ленинградцев весной 1942 года после пересечения ими Ладоги читать тяжело. Бывали случаи, когда люди голодали, не получая хлеба несколько дней, каша из бочек из-за нехватки посуды выливалась прямо в снег и происходили сцены, которые трудно описывать. В одном из официальных отчетов отмечалось, что «...на месте погрузки эшелона на ст. Жихарево начальник эвакопункта понуждал грузиться в необорудованные вагоны, при этом заявляя, что если через полчаса не будет произведена погрузка, то эвакуированные будут выгнаны из общежитий», — и эти случаи не являлись единичными[3]. Истощенные люди, как вспоминал А. К. Соколов, «пытались съесть всё: хлеб, суп, кашу, концентраты в сухом виде, иногда тут же падали на пол. Их даже не пытались поднять. Упавший самостоятельно подняться не мог... Умершие валялись везде, на трупах сидели, ели, спали. А в это время прибывали новые машины с эвакуированными. В тесное помещение набивалась новая партия промерзших при переходе Ладоги людей. Некоторые из них не имели сил пробиться к раздаче пищи и тут же, сидя где-нибудь у стенки, умирали... На питательном пункте почти не прекращались ссоры, стычки, драки. Дерущихся не пытались разнять»[4]. Разумеется, такие сцены видели далеко не всегда и в основном в феврале 1942 года — но видели.

Город пришлось заселять заново, многие традиции культуры, быта и поведения ленинградцев оказались утраченными. Но у всех осталась боль блокады, испытанная и самими горожанами, и переданная другим рассказами родных и бесконечной чередой могил. Никуда боль не ушла и никогда не исчезнет, и рассказ о страданиях блокадников не будет бесстрастным — как и любой рассказ о людях, прошедших все круги ада и «претерпевших до конца».

ПРИМЕЧАНИЯ

Часть первая. ГОРОД

Глава первая. БЛОКАДА

[1] Гриф секретности снят. М., 1993. С. 168.

[2] Блокада Ленинграда в документах рассекреченных архивов. М.; СПб., 2004. С. 30.

[3] *Дзенискевич А. Р.* Блокада и политика: Оборона Ленинграда в политической конъюнктуре. СПб., 1998. С. 106.

[4] *Манштейн Э. фон.* Утерянные победы. Ростов н/Д., 1999. С. 299—300.

[5] См. подробнее: *Кольцов Ю. В.* Петергофский десант. СПб., 2010.

[6] *Манштейн Э. фон.* Указ. соч. С. 300.

[7] Там же. С. 303.

[8] Там же. С. 302—303.

Глава вторая. УЛИЦЫ

[1] *Янушевич З. В.* Случайные записки. СПб., 2007. С. 56. Здесь и далее приведены свидетельства ленинградцев — очевидцев блокады.

[2] Федор Михайлович Никитин: Актер, учитель, гражданин. СПб., 2010. С. 61.

[3] Битва за Ленинград: проблемы современных исследований. СПб., 2007. С. 145.

[4] *Сергеев В. П.* Воспоминания // Живая память: О боях за Родину и буднях тыла, о блокаде Ленинграда, о жизни в оккупации и плену вспоминают ветераны Сенного округа. СПб., 2010. С. 201.

[5] Фрагменты писем Николая Дмитриевича Синцова из Ленинграда родным: 1942—1943 гг. // Судьбы людей: «Ленинградское дело». С. 66.

[6] *Лихачев Д. С.* Воспоминания. СПб., 1997. С. 473.

[7] *Остроумова-Лебедева А. П.* Автобиографические записки. Т. 3. М., 1974. С. 307.

[8] *Ильин И.* От блокады до победы // Нева. 2005. № 5. С. 177; *Богданов И. А.* Ленинградская блокада от А до Я. СПб., 2010. С. 275.

[9] *Карасев А. В.* Ленинградцы в годы блокады. М., 1959. С. 144; *Тихонов Н.* Ленинград принимает бой. Л., 1943. С. 304; Федор Михайлович Никитин... С. 26.

[10] *Коровин А.* Записки военного хирурга // Ленинградский альманах. 1948. № 2. С. 408.

[11] *Богданов И. А.* Указ. соч. 276—277.

[12] *Болдырев А. Н.* Осадная запись. СПб., 1998. С. 199, 214.

[13] ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 72. Л. 44.

[14] Судьбы людей: «Ленинградское дело». С. 67.

[15] Ленинград в осаде. СПб., 1995. С. 147, 149, 150.

[16] *Карасев А. В.* Указ. соч. С. 194.

[17] *Чекризов В. Ф.* Дневник блокадного времени // Труды Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Вып. 8. СПб., 2004. С. 73.

[18] *Левина Э. Г.* Письма к другу // Ленинградцы в дни блокады... Л., 1947. С. 204; *Байков В.* Память блокадного подростка. Л., 1989. С. 69.

[19] *Чекризов В. Ф.* Указ. соч. С. 41, 48.

[20] *Иванов В. А.* Особенности реализации чрезвычайных мер по поддержанию в блокированном Ленинграде режима военного времени // Государство, право, война (1941—2005 гг.): К 60-летию Великой Победы. СПб., 2005. С. 470.

[21] *Гречина О.* Погибельная зима (1941—1942): Спасаюсь спасая // Нева. 1994. № 1. С. 272.

[22] *Коц Е. С.* Эпизоды, встречи, человеческие судьбы // Публичная библиотека в годы войны: 1941—1945: Дневники, воспоминания, письма, документы. СПб., 2005. С. 192; *Болдырев А. Н.* Указ. соч. С. 181; *Коровин А.* Указ. соч. С. 402.

[23] *Коровин А.* Указ. соч. С. 402.

[24] *Коц Е. С.* Эпизоды, встречи, человеческие судьбы // Публичная библиотека в годы войны... С. 192.

[25] Стенограмма сообщения Усова В. С.: НИА СПбИИ РАН. Ф. 332. Д. 131. Л. 38; *Саянов В.* Ленинградский дневник. Л., 1963; *Левина Э.* Письма к другу. С. 254.

[26] Дневник К. И. Сельцера. Цит. по: *Глезеров С.* От ненависти к примирению: Неизвестная война под Ленинградом. СПб., 2006. С. 43.

[27] Федор Михайлович Никитин... С. 25.

[28] *Воеводская А. И.* Четыре года жизни, четыре года молодости. СПб., 2005. С. 83.

[29] *Ежов М. В.* Деятельность Ленинградского городского совета депутатов трудящихся в период блокады города (1941—1944 гг.). Автореф. канд. дисс. Л., 1983. С. 11.

[30] *Богданов И. А.* Указ. соч. С. 69—70.

[31] *Болдырев А. Н.* Указ. соч. С. 198.

[32] Блокадный дневник В. Николаева —www.azaazaaza.ru/blokadnyi dnevnik volodya.

[33] *Налегатская А. В.* Воспоминания // 900 блокадных дней. Новосибирск, 2004. С. 188.

[34] *Чайко М. И.* Дневник // Труды Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Вып. 5. СПб., 2000. С. 116; *Чекризов В. Ф.* Указ. соч. С. 41; Воспоминания Марины Николаевны Фетинг о войне и блокаде Ленинграда // Испытание: Воспоминание настоятеля и прихожан Князь-Владимирского собора в Санкт-Петербурге о войне и блокаде Ленинграда. СПб., 2010. С. 125.

[35] *Нешитая (Чистякова) Н.* Повестка // Память: Письма о войне и блокаде. СПб., 1985. С. 128.

[36] *Ходорков Л. А.* Ленинград: Материалы блокадных записей: Рукописно-документальный фонд Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда (РДФГММОБЛ). Оп. 1р. Д. 140. Л. 7; *Байков В.* Указ. соч. С. 69; *Готхард С.* Ленинград: Блокада // Две судьбы в Великой Отечественной войне. СПб., 2006. С. 43.

[37] Там же. С. 32.

[38] *Ежов М. В.* Деятельность Ленинградского совета депутатов... С. 14; *Богданов И. А.* Указ. соч. С. 264; *Барбашина И. П., Кузнецов А. И., Морозов В. П., Харейков А. Д., Яковлев Б. Н.* Битва за Ленинград: 1941—1944. М., 1964. С. 215.

[39] *Чекризов В. Ф.* Указ. соч. С. 65—66; *Разина М.* Крепость на Васильевском острове // Подвиг Ленинграда. М., 1960. С. 139; *Богданов И. А.* Указ. соч. С. 264.

[40] Информация Куйбышевского РК ВЛКСМ 28 марта 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. К-S. Оп. 1. Д. 220. Л. 54.

[41] Блокадный дневник Н. П. Горшкова // Блокадные дневники и документы. СПб., 2004. С. 90.

[42] «...Сохрани мою печальную историю...»: Блокадный дневник Лены Мухиной. СПб., 2011. С. 338.

[43] Стенограмма сообщения Тихонова А. Я.: НИА СПбИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 123. Л. 31 об.

[44] *Шапорина Л. В.* Дневник: В 2 т. СПб., 2011. Т. 1. С. 316.

[45] *Левина В. Г.* Я помню: Заметки ленинградки: НИА СПбИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 154. Л. 120.

[46] *Саянов В.* Указ. соч. С. 190; см. также: *Чекризов В. Ф.* Указ. соч. С. 108; *Сергеев В. П.* Воспоминания // Живая память... С. 201; *Зеленская И.Д.* Дневник // «Я не сдамся до последнего...»: Записки из блокадного Ленинграда. СПб., 2010. С. 115.

[47] *Зеленская И.Д.* Дневник // «Я не сдамся до последнего...» С. 110.

[48] *Коровин А.* Указ. соч. С. 439—440.

[49] *Чекризов В. Ф.* Указ. соч. С. 126.

[50] Там же. С. 141.

[51] Судьбы людей: «Ленинградское дело». С. 67.

[52] *Зеленская И.Д.* Дневник // «Я не сдамся до последнего...» С. 129.

Глава третья. ДОМА

[1] РДФ ГММОБЛ. Оп. 1л. Д. 418.

[2] *Зеленская И.Д.* Дневник // «Я не сдамся до последнего...» С. 138.

[3] *Левина В. Г.* Я помню... Л. 122.

[4] *Болдырев А. Н.* Указ. соч. С. 155.

[5] *Зеленская И.Д.* Дневник // «Я не сдамся до последнего...» С. 64.

[6] *Нешитая (Чистякова) Н.* Повестка // Память... С. 128.

[7] ЦГАИПД СПб. Ф. К-118. Оп. 1. Д. 78. Л. 3.

[8] *Вотинцева В. Г.* 1941—42 год: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 3.

[9] *Машкова М. В.* Из блокадных записей // Публичная библиотека в годы войны... С. 14.

[10] ОР РНБ. Ф. 1273. Ф. 26. Л. 6.

[11] *Воеводская А. И.* Указ. соч. С. 100.

[12] *Ильин И.* Указ. соч. С. 178.

[13] Стенограмма сообщения Александрова М. Г.: НИА СПбИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 2. Л. 32.

[14] *Зеленская И.Д.* Дневник // «Я не сдамся до последнего...» С. 111.

[15] *Богданов И.А.* Указ. соч. С. 230.

[16] *Васютина Е.* Ради жизни на земле // Подвиг Ленинграда. М., 1960. С. 153.

[17] *Болдырев А. Н.* Указ. соч. С. 34.

[18] *Богданов И.А.* Указ. соч. С. 318—319.

[19] Цит. по: «Я не сдамся до последнего...» С. 151—152.

[20] *Никулин А. П.* Дневник: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 82. Л. 15.

[21] *Афанасьева А. Л.* О блокаде // Библиотекари осажденного Ленинграда: Сборник воспоминаний, дневников, писем, документов. СПб., 2002. С. 41.

[22] *Пантелеев А. И.* Приоткрытая дверь. Л., 1980. С. 360; *Афанасьева А. Л.* О блокаде // Библиотекари осажденного Ленинграда... С. 41.

[23] *Зеленская И. Д.* Дневник // «Я не сдамся до последнего...» С. 131.

[24] *Ковальчук В. М.* 900 дней блокады: Ленинград 1941—1944. СПб., 2005. С. 76; *Богданов И.А.* Указ. соч. С. 113.

[25] «Я не сдамся до последнего...» С. 152.

[26] *Шапорина Л. В.* Указ. соч. С. 298.

[27] *Адамович А., Гранин Д.* Блокадная книга. СПб., 1984. С. 159.
[28] *Жилинский И. И.* Блокадный дневник // Вопросы истории. 1996. № 8. С. 10.
[29] *Воеводская А. И.* Указ. соч. С. 105.
[30] *Худякова Н. Д.* За жизнь ленинградцев. Л., 1948. С. 62.
[31] *Саянов В.* Указ. соч. С. 188.
[32] *Карасев А. В.* Указ. соч. С. 261.
[33] Там же. С. 198.
[34] «Доживем ли мы до тишины?»: Записки из блокадного Ленинграда. СПб., 2009. С. 183.
[35] *Воеводская А. И.* Указ. соч. С. 98.
[36] Стенограмма сообщения Тихонова А. Я. Л. 30 об., 31.
[37] *Чекризов В. Ф.* Указ. соч. С. 54.
[38] Стенограмма сообщения Маругиной Ю. П.: НИА СПбИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 85. Л. 25.
[39] *Лазарев Д. Н.* Ленинград в блокаде // Труды Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Вып. 5. СПб., 2000. С. 198.
[40] *Карасев А. В.* Указ. соч. С. 137, 139.
[41] Федор Михайлович Никитин... С. 71.
[42] *Александрова Т.* Испытание // Ленинградцы в дни блокады: Сборник. Л., 1947. С. 187; *Друскин Л.* Спасенная книга. СПб., 2001. С. 126; *Петров В. П.* Записки блокадника. Рязань, 2002. С. 28; *Кротова В. Г.* Воспоминания // Живая память... С. 155; *Еремеев И. И.* Воспоминания // Там же. С. 120; *Иринархова И. И.* Воспоминания // Там же. С. 131; *Учитель Е.* Две встречи // Девятьсот дней. Л., 1962. С. 154; *Бахтин В.* Будни, ставшие подвигом // Голоса из блокады: Ленинградские писатели в осажденном городе (1941—1944). СПб., 1996. С. 33.
[43] *Васютина Е.* Ради жизни на земле // Подвиг Ленинграда. С. 153.
[44] *Трошин В. П.* Моя мама // Живая память... С. 74.
[45] *Багрова М. П.* Воспоминания // Там же. С. 89.
[46] *Петров В. П.* Записки блокадника. С. 22.
[47] *Степашин С. В.* Партийное руководство противопожарными формированиями Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. (1939—1944 гг.). Автореф. канд. дисс. Л., 1986. С. 16.
[48] *Моргунова Е. Я.* Воспоминания // Живая память... С. 166; *Болдырев А. Н.* Указ. соч. С. 192.
[49] *Миронова А. Н.* Дневник: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 69. Л. 10.
[50] *Болдырев А. Н.* Указ. соч. С. 132.
[51] *Кондакова Е. А.* Воспоминания // 900 блокадных дней. С. 124.
[52] Стенограмма сообщения Тихонова А. Я. Л. 10 об.
[53] *Зеленская И. Д.* Дневник // «Я не сдамся до последнего...» С. 142.
[54] 900 героических дней. М.; Л., 1966. С. 396.
[55] *Говорова К. Е.* Воспоминания // Живая память... С. 101.
[56] *Карасев А. В.* Указ. соч. С. 137.
[57] *Зеленская И. Д.* Дневник // «Я не сдамся до последнего...» С. 122.
[58] Там же. С. 118.
[59] *Чекризов В. Ф.* Указ. соч. С. 102.

Глава четвертая. МАГАЗИНЫ

[1] *Васютина Е.* Ради жизни на земле // Подвиг Ленинграда. С. 148.
[2] *Шапорина Л. В.* Указ. соч. С. 289.
[3] Блокадный дневник Володи Николаева — www.azaazaaza.ru/blokadanyj-dnevnik-volodya.

[4] *Янушевич З. В.* Указ. соч. С. 62; Блокадный дневник А. И. Винокурова // Блокадные дневники и документы. С. 243.

[5] *Чекризов В. Ф.* Указ. соч. С. 58.

[6] Блокадный дневник Н. П. Горшкова // Блокадные дневники и документы. С. 74.

[7] *Жилинский И. И.* Блокадный дневник // Вопросы истории. 1996. № 7. С. 12.

[8] «...Сохрани мою печальную историю...» С. 60; Пелевин М. П. Повесть блокадных дней: ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 36. Л. 25.

[9] *Жилинский И. И.* Блокадный дневник // Вопросы истории. 1996. № 5—6. С. 14—15; *Крестинский А. А.* Дневник Харри Эзопа // Дети города-героя. Л., 1974. С. 296.

[10] *Янушевич З. В.* Указ. соч. С. 62.

[11] *Болдырев А. Н.* Указ. соч. С. 48.

[12] *Васютина Е.* Ради жизни на земле // Подвиг Ленинграда. С. 146.

[13] *Грязнов Ф. А.* Дневник // «Доживем ли мы до тишины?» С. 121.

[14] *Чекризов В. Ф.* Указ. соч. С. 34.

[15] *Чурсин В. Д.* «Сообщает 21-й о своей готовности» // Публичная библиотека в годы войны... С. 140.

[16] *Гинзбург Л.* Указ. соч. С. 634.

[17] *Левина Э. Г.* Дневник: 12 января 1942 — 23 июля 1944 // Человек в блокаде: Новые свидетельства. СПб., 2008. С. 154; *Жилинский И. И.* Блокадный дневник // Вопросы истории. 1996. № 5—6. С. 15, 21.

[18] *Лазарев Д. Н.* Ленинград в блокаде // Труды Государственного музея... С. 205.

[19] *Иванова Т. Г.* Блокада Ленинграда (Воспоминания) // Человек в блокаде: Новые свидетельства. СПб., 2008. С. 215.

[20] ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 36. Л. 26.

[21] *Садова М. А.* Библиотека в осажденном городе (1941—1942) // Публичная библиотека в годы войны... С. 172.

[22] *Гинзбург Л.* Указ соч. С. 637.

[23] *Готхарт С.* Ленинград: Блокада // Две судьбы в Великой Отечественной войне. СПб., 2006. С. 46.

[24] *Левина Э. Г.* Дневник: 12 января 1942 — 23 июля 1944 // Человек в блокаде... С. 147.

[25] *Жилинский И. И.* Блокадный дневник // Вопросы истории. 1996. № 5—6. С. 21.

[26] Стенограмма сообщения Марутиной Ю. П. ...Л. 16 об.

[27] Блокадный дневник А. И. Винокурова // Блокадные дневники и документы. С. 254.

[28] *Жилинский И. И.* Блокадный дневник // Вопросы истории. 1996. № 5—6. С. 27; № 7. С. 7; *Карасев А. В.* Указ. соч. С. 193.

[29] *Жилинский И. И.* Дневник // Вопросы истории. 1996. № 5—6. С. 21.

[30] *Васютина Е.* Ради жизни на земле // Подвиг Ленинграда. С. 154.

[31] *Болдырев А. Н.* Указ. соч. С. 28, 231.

[32] Семьдесят лет назад: Письма двух ленинградцев: 1941—1942. СПб., 2013. С. 32.

[33] Судьбы людей: «Ленинградское дело». СПб., 2009. С. 63.

[34] *Зимницкая Г. К.* Блокадные будни (Дневник ленинградской девочки) // Блокада глазами очевидцев: Дневники и воспоминания. СПб., 2012. С. 40; *Воеводская А. И.* Указ. соч. С. 89.

[35] «Доживем ли мы до тишины?» С. 154.

[36] А. В. Немилов — И. И. Абрамову 11 января 1942 г. // «Мы знаем,

что значит война...»: Воспоминания, письма, дневники универсантов разных лет. СПб., 2010. С. 561.

[37] *Болдырев А. Н.* Указ. соч. С. 121.

[38] Там же. С. 88; *Чекризов В. Ф.* Указ. соч. С. 96.

Глава пятая. СТОЛОВЫЕ

[1] *Чекризов В. Ф.* Указ. соч. С. 126.

[2] *Шапорина Л. В.* Указ. соч. С. 284.

[3] Там же.

[4] *Ковальчук В. М.* 900 дней блокады. С. 150.

[5] Ленинград в осаде. С. 235.

[6] Фрагменты писем Николая Дмитриевича Синцова из Ленинграда родным... // Судьбы людей: «Ленинградское дело». С. 64.

[7] *Кулябко В.* Блокадный дневник // Нева. 2004. № 2. С. 236.

[8] *Лазарев Д. Н.* Ленинград в блокаде // Труды Государственного музея... С. 196.

[9] *Грачев Ф. Ф.* Записки военного врача. Л., 1970. С. 63.

[10] *Шапорина Л. В.* Указ. соч. С. 301.

[11] *Чекризов В. Ф.* Указ. соч. С. 84.

[12] *Зеленская И.Д.* Дневник // «Я не сдамся до последнего...» С. 50.

[13] Там же. С. 50, 61.

[14] Стенограмма сообщения Чистякова А. И.: НИА СПбИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 138. Л. 5 об.

[15] *Пунин А. Л.* Мы помним бомбы ленинградской блокады // Краеведческие записки. Вып. 7. СПб., 2000. С. 278.

[16] *Кок Г. М.* Дневник: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 48. Л. 35; *Краков М. М.* Дневник: Там же. Д. 53. Л. 2.

[17] *Кулагин Г. А.* Дневник и память: О пережитом в годы блокады. Л., 1978. С. 152.

[18] *Болдырев А. Н.* Указ. соч. С. 121, 192.

[19] *Лихачев Д. С.* Указ. соч. С. 461.

[20] Стенограмма сообщения Григорьева А. М.: НИА СПбИИ РАН. Ф. 332. Оп. 10. Д. 32. Л. 10.

[21] *Ковальчук В. М.* 900 дней блокады. С. 91.

[22] ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 47. Д. 346. Л. 227—228. Благодарю К. А. Болдовского за указание на источник.

[23] *Даев В. Г.* С дистанции полувека: Очерки блокадного Ленинграда. СПб., 1998. С. 88.

[24] *Костина Е. В.* Воспоминания // Живая память... С. 151; *Литвин Е.Д.* «В тяжелые времена нет полутонов...» // Испытание... С. 118.

[25] *Ковальчук В. М.* 900 дней блокады. С. 91.

[26] *Болдырев А. Н.* Указ. соч. С. 55.

[27] *Чекризов В. Ф.* Указ. соч. С. 78.

[28] *Ковальчук В. М.* 900 дней блокады. С. 149.

[29] *Павлов Д. В.* Ленинград в блокаде. Л., 1985. С. 114.

[30] *Коноплева М. С.* В блокированном Ленинграде: ОР РНБ. Ф. 368. Д. 2. Л. 76.

[31] Ленинград в осаде. С. 240.

[32] *Карасев А. В.* Указ. соч. С. 238.

[33] *Зеленская И.Д.* Дневник // «Я не сдамся до последнего...» С. 119—120.

[34] *Чекризов В. Ф.* Указ. соч. С. 108.

[35] *Болдырев А. Н.* Указ. соч. С. 207.

[36] *Богданов И.А.* Указ. соч. С. 274.
[37] *Шапорина Л.В.* Указ. соч. С. 284.
[38] *Петров В.П.* Записки блокадника. С. 22.
[39] *Шапорина Л.В.* Указ. соч. С. 296.
[40] ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4464. Л. 15.
[41] *Соловьева О. П.* Воспоминания о пережитой блокаде юной защитницы города Ленинграда (1941—1945 годы): ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 25. Л. 8.
[42] *Грязнов А.А.* Дневник 1941—1942 гг. // Человек в блокаде... С. 20; см. также: *Рибковский Н.А.* Дневник. Цит. по: *Козлова Н.* Советские люди. М., 2005. С. 258; Академический архив в годы войны: Ленинград 1941—1942: Из дневников Г. А. Князева. СПб., 2005. С. 25.
[43] *Зеленская И.Д.* Дневник // «Я не сдамся до последнего...» С. 62.
[44] Там же. С. 38.
[45] *Меттер И.* Избранное. СПб., 1999. С. 117—118.
[46] *Быльев И.* Из дневника // Художники города-фронта: Воспоминания и дневники ленинградских художников. Л., 1973. С. 333.
[47] *Болдырев А.Н.* Указ. соч. С. 31.
[48] Федор Михайлович Никитин... С. 67.
[49] *Кедров А.Т.* Дневник: НИА СПбИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 59. Л. 120.
[50] Ленинград в осаде. С. 436.
[51] Жизнь и смерть в блокированном Ленинграде. СПб., 2001. С. 260.
[52] Протокол заседания бюро Ленинградского горкома ВКП(б) 10 апреля 1942 года: ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4464. Л. 11.
[53] ОР РНБ. Ф. 368. Д. 2. Л. 78—79.

Глава шестая. РЫНКИ

[1] Судьбы людей: «Ленинградское дело». С. 100; *Лазарев Д.Н.* Ленинград в блокаде // Труды Государственного музея... С. 198; Ленинград в осаде. С. 183; Воспоминания Марксэны Михайловны Никифоровой // Библиотекари осажденного Ленинграда... С. 83.
[2] РДФ ГММОБЛ. Оп. 1. Д. 41; НИА СПбИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 85. Л. 19.
[3] НИА СПбИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 85. Л. 19.
[4] Нева. 1999. № 1. С. 138.
[5] *Петров А.* Тетрадь в клеенчатой обложке // Нева. 1991. № 1. С. 217; *Коноплева М.С.* В блокированном Ленинграде... Д. 1. Л. 66; Д. 3. Л. 15.
[6] *Болдырев А.Н.* Указ. соч. С. 33, 35, 41, 266, 300, 315; *Шапорина Л.* Указ. соч. С. 394; Из дневника Галько Леонида Павловича // Оборона Ленинграда: 1941—1944: Воспоминания и дневники участников. Л., 1968. С. 517; *Пянкевич В.Л.* Рынок в осажденном Ленинграде // Жизнь и быт блокированного Ленинграда. СПб., 2010. С. 136—137.
[7] *Пянкевич В.Л.* Рынок в осажденном Ленинграде // Жизнь и быт блокированного Ленинграда. С. 136—139.
[8] Блокадный дневник А. И. Винокурова // Блокадные дневники и документы. С. 239.
[9] *Пантелеев А.И.* Указ. соч. С. 361.
[10] *Чекризов В. Ф.* Указ. соч. С. 50, 71; *Жилинский И. И.* Блокадный дневник // Вопросы истории. 1996. № 5—6. С. 8; *Даев В.Г.* Принципиальные ленинградцы: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 91; *Лазарев Д.Н.* Ленинград в блокаде // Труды Государственного музея... С. 198.
[11] *Даев В.Г.* Пинкевич, Зощенко и другие. СПб., 2000. С. 66.

[12] *Васютина Е.* Ради жизни на земле // Подвиг Ленинграда. С. 152.

[13] *Пантелеев А. И.* Указ. соч. С. 386; *Машкова М. В.* Из блокадных записей // Публичная библиотека в годы войны... С. 19.

[14] *Евдокимов А. Ф.* Дневник: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1р. Д. 30. Л. 92; *Болдырев А. Н.* Указ. соч. С. 227.

[15] Блокадный дневник Володи Николаева. Запись 18 января 1942 года —www.azaazaaza.ru/blokadanyj-dnevnik-volodya

[16] *Грязнов Ф. А.* Дневник // «Доживем ли мы до тишины?» С. 156.

[17] *Шапорина Л. В.* Указ. соч. С. 328; *Моргунова Е. И.* Воспоминания // Живая память... С. 165.

[18] *Лихачев Д. С.* Указ. соч. С. 466; Н. П. Заветновская — Т. В. Заветновской: 5 февраля 1942 года: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 32.

[19] *Кедров А. Т.* Дневник... Л. 100.

[20] Ленинград в осаде. С. 196.

[21] *Шапорина Л. В.* Указ. соч. С. 280.

[22] Блокадный дневник А. И. Винокурова // Блокадные дневники и документы. С. 240.

[23] Нева. 1999. № 1. С. 146.

[24] *Иринархова И. В.* Воспоминания // Живая память... С. 132.

[25] *Болдырев А. Н.* Указ. соч. С. 54.

[26] *Пантелеев А. И.* Указ. соч. С. 385.

[27] *Чекризов В. Ф.* Указ. соч. С. 54.

[28] *Болдырев А. Н.* Указ. соч. С. 139.

[29] *Чекризов В. Ф.* Указ. соч. С. 96, 100; *Фадеев А.* Ленинград в дни блокады: Из дневника. М., 1944. С. 124.

[30] *Пантелеев А. И.* Указ. соч. С. 390; *Жилинский И. И.* Блокадный дневник // Вопросы истории. 1996. № 5—6. С. 18.

[31] *Пянкевич В. Л.* Рынок в осажденном Ленинграде // Жизнь и быт блокированного Ленинграда. С. 143; *Стругацкий Н. З.* Дневник // *Скаландис А.* Братья Стругацкие. М., 2008. С. 34; *Ковальчук В. М.* 900 дней блокады. С. 74; Интервью с С. П. Сухоруковой // Нестор. 2003. № 6. С. 177.

Часть вторая. У ПОРОГА СМЕРТИ

Глава первая. ГОЛОД

[1] *Пантелеев А. И.* Указ. соч. С. 355.

[2] *Чернышева В. А.* Воспоминания // Живая память... С. 211.

[3] *Жилинский И. И.* Блокадный дневник // Вопросы истории. 1996. № 5—6. С. 15; Федор Михайлович Никитин... С. 62; *Самарин П. М.* Дневник: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1л. Д. 338. Л. 76, 90; Стенограмма сообщения Ефимова А. Е.: НИА СПбИИ РАН. Ф. 322. Оп. 1. Д. 46. Л. 16; «...Сохрани мою печальную историю...» С. 128.

[4] *Шапорина Л. В.* Указ. соч. С. 274.

[5] Там же. С. 298.

[6] Там же. С. 302.

[7] *Иринархова Е. И.* Воспоминания // Живая память... С. 131—132.

[8] Там же. С. 366.

[9] Там же. С. 375.

[10] *Болдырев А. Н.* Указ. соч. С. 73.

[11] Там же. С. 90, 136, 166, 250.

[12] *Зеленская И. Д.* Дневник // «Я не сдамся до последнего...» С. 119.

[13] Там же. С. 65.

[14] *Болдырев А. Н.* Указ. соч. С. 53; *Говорова К. Е.* Воспоминания // Живая память... С. 100.

[15] *Лепкович А.* Дневник: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 59. Л. 8; *Злотникова Б.* Дневник: Там же. Д. 40. Л. 3 об.; «...Сохрани мою печальную историю...» С. 128.

[16] *Коровин А.* Указ. соч. С. 426; *Говорова К. Е.* Воспоминания // Живая память... С. 100.

[17] *Готхард С.* Ленинград. Блокада // Две судьбы в Великой Отечественной войне. С. 36; *Воеводская А. И.* Указ. соч. С. 102; *Глазунов И. С.* Россия распятая: В 2 т.: В 4 кн. М., 2008. Т. 1. Кн. 2. С. 97.

[18] *Куликова Т.* Сын // Память: Письма о войне и блокаде. С. 339.

[19] Дневник Жени Козловой // Живая память... С. 50.

[20] *Комиссарова Е. И.* Записи // Там же. С. 144.

[21] *Инбер В.* Собрание сочинений: В 4 т. М., 1965—1966. Т. 3. С. 310.

[22] *Никулин А.* П. Дневник... Л. 28—29.

[23] *Глазунов И. С.* Указ. соч. С. 98.

[24] *Пантелеев А. И.* Указ. соч. С. 364.

[25] *Глазунов И. С.* Указ. соч. С. 98.

[26] *Друскин Я. С.* Дневники. СПб., 1999. С. 135.

[27] *Евдокимов А. Ф.* Дневник... Л. 82.

[28] *Лазарев Д. Н.* Ленинград в блокаде // Труды Государственного музея... С. 198.

[29] *Левина Э. Г.* Письма к другу. С. 208.

[30] *Машкова М. В.* Из блокадных записей // Публичная библиотека в годы войны... С. 25.

[31] *Коровин А.* Указ. соч. С. 411—412.

[32] *Лазарев Д. Н.* Ленинград в блокаде // Труды Государственного музея... С. 201.

[33] *Бианки В.* Лихолетье. СПб., 2005. С. 174.

[34] *Левина В. Г.* Я помню... Л. 113.

[35] *Хивилицкая М. И.* Симптоматология // Алиментарная дистрофия в блокированном Ленинграде. Л., 1947. С. 164.

[36] *Зеленская И. Д.* Дневник // «Я не сдамся до последнего...» С. 63—64.

[37] *Чекризов В. Ф.* Указ. соч. С. 142.

[38] *Кок Г. М.* Дневник... Д. 82. Л. 26.

[39] *Осипова Н. П.* Дневник: НИА СПбИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 93. Л. 14—15.

[40] *Байков В.* Указ. соч. С. 88.

[41] *Гречина О.* Указ. соч. С. 247.

[42] *Адамович А., Гранин Д.* Указ. соч. С. 46.

[43] *Глинка В. М.* Блокада // Звезда. 2005. № 1. С. 179.

[44] *Кабытова В.* Об одной ленинградской блокадной семье // Нева. 2005. № 10. С. 253.

[45] *Горбунова Н. Г.* Дневник: НИА СПбИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 30. Л. 6 об.; Стенограмма сообщения Ивановой М. К.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 10. Д. 350. Л. 4 об.

[46] *Раскин Л.* Дети великого города // Звезда. 1944. № 5—6. С. 70; *Нелидова А. Д.* Воспоминания // Живая память... С. 174.

[47] *Чекризов В. Ф.* Указ. соч. С. 45.

[48] *Левина В. Г.* Я помню... С. 112.

[49] *Пантелеев А. И.* Указ. соч. С. 404, 418—419.

[50] *Чекризов В. Ф.* Указ. соч. С. 107; *Коровин А.* Указ. соч. С. 426.

[51] *Никулин А. П.* Дневник... Л. 32.

[52] *Воеводская А. И.* Указ. соч. С. 102.

[53] *Машкова М. В.* Из блокадных записей // Публичная библиотека в годы войны... С. 18; Стенограмма сообщения Бернштейна Б. Л.: НИА СПбИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 13. Л. 12 об.; *Чекризов В. Ф.* Указ. соч. С. 61; *Петерсон В.* Дневник: ЦГИА СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 86. Л. 7 об.—8; *Комиссарова Е. И.* Воспоминания // Живая память... С. 146.

[54] *Болдырев А. Н.* Указ. соч. С. 146.

[55] *Пелевин М. П.* Повесть блокадных лет... Л. 26.

[56] *Гинзбург Л.* Указ. соч. С. 639.

Глава вторая. БОМБЫ

[1] *Карасев А. В.* Указ. соч. С. 147.

[2] Там же. С. 149, 150.

[3] Ленинград в осаде. С. 408.

[4] *Даев В. Г.* С дистанции полувека... С. 67.

[5] Выступление Е. С. Лагуткина на встрече в Государственном музее истории Ленинграда цит. по: Там же. С. 65.

[6] *Болдырев А. Н.* Указ. соч. С. 306.

[7] *Коноплева М. С.* В блокированном Ленинграде... Д. 1. Л. 107.

[8] *Карасев А. В.* Указ. соч. С. 151, 295. Данные, приведенные А. В. Карасевым, отличаются от тех, которые содержатся в справке отдела разведки штаба Ленинградской армии ПВО, составленной 3 марта 1945 года. Согласно ей, с сентября 1941 года по октябрь 1943-го было совершено 258 налетов авиации на город, в результате погибли 2926 человек, 10 554 человека были ранены (Ленинград в осаде. С. 407).

[9] Там же. С. 295.

[10] *Васютина Е.* Ради жизни на земле // Подвиг Ленинграда. С. 148—149.

[11] *Янушевич З. В.* Указ. соч. С. 60.

[12] *Бианки В.* Указ. соч. С. 182.

[13] Ленинград в осаде. С. 387.

[14] *Болдырев А. Н.* Указ. соч. С. 305.

[15] Ленинград в осаде. С. 399—405.

[16] *Чекризов В. Ф.* Указ. соч. С. 155; *Богданов И. А.* Указ. соч. С. 102—103.

[17] *Карасев А. В.* Указ. соч. С. 266, 268, 295. Отметим, что в статистике потерь, приведенной в книге А. В. Карасева, есть некоторые несовпадения общего числа погибших и их отдельных групп.

[18] *Янушевич З. В.* Указ. соч. С. 55; см. также: *Кулябко В.* Блокадный дневник // Нева. 2004. № 2. С. 238; *Зимницкая Г. К.* Блокадные будни (Дневник ленинградской девочки) // Блокада глазами очевидцев... С. 38.

[19] *Булах Т.* Первые дни блокады: Страницы дневника // Нева. 1992. № 1. С. 257.

[20] *Карасев А. В.* Указ. соч. С. 158; Федор Михайлович Никитин... С. 30.

[21] *Бианки В.* Указ. соч. С. 167.

[22] ЛФЭИ: История Ленинградского финансово-экономического института им. Н. А. Вознесенского. Л., 1989. С. 67.

[23] *Бианки В.* Указ. соч. С. 168.

[24] Федор Михайлович Никитин... С. 30.

[25] *Васютина Е.* Ради жизни на земле // Подвиг Ленинграда. С. 144.

[26] *Бианки В.* Указ. соч. С. 165; *Трошин В. П.* Моя мама // Живая память... С. 74; *Быковская Н. И.* Воспоминания // Там же. С. 94.

[27] *Болдырев А. Н.* Указ. соч. С. 312.

[28] *Кудояров Б.* Лицо блокады. СПб., 2006. С. 36.

[29] *Вавилов С. И.* Дневники: В 2 кн. М., 2012. Кн. 2. С. 210.

[30] Ленинград в осаде. С. 378; *Лагуткин Е. С.* Воспоминания // Оборона Ленинграда: 1941–1944... С. 393; *Люблинский В. С.* Блокадные дневники, воспоминания, стихи, письма // В память ушедших и во славу живущих: Письма читателей с фронта: Дневники и воспоминания сотрудников Публичной библиотеки. СПб., 1995. С. 162.

[31] *Вальтер Т. К., Пето О. Р.* Записи выездов «скорой помощи»: ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 52/1. Л. 13; *Инбер В.* Собрание сочинений. Т. 3. С. 292; *Ильин И.* Указ. соч. С. 177.

[32] *Карасев А. В.* Указ. соч. С. 144, 159.

[33] *Кавецкая-Глейзерова З. В.* В госпитале // Без антракта: Актеры города Ленина в годы блокады. Л., 1970. С. 168.

[34] *Еремеев И. И.* Воспоминания // Живая память... С. 120.

[35] Дневник Жени Козловой // Живая память... С. 53.

[36] *Гуменюк Е. В.* Воспоминания // Живая память... С. 111.

[37] *Болдырев А. Н.* Указ. соч. С. 200.

[38] Дневник Жени Козловой // Живая память... С. 44—45.

[39] *Болдырев А. Н.* Указ. соч. С. 306, 312.

[40] *Чекризов В. Ф.* Указ. соч. С. 29; *Остроумова-Лебедева А. П.* Указ. соч. С. 285; *Буллах Т.* Первые дни блокады: Страницы дневника // Нева. 1992. № 1. С. 258.

[41] *Мухина С.Д.* Воспоминания // Живая память... С. 170.

[42] *Вальтер Т. К., Пето О. Р.* Записи выездов «скорой помощи»... Л. 9, 12.

[43] *Булах Т.* Первые дни блокады: Страницы дневника // Нева. 1992. № 1. С. 257.

[44] *Голлербах Э.* Из дневника 1941 года // Голоса из блокады... С. 176.

[45] *Комиссарова Е. И.* Записи // Живая память... С 146; *Шапорина Л. В.* Указ. соч. С. 314; *Фролов Н. В.* 1—3 февраля 1942 года // Краеведческие записки: Исследования и материалы. Вып. 7. СПб., 2000. С. 309; *Кулябко В.* Блокадный дневник // Нева. 2004. № 2. С. 235; *Волкова А.* Первый бытовой отряд // Ленинградцы в дни блокады... С. 180; *Иванов В.А.* Особенности реализации чрезвычайных мер... С. 469.

[46] *Богданов И. А.* Указ. соч. С. 197.

[47] *Левина Э.* Письма к другу. С. 201.

[48] Интервью с Е. И. Образцовой // Человек в блокаде... С. 238; *Чекризов В. Ф.* Указ. соч. С. 159.

[49] *Васютина Е.* Ради жизни на земле // Подвиг Ленинграда. С. 151.

[50] Ленинград в осаде. С. 135.

[51] *Буллах Т.* Первые дни блокады: Страницы дневника // Нева. 1992. № 1. С. 261.

[52] *Богданов И. А.* Указ. соч. С. 196.

[53] А. И. Кочетова — матери: 24 декабря 1942 года: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1к. Д. 5; *Васютина Е.* Ради жизни на земле // Подвиг Ленинграда. С. 145; *Остроумова-Лебедева А. П.* Указ. соч. С. 259.

[54] *Голлербах Э.* Из дневника 1941 года // Голоса из блокады... С. 176.

[55] *Ползикова-Рубец К.* Они учились в Ленинграде. С. 34; Александрова Л. М. Воспоминания // 900 блокадных дней. С. 12; *Васютина Е.* Ради жизни на земле // Подвиг Ленинграда. С. 144; *Шварц Е.* Живу беспокойно...: Из дневников. Л., 1990. С. 617; *Шапорина Л. В.* Указ. соч. С. 254; *Бианки В.* Указ. соч. С. 113.

[56] Федор Михайлович Никитин... С. 75; *Грачев Ф. Ф.* Указ. соч. С 56; *Алексеев А. С.* Воспоминания // 900 блокадных дней. С. 23; *Асафь-*

ев Б. Моя творческая работа в Ленинграде в первые годы Великой Отечественной войны // Советская музыка. 1946. № 10. С. 91; *Смирнова (Искандер) А. В.* Дни испытаний // Без антракта... С. 194; *Друскин Л.* Спасенная книга: СПб., 2001. С. 129; *Чурсин В. Д.* «Сообщает 21-й о своей готовности...» // Публичная библиотека в годы войны... С. 144.

Глава третья. ПРЕСТУПНОСТЬ

[1] Ленинград в осаде. С. 419.

[2] Там же.

[3] *Жилинский И. И.* Блокадный дневник // Вопросы истории. 1996. № 5—6. С. 11; Блокадный дневник А. И. Винокурова // Блокадные дневники и документы. С. 244.

[4] Блокадный дневник Н. П. Горшкова // Блокадные дневники и документы. С. 62; *Разумовский Л.* Дети блокады. С. 40; *Шапорина Л. В.* Указ. соч. С. 378.

[5] Стенограмма сообщения Скворцова М. И.: НИА СПбИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 110. Л. 12.

[6] ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 20. Л. 10—10 об.

[7] *Иванов В. А.* Особенности реализации чрезвычайных мер... С. 451—452.

[8] Ленинград в осаде. С. 418.

[9] Стенограмма сообщения Короткова В. В.: НИА СПбИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 69. Л. 21.

[10] ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 87.

[11] *Вальтер Т. К., Пето О. Р.* Записи выездов «скорой помощи»... Л. 20; *Инбер В.* Собрание сочинений. Т. 3. С. 173; *Кочетов В.* Улицы и траншеи: Записки военных лет. М., 1984. С. 190. См. также: Стенограмма сообщения Скворцова М. И. ...Л. 10 об.

[12] *Иванов В. А.* Особенности реализации чрезвычайных мер... С. 478—479.

[13] *Фадеев А. А.* Ленинград в дни блокады // *Фадеев А. А.* Собрание сочинений: В 7 т. М., 1970. Т. 4. С. 140.

[14] *Фролов Н. В.* 1—3 февраля 1942 года // Краеведческие записки... С. 318.

[15] Выдержка из доклада СД об обстановке весной 1942 года // Звезда. 2005. № 9. С. 183.

[16] *Грязнов Ф. А.* Дневник // «Доживем ли мы до тишины?» С. 130; *Грязнов А. А.* Дневник. С. 55; *Шапорина Л. В.* Указ. соч. С. 289.

[17] *Якушев В. И.* Из воспоминаний о жизни в блокадном Ленинграде // Краеведческие записки. Вып. 7. С. 46; *Зеленская И. Д.* Дневник // «Я не сдамся до последнего...» С. 46.

[18] *Лившиц З.* С. Дневник // Будни подвига: Блокадная жизнь ленинградцев в дневниках, рисунках, документах. СПб., 2007. С. 154; Стенограмма сообщения Короткова В. В. Л. 15.

[19] Стенограмма сообщения Грушко Е. С.: НИА СПбИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 34. Л. 9; *Левина Э. Г.* Я вспоминаю... Л. 91.

[20] Стенограмма сообщения Грушко Е. С. Л. 10—11.

[21] Ленинград в осаде. С. 440—441.

[22] Стенограмма сообщения Грушко Е. С. Л. 9.

[23] Вопросы истории. 1996. № 7. С. 5; Будни подвига... С. 134.

[24] *Зеленская И. Д.* Дневник // «Я не сдамся до последнего...» С. 102.

[25] *Гинзбург Л.* Указ. соч. С. 182—183.

[26] Дневник Жени Козловой // Живая память... С. 44; *Иванов В. А.* Особенности реализации чрезвычайных мер... С. 474.

[27] *Бианки В.* Указ. соч. С. 167; *Шапорина Л. В.* Указ. соч. С. 378.

[28] *Ломагин Н. А.* Неизвестная блокада: В 2 т. СПб., 2002. Т. 2. С. 258, 264—265, 310, 322, 329.

[29] *Шапорина Л. В.* Указ. соч. С. 393.

[30] *Болдырев А. Н.* Указ. соч. С. 72.

[31] *Шапорина Л. В.* Указ. соч. С. 308.

[32] Ленинград в осаде. С. 422.

Глава четвертая. СМЕРТЬ

[1] *Глинка В. М.* Блокада // Звезда. 2005. № 1. С. 191; *Газиева Л. И.* Борьба за спасение детей в блокадном Ленинграде в 1941—1944 годы. Автореф. канд. дисс. СПб., 2011. С. 23; *Ковальчук В. М., Соболев Г. Л.* Ленинградский «реквием» (О жертвах населения в Ленинграде во время войны и блокады) // Вопросы истории. 1965. № 12. С. 191, 194.

[2] *Болдырев А. Н.* Указ. соч. С. 127.

[3] Ленинград в осаде. С. 350, 353, 354; *Скрябина Е. О.* Проблема материнства и детства в период блокады Ленинграда (1941—1944 годы) (Историко-медицинский аспект). Автореф. канд. дисс. СПб., 2008. С. 19, 22.

[4] Стенограмма сообщения Тяпкина М. А.: НИА СПбИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 129. Л. 13; *Бидлак Р.* Рабочие ленинградских заводов в первый год войны // Ленинградская эпопея. СПб., 1995. С. 183.

[5] Стенограмма сообщения Аршинцевой Л. М.: НИА СПбИИ РАН. Ф. 322. Оп. 1. Д. 4. Л. 4; *Лихачев Д. С.* Указ. соч. СПб., 1997. С. 477.

[6] *Даев В. Г.* Принципиальные ленинградцы... Л. 96; *Григорьев В. Г.* Ленинград: Блокада: 1941—1944. СПб., 2003. С. 37; *Бианки В.* Указ. соч. С. 180.

[7] *Ковальчук В. М.* 900 дней блокады. С. 151.

[8] Дневник Жени Козловой // Живая память... С. 53. О боях за родину и буднях тыла, о блокаде Ленинграда, о жизни в оккупации и плену вспоминают ветераны Сенного округа. СПб., 2010. С. 50.

[9] *Болдырев А. Н.* Указ. соч. С. 80.

[10] *Чайко М. И.* Дневник // Труды Государственного музея... С. 110.

[11] *Иринархова Е. И.* Воспоминания // Живая память... С. 132.

[12] *Рабинович М. Б.* Воспоминания долгой жизни. СПб., 1996. С. 187; *Чайко М. И.* Дневник // Труды Государственного музея... С. 115.

[13] *Соловьева О. П.* Воспоминания о пережитой блокаде... Л. 5.

[14] Дневник Жени Козловой // Живая память... С. 52.

[15] *Гельфер Г. А.* Дневник... Л. 11.

[16] *Бианки В.* Указ. соч. С. 170.

[17] *Болдырев А. Н.* Указ. соч. С. 43.

[18] Водоканал Ленинграда: 1941—1945: Водоснабжение и канализация Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. СПб., 1995. С. 234.

[19] *Пантелеев А. И.* Указ. соч. С. 468.

[20] *Ходорков Л. А.* Ленинград: Материалы блокадных записей... Л. 13.

[21] *Коровин А.* Указ. соч. С. 409.

[22] *Ильин И.* Указ. соч. С. 181.

[23] *Инбер В.* Собрание сочинений. Т. 3. С. 168.

[24] *Зеленская И. Д.* Дневник: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 35. Л. 43.

[25] *Воеводская А. И.* Указ. соч. С. 108.
[26] Дневник Миши Тихомирова. СПб., 2010. С. 10.
[27] *Заболоцкий Н. А.* Избранные сочинения. М., 1991. С. 420.
[28] *Иванов В. А.* Особенности реализации чрезвычайных мер... С. 475—476; *Адамович А., Гранин Д.* Указ. соч. С. 158.
[29] *Чекризов В. Ф.* Указ. соч. С. 80, 133.
[30] *Болдырев А. Н.* Указ. соч. С. 29.
[31] *Третьякова Л. Н.* Воспоминания // 900 блокадных дней. С. 256; *Жилинский И. И.* Блокадный дневник // Вопросы истории. 1996. № 5—6. С. 12.
[32] *Болдырев А. Н.* Указ. соч. С. 34.
[33] *Богданов И. А.* Указ. соч. С. 228, 352.
[34] *Великотная Т. К.* Дневник нашей печальной жизни в 1942 г. // Человек в блокаде... С. 95.
[35] *Болдырев А. Н.* Указ. соч. С. 269.
[36] *Рабинович М. Б.* Воспоминания долгой жизни. С. 205.
[37] *Лазарев Д. Н.* Ленинград в блокаде // Труды Государственного музея... С. 199—200.
[38] РДФ ГММОБЛ. Оп. 1л. Д. 418.
[39] Ленинград в осаде. С. 322, 327.
[40] Там же. С. 327, 330, 331.
[41] Там же. С. 321—339.

Часть третья. ЛЮДИ

Глава первая. ОБЛИК

[1] *Рончевская Л.* Воспоминания о блокаде Ленинграда: ОР РНБ. Ф. 1249. Д. 14. Л. 5 об.; О. Берггольц — Г. Макагоненко: 7 декабря 1941 года // Вспоминая Ольгу Берггольц. Л., 1979. С. 130.
[2] *Грачев Ф. Ф.* Указ. соч. С. 71.
[3] *Зеленская И. Д.* Дневник // «Я не сдамся до последнего...» С. 59; *Левина Э. Г.* Письма к другу. С. 204; *Болдырев А. Н.* Указ. соч. С. 193.
[4] *Коровин А.* Указ. соч. С. 409.
[5] Стенограмма сообщения Бушель Р. И.: НИА СПбИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 21; *Осипова И. П.* Дневник: Там же. Д. 93. Л. 22; *Коровин А.* Указ. соч. С. 427.
[6] *Шапорина Л. В.* Указ. соч. С. 275, 322.
[7] *Бианки В.* Указ. соч. С. 165.
[8] Стенограмма сообщения Бронниковой Е. Г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 10. Д. 350. Л. 19.
[9] Публичная библиотека в годы войны... С. 115; *Евдокимов А. Ф.* Дневник... Л. 72, 74; *Болдырев А. Н.* Указ. соч. С. 205.
[10] *Чекризов В. Ф.* Указ. соч. С. 36, 39; *Разина М.* Из записок дневника политорганизатора дома // Подвиг Ленинграда. С. 137; *Зимин И. В.* Из дневника блокадницы... // Битва за Ленинград: Проблемы современных исследований. С. 253; *Стругацкий Н. З.* Дневник // *Скаландис А.* Братья Стругацкие. С. 34; *Шапорина Л. В.* Указ. соч. С. 318.
[11] *Шапорина Л. В.* Указ. соч. С. 318; *Берггольц О.* Встреча. М., 2000. С. 239; *Боровикова А. Н.* Дневник: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 15. Л. 89; Воспоминания Травкиной Зои Сергеевны о блокадном Ленинграде: НИА СПбИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 149; *Жилинский И. И.* Блокадный дневник // Вопросы истории. 1996. № 5—6. С. 16.

[12] *Пантелеев А. И.* Указ. соч. С. 382; *Болдырев А. Н.* Указ. соч. С. 248; *Иринархова Е. И.* Воспоминания // Живая память... С. 132.

[13] *Бочавер М. А.* Это — было: ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 7. Л. 51—52; *Аскназий А. Д.* О детях в блокированном Ленинграде: Там же. Ф. 1273. Л. 13; Интервью с Е. И. Образцовой // Человек в блокаде... С. 247; *Коган Л. Р.* Дневник: ОР РНБ. Ф. 1035. Д. 1. Л. 1; *Солдатенков С. В.* В историческую комиссию Совета ветеранов ЛГУ // «Мы знаем, что значит война...» С. 283; *Соловьева О. П.* Воспоминания о пережитой блокаде... Л. 5; *Ахматова А.* Листки из дневника: Лозинский // Собрание сочинений: В 6 т. М., 1998—2002. Т. 5. С. 62.

[14] *Пантелеев А. И.* Указ. соч. С. 382; *Болдырев А. Н.* Указ. соч. С. 248; *Иринархова Е. И.* Воспоминания // Живая память... С. 132.

[15] *Горбунова Н. Г.* Дневник... Л. 7—7 об.

[16] Стенограмма сообщения Трофимова П. П.: НИА СПбИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 126. Л. 20; *Гаршин В.* В дни блокады // Звезда. 1945. № 7. С. 117—118; *Краков М. М.* Дневник: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 53. Л. 14; *Коноплева М. С.* В блокированном Ленинграде... Д. 2. Л. 76; *Гельфер Г. А.* Дневник... Л. 4.

[17] *Никулин А. П.* Дневник... Д. 24. Л. 4.

[18] *Саванин А. С.* Ленинградская городская контора Госбанка в годы войны // «Доживем ли мы до тишины?» С. 226; *Верт А.* Россия в войне: 1941—1945. М., 1963. С. 240; Стенограмма сообщения Милютиной Е. И.: НИА СПбИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 86. Л. 17; *Левина Э. Г.* Дневник: 12 января 1942 — 23 июля 1944 // Человек в блокаде... С. 159; Стенограмма сообщения Туркова И. М.: НИА СПбИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 128.

[19] *Саянов В.* Указ. соч. М., 1963. С. 114.

[20] *Гречина О.* Указ. соч. С. 249; *Лихачев Д. С.* Указ. соч. С. 473; Алиментарная дистрофия в блокированном Ленинграде. Л., 1947. С. 130; *Баженов Н. В.* О том, как они умирали... [Из записной книжки]: Отдел письменных источников Новгородского государственного объединенного музея-заповедника. Оп. 2. Д. 440; *Левина Э. Г.* Дневник: 12 января 1942 — 23 июля 1944 // Человек в блокаде... С. 172—173; *Пришвин М.* Дневники. М., 1990. С. 319; Вспоминая Ольгу Берггольц. С. 256; *Богданов И. А.* Указ. соч. С. 221; *Саянов В.* Указ. соч. С. 82; *Гуменюк Е. В.* Воспоминания // Живая память... С. 112.

[21] *Самарин П. М.* Дневник... Л. 59; *Воеводская А. И.* Указ. соч. С. 108; Стенограмма сообщения Абросимовой М. Н.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 10. Д. 307. Л. 40.

[22] *Коровин А.* Указ. соч. С. 400; *Болдырев А. Н.* Указ. соч. С. 209.

[23] *Самарин П. М.* Дневник... Л. 54; *Бочавер М. А.* Это — было... Л. 20; *Бродский И. А.* В дни блокады // Илья Яковлевич Билибин: Статьи, письма, воспоминания о художнике. Л., 1970. С. 282.

[24] *Кулагин Г. А.* Дневник и память... С. 185—186; *Бианки В.* Указ. соч. С. 182—183.

[25] *Чекризов В. Ф.* Указ. соч. С. 70, 74; *Кулагин Г. А.* Дневник и память... С. 186; В. С. Люблинский — А. Д. Люблинской: 6 мая 1942 года // Публичная библиотека в годы войны... С. 232; *Коган Л. Р.* Дневник... Л. 34 об.

[26] *Шапорина Л. В.* Указ. соч. С. 363; *Болдырев А. Н.* Указ. соч. С. 193.

[27] 900 героических дней. С. 297, 303; *Чекризов В. Ф.* Указ. соч. С. 80; Ленинград в осаде. С. 155.

[28] Стенограмма сообщения Тихонова А. Я. Л. 22 об., 24, 25.

[29] *Гладких П. Ф.* Здравоохранение и военная медицина в битве за Ленинград глазами историка и очевидца: 1941—1944 годы. СПб.,

2006. С. 93; *Капитонова В. М.* Дневник: НИА СПбИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 55. Л. 6; Стенограмма сообщения Якуниной А. Р.: НИА СПбИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 144. Л. 34; Стенограмма сообщения Соколова Г. Я.: Там же. Д. 17. Л. 4 об.; *Саванин А. С.* Ленинградская городская контора Госбанка в годы войны // «Доживем ли мы до тишины?» С. 223.

[30] *Зеленская И.Д.* Дневник // «Я не сдамся до последнего...» С. 55.

[31] *Чекризов В. Ф.* Указ. соч. С. 43.

[32] Стенограмма сообщения Тихонова А. Я. Л. 2 об.

[33] Стенограмма сообщения Тяпкина М. Я. Л. 17 об.

[34] *Ригина Т.Д.* Карельское студенческое братство // Откуда берется мужество. Петрозаводск, 2005. С. 38.

[35] *Берггольц О.* Встреча. С. 239.

Глава вторая. ЭВАКУАЦИЯ

[1] *Пантелеев А. И.* Указ. соч. С. 381; *Кросс Б. Б.* Воспоминания о Вове: История моей жизни. СПб., 2008. С. 46.

[2] *Карасев А. В.* Указ. соч. С. 186.

[3] *Воеводская А. И.* Указ. соч. С. 83.

[4] 900 героических дней. С. 372; Россия: Век двадцатый. СПб., 2011. С. 196.

[5] Ленинград в осаде. С. 274.

[6] *Капранов Б.* Дневник // Будни подвига... С. 45.

[7] Россия: Век двадцатый. С. 196.

[8] *Соловьева Э.* Судьба была — выжить // Нева. 2006. № 9. С. 218.

[9] *Чекризов В. Ф.* Указ. соч. С. 27.

[10] *Змитриченко А. О.* Воспоминания // 900 блокадных дней. С. 91.

[11] Стенограмма сообщения Маругиной Ю. П. ..Л. 12 об.

[12] *Карасев А. В.* Указ. соч. С. 133—134.

[13] *Ковальчук В. М.* 900 дней блокады. С. 140.

[14] Россия: Век двадцатый. С. 197—198.

[15] Там же. С. 192—193.

[16] Стенограмма сообщения Иванова А. П.: НИА СПбИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 79. Л. 38.

[17] *Коровин А.* Указ. соч. С. 409.

[18] *Шапорина Л. В.* Указ. соч. С. 292.

[19] Ленинград в осаде. С. 302.

[20] Там же.

[21] Стенограмма сообщения Тихонова А. Я. Л. 32 об.; *Смирновская А. М.* Мои воспоминания: 1941—1942 годы: ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 24. Л. 3.

[22] Откуда берется мужество. С. 74.

[23] *Ковальчук В. М.* 900 дней блокады. С. 163—164.

[24] *Карасев А. В.* Указ. соч. С. 286.

[25] *Ковальчук В. М.* 900 дней блокады. С. 164.

[26] *Газиева Л. И.* Борьба за спасение детей в блокадном Ленинграде в 1941—1943 годы. С. 20.

[27] *Миронова А. Н.* Дневник... Л. 25 об.; *Горбунова Н. Г.* Дневник... Л. 8.

[28] *Соколов А. М.* Эвакуация из Ленинграда. СПб., 2000. С. 99.

[29] Ленинград в осаде. С. 99.

[30] Ленинград в осаде. С. 288; Стенограмма сообщения Былинского В. П.: НИА СПбИИ РРАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 22. Л. 7 об.; *Магаева С.* Ленинградская блокада: психосоматические аспекты. М., 2001. С. 69.

[31] Россия: Век двадцатый. С. 190.

[32] Цит. по: *Пянкевич В. Л.* «Каждый такой листочек на стене был криком, воплем крайней беспомощности»: Частные объявления в блокадном Ленинграде // История России: экономика, политика, человек. СПб., 2011. С. 197.

[33] Ленинградцы в годы блокады. С. 201; *Черказьянова И. В.* Ленинградские немцы: Судьба военных поколений: 1941—1945. СПб., 2011. С. 68.

[34] *Черказьянова И. В.* Ленинградские немцы... С. 65.

[35] *Бондаренко А. П.* Воспоминания: Архив П. К. Бондаренко.

[36] Ленинград в осаде. С. 303.

[37] *Грязнов Ф. А.* Дневник // «Доживем ли мы до тишины?» С. 188; *Блатин А.* Вечный огонь Ленинграда: Записки журналиста. Л., 1976. С. 231—232. С. 188.

[38] *Чекризов В. Ф.* Указ. соч. С. 89.

[39] Ленинград в осаде. С. 288.

[40] *Грязнов Ф. А.* Дневник // «Доживем ли мы до тишины?» С. 188.

[41] Стенограмма сообщения Плоткина А. Л.: НИА СПбИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 102. Л. 7—8 об.

[42] Ленинград в осаде. С. 303; *Чекризов В. Ф.* Указ. соч. С. 66.

[43] *Кулябко В.* Блокадный дневник // Нева. 2004. № 3. С. 203; *Ильин И.* Указ. соч. С. 182.

[44] *Чепарухин А.* Как я эвакуировался из гор. Ленинграда до Раменского // Нева. 2004. № 8. С. 250.

[45] *Ильин И.* Указ. соч. С. 182.

[46] Ленинград в осаде. С. 302.

[47] *Глоцер В.* Марина Дурново: Мой муж Даниил Хармс. М., 2001. С. 129.

[48] *Шапорина Л. В.* Указ. соч. С. 310.

[49] *Грязнов Ф. А.* Дневник // «Доживем ли мы до тишины?» С. 188.

Глава третья. КАРТОЧКИ

[1] *Карасев А. В.* Указ. соч. С. 128.

[2] *Кислицын Н.* Ленинград не сдается. СПб., 1991. С. 118.

[3] Там же. С. 121.

[4] *Богданов И. А.* Указ. соч. С. 218.

[5] *Шапорина Л. В.* Указ. соч. С. 273, 296; *Карасев А. В.* Указ. соч. С. 135; Федор Михайлович Никитин... С. 73; *Болдырев А. Н.* Указ. соч. С. 40; *Чекризов В. Ф.* Указ. соч. С. 39; *Осипова Н. П.* Дневник... Л. 14; *Разина М.* Крепость на Васильевском острове // Подвиг Ленинграда. С. 126.

[6] *Шапорина Л. В.* Указ. соч. С. 296; Ленинград в осаде. С. 222; *Чекризов В. Ф.* Указ. соч. С. 43, 49.

[7] *Кедров А. Т.* Дневник... Л. 96; Стенограмма сообщения Тихонова А. Я. Л. 15 об.; *Гречина О.* Указ. соч. С. 261.

[8] *Машкова М. В.* Из блокадных записей // Публичная библиотека в годы войны... С. 38.

[9] *Комиссарова Е. И.* Записи // Живая память... С. 144; *Зимницкая Г. К.* Блокадные будни (Дневник ленинградской девочки) // Блокада глазами очевидцев... С. 40; *Осипова Н. П.* Дневник... Л. 14; *Петров В. П.* Записки блокадника. С. 19; *Самарин П. М.* Дневник... Л. 73; *Ленцман Е. П.* Воспоминания о войне: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 4; *Шапорина Л. В.* Указ. соч. С. 315; *Враская В. Б.* Воспоминания о быте гражданском в военное время: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 16.

[10] *Зеленская И. Д.* Дневник // «Я не сдамся до последнего...» С. 34; *Чекризов В. Ф.* Указ. соч. С. 52.

[11] Воспоминания Е. А. Соколовой о работе Института истории партии при Ленинградском ОК КПСС в годы Великой Отечественной войны: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 18. Д. 486. Л. 46; Академический архив в годы войны... С. 53; *Уманская А. С.* Дневник: ОР РНБ. Ф. 1273. Д. 72. Л. 34 об.; *Пиотровский Б. Б.* Страницы моей жизни. СПб., 1995. С. 192—193; *Пумпянский Л.* Эрмитаж. Стихотворения и поэмы: Письма к родным. Екатеринбург, 2009. С. 108.

[12] *Болдырев А. Н.* Указ. соч. С. 44.

[13] *Самарин П. М.* Дневник... Л. 89; *Гречина О.* Указ. соч. С. 257; Ленинград в осаде. С. 230; *Иванов В. А.* Особенности реализации чрезвычайных мер... С. 475.

[14] *Богданов И. А.* Указ. соч. С. 271; Блокадный дневник А. И. Винокурова // Блокадные дневники и документы. С. 243; *Самарин П. М.* Дневник... Л. 97; *Чурсин В. Д.* «Сообщает 21-й о своей готовности» // Публичная библиотека в годы войны.... С. 160; *Владимиров В.* Дневник: РДФ ГММОБЛ. Оп. 1л. Д. 385. Л. 4.

[15] Ленинград в осаде. С. 224—225; *Гинзбург Л.* Указ. соч. С. 725; *Павлов Д. В.* Указ. соч. С. 111—112; *Коноплева М. С.* В блокированном Ленинграде... Д. 2. Л. 90—91; *Амосова А. А.* Государственная и партийная деятельность П. С. Попкова: 1937—1950 годы. Автореф. канд. дисс. СПб., 2010. Л. 90.

[16] Ленинград в осаде. С. 225.

[17] *Шапорина Л. В.* Указ. соч. С. 301.

Глава четвертая. ЕДА

[1] *Бианки В.* Указ. соч. С. 180.

[2] *Карасев А. В.* Указ. соч. С. 130; «Я не сдамся до последнего...» С. 145.

[3] *Шапорина Л. В.* Указ. соч. С. 257.

[4] *Карасев А. В.* Указ. соч. С. 196.

[5] *Байков В.* Указ. соч. С. 39.

[6] Девятьсот дней. С. 264.

[7] *Грязнов Ф. А.* Дневник // «Доживем ли мы до тишины?» С. 72.

[8] *Шапорина Л. В.* Указ. соч. С. 281.

[9] Федор Михайлович Никитин... С. 61.

[10] *Чекризов В. Ф.* Указ. соч. С. 30.

[11] *Жилинский И. И.* Блокадный дневник // Вопросы истории. 1996. № 7. С. 13.

[12] Там же. С. 17.

[13] *Воеводская А. И.* Указ. соч. С. 111.

[14] *Чекризов В. Ф.* Указ. соч. С. 95.

[15] Там же. С. 103.

[16] Блокада глазами очевидцев (интервью А. А. Востровой) // Человек и война. СПб., 2003. С. 84.

[17] *Шулькин В.* Воспоминания баловня судьбы // Нева. 1999. № 1. С. 84.

[18] *Кучеров Л.* Жизнь продолжается // Подвиг Ленинграда. М., 1960. С. 351.

[19] *Болдырев А. Н.* Указ. соч. С. 34.

[20] Стенограмма сообщения Кускова А. А.: НИА СПбИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 76. Л. 11 об.

[21] Ленинград в осаде. С. 189.

[22] *Ходорков Л. А.* Ленинград: Материалы блокадных записей... Л. 24.

[23] *Зеленская И. Д.* Дневник // «Я не сдамся до последнего...» С. 102; *Карасев А. В.* Указ. соч. С. 246.

[24] *Чекризов В. Ф.* Указ. соч. С. 84.
[25] Там же. С. 103, 105, 108.
[26] *Зеленская И.Д.* Дневник // «Я не сдамся до последнего...» С. 120.
[27] *Остроумова-Лебедева А. П.* Указ. соч. С. 271, 276.
[28] *Милютина З. А.* Мы жили в блокаду...: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 9; *Кривободрова Е.* Великие уроки // Память: Письма о войне и блокаде. С. 347.
[29] *Никулин А. П.* Дневник... Д. 82. Л. 52.
[30] *Капица П. В.* В море погасли огни. М., 1974. С. 280; *Болдырев А. В.* Указ. соч. С. 245.
[31] *Чекризов В. Ф.* Указ. соч. С. 31.
[32] *Кетлинская В.* Испытание // Вспоминая Ольгу Берггольц. С. 119.
[33] *Мухина С.Д.* Воспоминания // Живая память... С. 171.
[34] *Иванов Вс.* Дневники. М., 2001. С. 208.
[35] Цит. по: *Пянкевич В. Л.* «Каждый такой листочек на стене был криком, воплем крайней беспомощности»... // История России: экономика, политика, человек. С. 202.
[36] *Болдырев А. В.* Указ. соч. С. 213.
[37] *Пянкевич В. Л.* «Каждый такой листочек на стене был криком, воплем крайней беспомощности»... // История России: экономика, политика, человек. С. 201.
[38] *Лазарев Д. Н.* Ленинград в блокаде // Труды Государственного музея... С. 202.
[39] *Болдырев А. Н.* Указ. соч. С. 141.
[40] *Саванин А. С.* Ленинградская городская контора Госбанка в годы войны // «Доживем ли мы до тишины?» СПб., 2009. С. 223; *Иванов Вс.* Дневники. М., 2001. С. 203—204.
[41] *Болдырев А. Н.* Указ. соч. С. 141.
[42] *Быльев И.* Из дневника // Художники города-героя: Воспоминания и дневники ленинградских художников. Л., 1973. С. 332.
[43] *Янушевич З. В.* Указ. соч. С. 54.
[44] *Зеленская И.Д.* Дневник // «Я не сдамся до последнего...» С. 51.
[45] *Лихачев Д. С.* Указ. соч. С. 477.
[46] Стенограмма сообщения Тяпкина М. Я. Л. 12 об.; Стенограмма сообщения Трофимова П. П. Л. 19 об.
[47] *Пантелеев А. И.* Указ. соч. С. 370, 374.
[48] *Говорова К. Е.* Воспоминания // Живая память... С. 100.
[49] *Грязнов Ф. А.* Дневник // «Доживем ли мы до тишины?» С. 154.
[50] *Чекризов В. Ф.* Указ. соч. С. 100, 103; Дневник Жени Козловой // Живая память... С. 44.
[51] *Пантелеев А. И.* Указ. соч. С. 367.
[52] *Кедров А. Т.* Дневник... Л. 100; «...Сохрани мою печальную историю...» С. 181.
[53] *Пантелеев А. И.* Указ. соч. С. 362.
[54] ОР РНБ. Ф. 1273. д. 26. Л. 42—46.

Глава пятая. ДОСУГ

[1] *Ратнер Л.* Вы живы в памяти моей: Воспоминания блокадного мальчика // Нева. 2002. № 9. С. 149; *Костина Е. В.* Воспоминания // Живая память... С. 152.
[2] *Цацко Б.* Ленинградцы улыбаются // Подвиг Ленинграда. М., 1960. С. 520; *Гордин А.* Из блокадных заметок // Голоса из блокады... С. 473; *Павлов Д. В.* Указ. соч. С. 175.

[3] «...Сохрани мою печальную историю...» С. 153; *Рибковский Н. А.* Дневник. Цит. по: *Козлова И.* Советские люди. С. 216; *Зеленская И. Д.* Дневник // «Я не сдамся до последнего...» С. 113.

[4] Очерки истории Ленинграда. Т. 5: Период Великой Отечественной войны Советского Союза: 1941—1945. Л., 1967. С. 603; *Коноплева М. С.* В блокированном Ленинграде... Д. 3. Л. 5 об.

[5] *Афанасьева А. Л.* О блокаде // Библиотекари осажденного Ленинграда... С. 46; *Иванова И. М.* Деятельность профсоюзных организаций Ленинграда в условиях блокады города (8 сентября 1941—27 января 1944 г.). Автореф. канд. дисс. М., 1976. С. 16; *Богданов И. А.* Указ. соч. С. 128.

[6] «Когда это кончится?»: Блокадный дневник Ольги Носовой (1941—1942 годы) // Политика: Общество: Человек. СПб., 2008. С. 361, 362.

[7] Блокадный дневник Володи Николаева. Запись 31 декабря 1941 года —www.azaazaaza.ru/blokadanyj-dnevnik-volodya.

[8] «...Сохрани мою печальную историю...» С. 164.

[9] *Янушевич З. В.* Указ. соч. С. 66; «Когда это кончится?»: Блокадный дневник Ольги Носовой... // Политика: Общество: Человек. С. 364—365.

[10] *Глазунов И. С.* Указ. соч. С. 99.

[11] М. К. Азадовский — В. Ю. Крупянской: 18 января 1942 года. Цит. по: *Азадовский М. К.* Сибирские страницы: Статьи, рецензии, письма. Иркутск, 1988. С. 292.

[12] 900 героических дней. С. 241; «...Сохрани мою печальную историю...» С. 176.

[13] *Петерсон В.* «Скорее бы было тепло»: Воспоминания о первой блокадной зиме // Нева. 2001. № 1. С. 171; *Буров А. В.* Блокада день за днем. Л., 1979. С. 111; *Соловьева О. П.* Воспоминания о пережитой блокаде... Л. 8; Дневник Миши Тихомирова. С. 21; «...Сохрани мою печальную историю...» С. 178.

[14] *Чекризов В. Ф.* Указ. соч. С. 129; *Болдырев А. Н.* Указ. соч. С. 235, 238.

[15] *Янушевич З. В.* Указ. соч. С. 56; *Чернышева В. А.* Воспоминания // Живая память... С. 212; *Чекризов В. Ф.* Указ. соч. С. 30; *Чурилова В. В.* Детские воспоминания о войне и блокаде: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 9—10.

Глава шестая. СПАСЕНИЕ

[1] См. подробнее: Стенограмма сообщения Маругиной Ю. П. Д. 85.

[2] Стенограмма сообщения Виноградовой З. В.: НИА СПбИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 24. Л. 11—12.

[3] Стенограмма сообщения Тихонова А. Я. Л. 28.

[4] *Болдырев А. Н.* Указ. соч. С. 53.

[5] Протокол заседания бюро ЛГК ВКП(б) 10 апреля 1942 года: ЦГАИДП СПб. Ф. 25. Оп. 2. Д. 4464. Л. 10.

[6] Стенограмма сообщения Виноградовой З. В. Л. 13.

[7] *Берштейн Б. Л.* Ленинградский торговый порт в 1941—1942 годах // «Доживем ли мы до тишины?» С. 203; *Коноплева М. С.* В блокированном Ленинграде... Д. 2. Л. 62; *Берггольц О.* Встреча. С. 174; Стенографическая запись воспоминаний Рахмалева Н. А.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 10. Д. 298. Л. 17; Стенограмма сообщения Трифонова А. С.: НИА СПбИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 125. Л. 7—8; Стенограмма сообщения

Еремеева К. А.: Там же. Д. 44. Л. 13; Стенограмма сообщения Чистякова А. И. Л. 5 об.

[8] Стенограмма сообщения Кедрова А. Т: НИА СПбИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 59. Л. 100.

[9] Стенограмма сообщения Тихонова А. Я. Л. 28 об.; стенограмма сообщения Плоткина А. Л. ...Л. 23; стенограмма сообщения Абросимовой М. Н. ...Л. 29.

[10] Стенограмма сообщения Бушель Р. И. Л. 7 об.

[11] *Карасев А. В.* Указ. соч. М., 1959. С. 192.

[12] *Горбунова Н. Г.* Дневник... Л. 6.

[13] Цит. по: Стенограмма сообщения Якушкиной А. Р.: НИА СПбИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 144. Л. 28—29.

[14] *Миронова А. Н.* Дневник... Л. 11 об.

[15] Запись рассказа воспитательницы детдома К. И. Галченковой. Цит. по: *Разумовский Л.* Дети блокады. С. 50.

[16] Стенограмма сообщения Ивановой М. К. Л. 7 об.

[17] Стенограмма сообщения Абросимовой М. Н. Л. 39—40.

[18] *Зеленская И.Д.* Дневник // «Я не сдамся до последнего...» С. 81.

[19] *Миронова А. Н.* Дневник... Л. 13.

[20] Там же. Л. 9 об.

[21] *Махов Ф.* «Блок-ада» Риты Малковой // Нева. 2005. № 9. С. 128.

[22] *Безобразова А. М.* Воспоминания // 900 блокадных дней. С. 38.

[23] *Разина М.* Крепость на Васильевском острове // 900 дней. С. 133.

[24] Стенограмма сообщения Якуниной А. Д. Л. 42.

[25] *Миронова А. Н.* Дневник... Л. 10—10 об.

[26] Информационная справка оргинструкторского отдела ГК ВКП(б) А. А. Жданову 4 января 1942 года // Ленинград в осаде. С. 414.

[27] Цит. по: *Котов С.* Детские дома в блокадном Ленинграде. СПб., 2005. С. 260.

[28] *Левина Э. Г.* Дневник // Человек в блокаде... С. 156.

[29] *Меерсон С. Я.* Из дневника блокадной школьницы: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 7; Стенограмма сообщения Абросимовой М. Н. Л. 41.

[30] *Капица П.* В море погасли огни. С. 253.

[31] *Асканазий А. А.* О детях в блокированном Ленинграде: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 10.

[32] Стенограмма сообщения Якуниной А. Д. Л. 40—41.

[33] *Шапорина Л. В.* Указ. соч. С. 309.

[34] *Разина М.* Крепость на Васильевском острове. С. 137.

[35] *Левитан Л. С.* Письма: 1941—1942, 1945 годы // «Мы знаем, что значит война...» С. 530.

[36] *Коровин А.* Указ. соч. С. 403.

[37] Цит. по: Память: Письма о войне и блокаде. С. 89.

[38] *Коровин А.* Указ. соч. С. 429.

[39] *Грачев Ф. Ф.* Указ. соч. С. 55, 113—114, 142; *Гапова В.* Одна зима // *Абрамов Ф.* О войне и победе. СПб., 2005. С. 171.

[40] Ленинград в осаде. С. 79.

[41] *Болдырев А. Н.* Указ. соч. С. 41.

[42] Стенограмма сообщения Абросимовой М. Н. Л. 37; Дневник пионерской дружины 105-й школы // Дети города-героя. С. 135—136; *Кудрявцева Т.* Фотография, которой не было. СПб., 2006. С. 53; Стенограмма сообщения Малярова Г. А.: НИА СПбИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 83. Л. 20; Стенограмма сообщения Иванова А. П. Л. 7 об; *Уманская А. С.* Дневник... Л. 39; *Муранова В. А.* Центральный государственный архив работал всю блокаду // Выстояли и победили: Воспоминания участников обороны Ленинграда. СПб., 1993. С. 171.

[43] *Зимницкая Г. К.* Блокадные будни. (Дневник ленинградской школьницы) // Блокада глазами очевидцев... С. 42.
[44] Ленинград в осаде. С. 79.
[45] Стенограмма сообщения Алексеевой А. П: НИА СПбИИ РАН. Ф. 332. Оп. 1. Д. 3. Л. 8 об.
[46] *Шкаровский М.* Церковь зовет к защите Родины. СПб., 2005. С. 5, 6.
[47] *Кулябко В.* Блокадный дневник // Нева. 2004. № 2. С. 241.
[48] *Боровикова А. Н.* Дневник... Л. 84.
[49] Архив семьи Е. В. Шуньгиной.
[50] РДФ ГММОБЛ. Оп. 1р. Д. 140. Л. 10.
[51] *Шапорина Л. В.* Указ. соч. С. 348, 350.
[52] *Болдырев А. Н.* Указ. соч. С. 116.
[53] *Гаврилина Н. Е.* Воспоминания о блокаде // Архив Н. Е. Гаврилиной. Л. 42.
[54] *Быковская Н. И.* Воспоминания // Живая память... С. 95.
[55] *Безобразова А. М.* Воспоминания // 900 блокадных дней. С. 36.
[56] *Воеводская А. И.* Указ. соч. С. 109.
[57] 900 героических дней. С. 342.
[58] ОР РНБ. Ф. 368. Д. 2. Л. 24.
[59] Там же. Ф. 1273. Л. 4.
[60] *Махов Ф.* «Блок-ада» Риты Малковой/ / Нева. 2005. № 9. С. 225.
[61] *Болдырев А. Н.* Указ. соч. С. 78.
[62] *Лихачев Д. С.* Указ. соч. С. 456.
[63] *Воеводская А. И.* Указ. соч. С. 109.
[64] ОР РНБ. Ф. 368. Д. 2. Л. 74.
[65] *Миронова А. Н.* Дневник... Л. 12 об.
[66] *Болдырев А. Н.* Указ. соч. С. 259.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

[1] *Мерецков К. А.* На службе народу. М., 2003. С. 360.
[2] *Болдырев А. Н.* Указ. соч. С. 219.
[3] Ленинград в осаде. С. 293.
[4] *Соколов А. К.* Эвакуация из Ленинграда. СПб., 2000. С. 122.

КРАТКИЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

900 блокадных дней. Новосибирск, 2004.

Адамович А., Гранин Д. Блокадная книга. СПб., 2012.

Байков В. Память блокадного подростка. Л., 1989.

Бианки В. Лихолетье. СПб., 2005.

Блокада глазами очевидцев: Дневники и воспоминания. СПб., 2012.

Блокадные дневники и документы. СПб., 2004.

Богданов И.А. Ленинградская блокада от А до Я. СПб., 2010.

Болдырев А.Н. Осадная запись. СПб., 1998.

Воеводская А.И. Четыре года жизни, четыре года молодости. СПб., 2005.

Гинзбург Л. Записные книжки: Воспоминания: Эссе. СПб., 2002.

Гладких П.Ф. Здравоохранение и военная медицина в битве за Ленинград глазами историка и очевидца: 1941—1944 гг.. СПб., 2006.

Девятьсот дней. Л., 1962.

Дети города-героя. Л., 1974.

Дзенискевич А.Р. Блокада и политика: Оборона Ленинграда в политической конъюнктуре. СПб., 1998.

Живая память: О боях за Родину и буднях тыла, о блокаде Ленинграда, о жизни в оккупации и плену вспоминают ветераны Сенного округа. СПб., 2010.

Жизнь и быт блокированного Ленинграда. СПб., 2010.

Жизнь и смерть в блокированном Ленинграде. СПб., 2001.

Ильин И. От блокады до победы // Нева. 2005. № 5.

Карасев А.В. Ленинградцы в годы блокады. М., 1959.

Ковальчук В.М. 900 дней блокады: Ленинград 1941—1944. СПб., 2005.

Коровин А. Записки военного хирурга // Ленинградский альманах. 1948. № 2.

Котов С.Д. Детские дома в блокадном Ленинграде. СПб., 2003.

Лебедев Ю.М. Ленинградский «блицкриг». М.; СПб., 2011.

Ленинград в осаде. СПб., 1995.

Лихачев Д.С. Воспоминания. СПб., 1996.

Ломагин Н.А. Неизвестная блокада: В 2 т. М., 2002.

Остроумова-Лебедева А.П. Автобиографические записки. Т. 3. М., 2004.

Павлов Д.В. Ленинград в блокаде. Л., 1985.

Память: Письма о войне и блокаде. Л., 1985.

Пантелеев А.И. Приоткрытая дверь. Л., 1980.

Публичная библиотека в годы войны: 1941—1945: Дневники, воспоминания, письма, документы. СПб., 2005.

Соболев Г.Л. Ученые Ленинграда в годы Великой Отечественной войны: 1941—1945 гг. М.; Л., 1961.

Солсбери Г. 900 дней. СПб.; М., 1994.

«...Сохрани мою печальную историю...»: Дневник Лены Мухиной. СПб., 2011.

Федор Михайлович Никитин: Актер, учитель, гражданин. СПб., 2010.

Чекризов В.Ф. Дневник блокадного времени // Труды Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Вып. 8. СПб., 2004.

Человек в блокаде: Новые свидетельства. СПб., 2008.

Шапорина Л.В. Дневник: В 2 т. СПб., 2011.

«Я не сдамся до последнего...»: Записки из блокадного Ленинграда. СПб., 2010.

Янушевич З.В. Случайные записки. СПб., 2007.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 6

Часть первая. ГОРОД

Глава первая. Блокада 9
Глава вторая. Улицы 27
Глава третья. Дома 44
Глава четвертая. Магазины 65
Глава пятая. Столовые 78
Глава шестая. Рынки 96

Часть вторая. У ПОРОГА СМЕРТИ

Глава первая. Голод 109
Глава вторая. Бомбы 125
Глава третья. Преступность 149
Глава четвертая. Смерть 166

Часть третья. ЛЮДИ

Глава первая. Облик 189
Глава вторая. Эвакуация 204
Глава третья. Карточки 226
Глава четвертая. Еда 236
Глава пятая. Досуг 256
Глава шестая. Спасение 266

Заключение 286

Примечания 290
Краткий список литературы 312

Яров С. В.

Я 76 Повседневная жизнь блокадного Ленинграда / Сергей Яров. — 2-е изд. — М.: Молодая гвардия, 2014. — 313[7] с.: ил. — (Живая история: Повседневная жизнь человечества).

ISBN 978-5-235-03763-2

Эта книга — рассказ о том, как пытались выжить люди в осажденном Ленинграде, какие страдания они испытывали, какую цену заплатили за то, чтобы спасти своих близких. Автор, доктор исторических наук, профессор РГПУ им. А. И. Герцена и Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергей Викторович Яров, на основании сотен источников, в том числе и неопубликованных, воссоздает картину повседневной жизни ленинградцев во время блокады, которая во многом отличается от той, что мы знали раньше. Ее подробности своей жестокостью могут ошеломить читателей, но не говорить о них нельзя — только тогда мы сможем понять, что значило оставаться человеком, оказывать помощь другим и делиться куском хлеба в «смертное время».

УДК 94(47)“1941/1942”
ББК 63.3(2)622,11

знак информационной продукции **16+**

Яров Сергей Викторович
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

Редактор **Е. С. Писарева**
Художественный редактор **И. И. Суслов**
Технический редактор **В. В. Пилкова**
Корректоры **И. В. Аветисова, Т. И. Маляренко**

Подписано в печать с готовой электронной версии 01.09.2014. Формат 84x108/32. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура «Гарамон». Усл. печ. л. 16,8+1,68 вкл. Тираж 3000 экз. Заказ № 1411240.

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства: 127055, Москва, Сущевская ул., 21. Internet: http://gvardiya.ru. E-mail: dsel@gvardiya.ru

arvato BERTELSMANN

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного электронного оригинал-макета в ОАО «Ярославский полиграфический комбинат» 150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

ISBN 978-5-235-03763-2

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

издательства

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Оформить заказ
можно на нашем сайте:

http://gvardiya.ru/shop/

или по телефону:

+7 (495) 787-95-59

(с 10-00 до 17-30 в будние дни)

Заказанные книги

можно получить по адресу:

г. Москва, ул. Сущевская, д.21, подъезд 1

или воспользоваться курьерской

и почтовой службой доставки

Наши книги
доступны всем регионам России!

СТАРЕЙШАЯ РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ СЕРИЯ

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Уже изданы и готовятся к печати:

С. Марков
«ГАРСИА МАРКЕС»

М. Чертанов
«ДЮМА»

Е. Матонин
«НИКОЛА ТЕСЛА»

В. Шубинский
«ГАПОН»

Г. Прашкевич
«БРЭДБЕРИ»

П. Куприяновский, Н. Молчанова
«БАЛЬМОНТ»

Телефоны для оптовых покупателей:
8(499) 978-21-59; 8(495) 787-63-75; 8(495) 787-63-64
http://gvardiya.ru. E-mail: dsel@gvardiya.ru

СТАРЕЙШАЯ РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ СЕРИЯ

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Уже изданы и готовятся к печати:

В. Муравьев
«КАРАМЗИН»

Э. Кузнецов
«ПАВЕЛ ФЕДОТОВ»

Л. Млечин
«ФРУНЗЕ»

Н. Бодрихин
«ЧЕЛОМЕЙ»

А. Махов
«МИКЕЛАНДЖЕЛО»

В. Березин
«ШКЛОВСКИЙ»

Телефоны для оптовых покупателей:
8(499) 978-21-59; 8(495) 787-63-75; 8(495) 787-63-64
http://gvardiya.ru. E-mail: dsel@gvardiya.ru

НОВАЯ КНИЖНАЯ СЕРИЯ

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ:

МАЛАЯ СЕРИЯ

Уже изданы и готовятся к печати:

А. Бенсуссан
«ГАРСИА ЛОРКА»

В. Новиков
«ПУШКИН»

К. Писаренко
«ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА»

А. Ливергант
«ОСКАР УАЙЛЬД»

В. Козляков
«ЦАРИЦА ЕВДОКИЯ»

Телефоны для оптовых покупателей:
8(499) 978-21-59; 8(495) 787-63-75; 8(495) 787-63-64
http://gvardiya.ru. E-mail: dsel@gvardiya.ru

НОВАЯ КНИЖНАЯ СЕРИЯ

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ:

МАЛАЯ СЕРИЯ

Уже изданы и готовятся к печати:

Л. Ляшенко
«АЛЕКСАНДР I»

Е. Цимбаева
«КРЫЛОВ»

С. Нечаев
«САЛЬЕРИ»

А. Лосев, А. Тахо-Годи
«АРИСТОТЕЛЬ»

А. Лосев, А. Тахо-Годи
«ПЛАТОН»

Телефоны для оптовых покупателей:
8(499) 978-21-59; 8(495) 787-63-75; 8(495) 787-63-64
http://gvardiya.ru. E-mail: dsel@gvardiya.ru

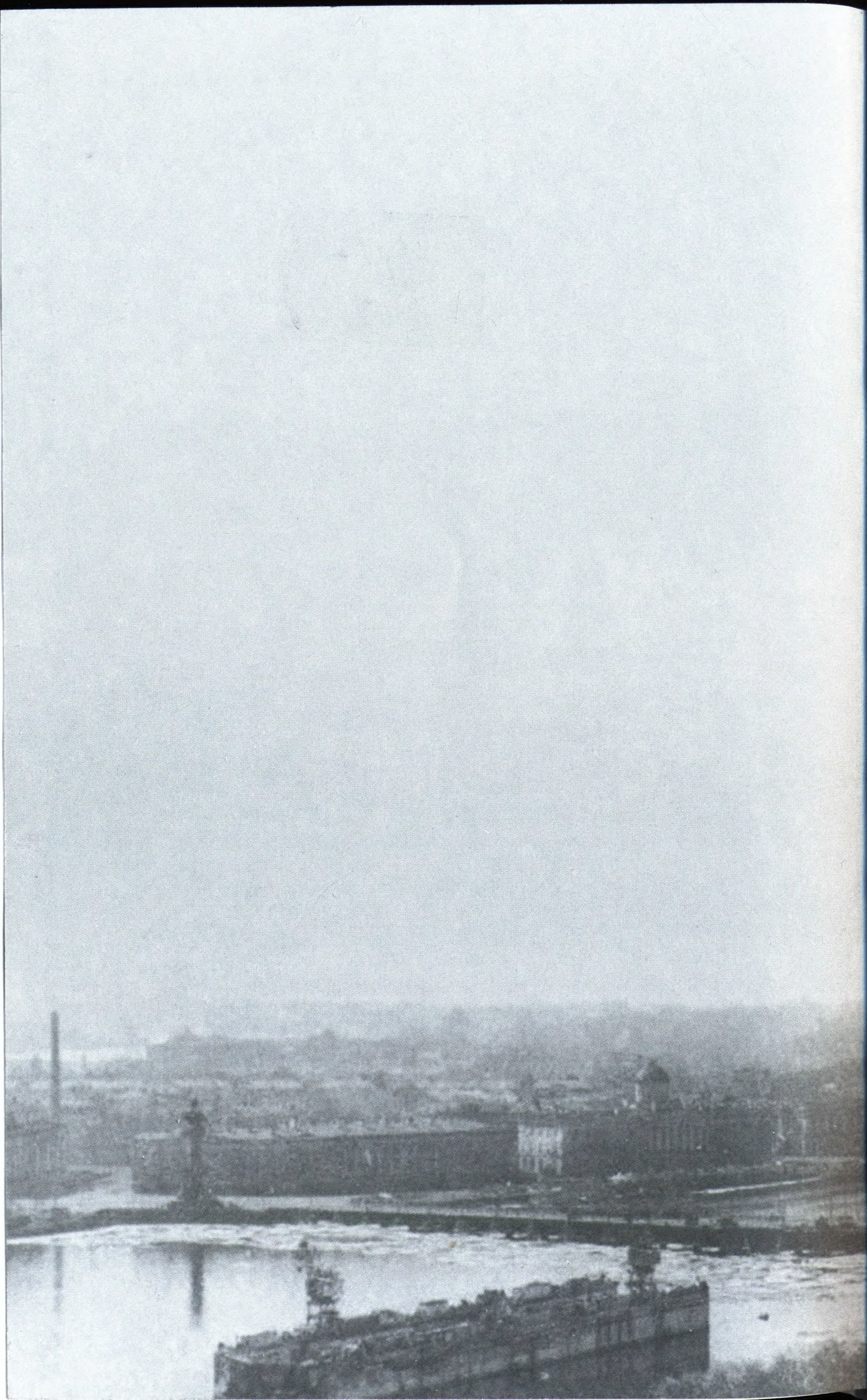
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

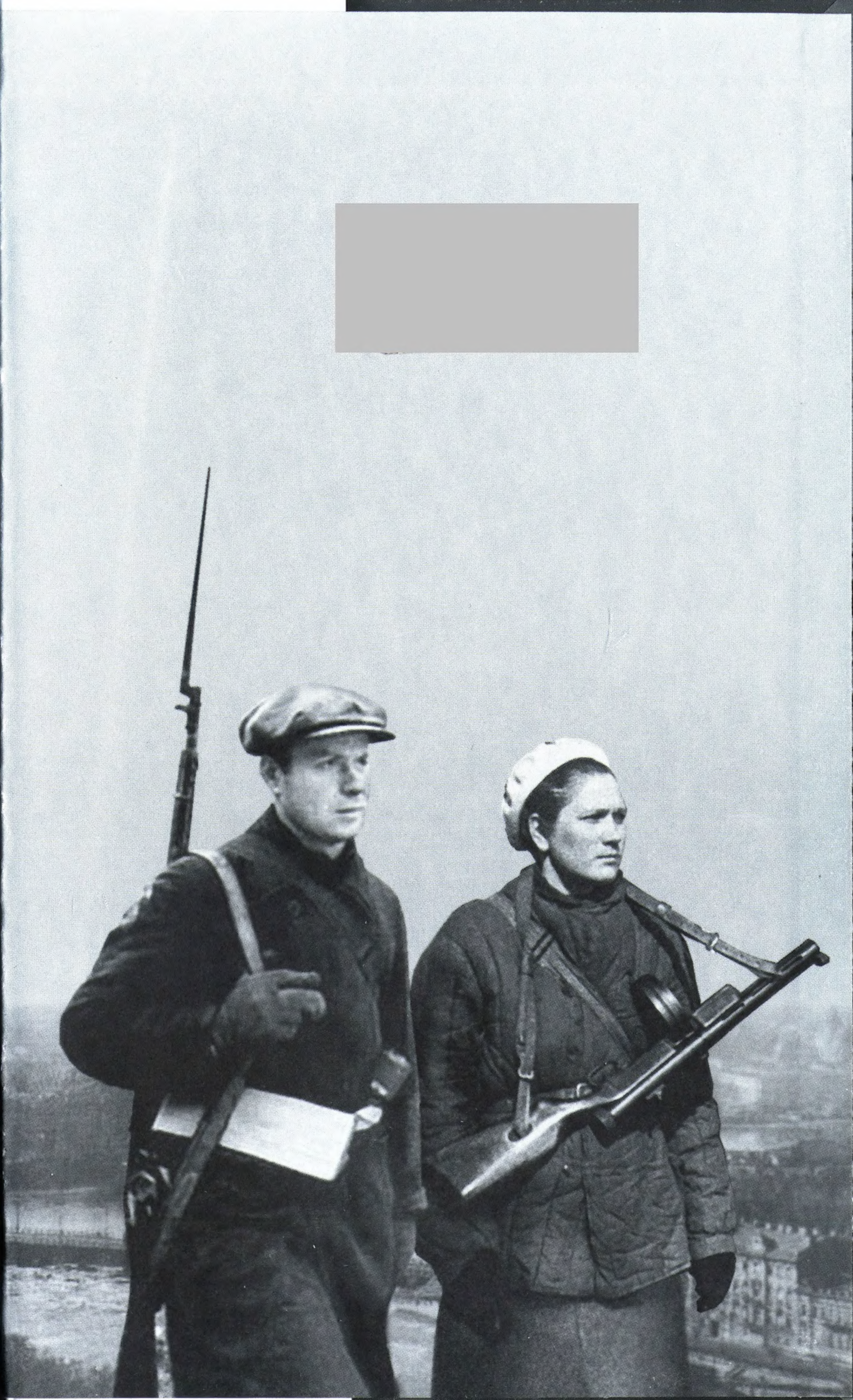
Склад издательства «Молодая гвардия» находится в центре Москвы по адресу: Сущевская ул., д. 21 ст. м. «Новослободская», «Менделеевская»

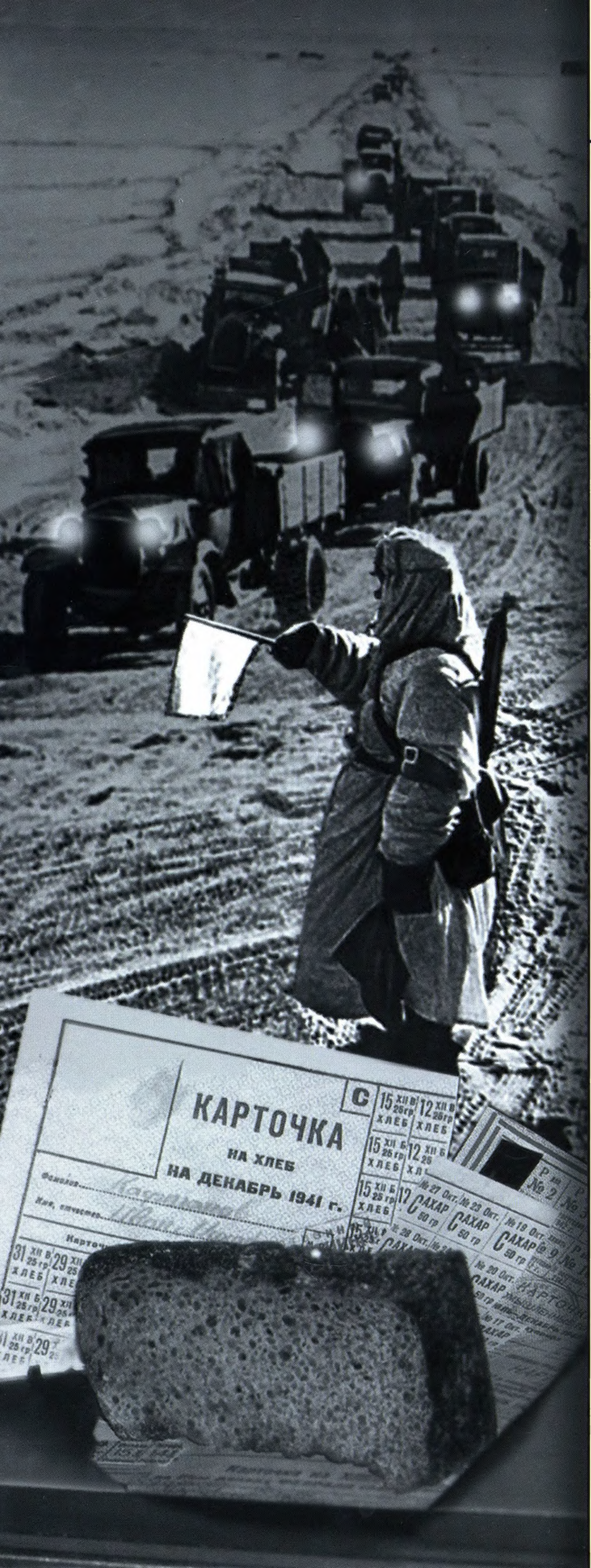
В отделе реализации действует гибкая система скидок

Доставка книг по территории Москвы и Московской области БЕСПЛАТНО

ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛА РЕАЛИЗАЦИИ
8(495) 787-64-20
8(495) 787-62-92
ТЕЛЕФОНЫ СКЛАДА
8(495) 787-65-39 8(495) 787-63-64







СКОРО ВЫЙДУТ В СВЕТ:

К. Кожурин

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ СТАРООБРЯДЦЕВ

О. Елисеева

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ РУССКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ГЕРОЕВ. XVIII – ПЕРВАЯ ТРЕТЬ XIX ВЕКА

Е. Глаголева

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ЕВРОПЕЙСКИХ СТУДЕНТОВ ОТ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ ДО ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ

С. Шокарев

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ РУССКИХ БОЯР ЭПОХИ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА

А. Федорец

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ МОСКОВСКИХ КУПЦОВ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА

ISBN 978-5-235-03763-2

9 785235 037632 >

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ